# Джордж Оруэлл

# 1984

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1

Был яркий холодный апрельский день, часы били тринадцать. Уинстон Смит, прижав подбородок к груди и ежась от омерзительного ветра, быстро скользнул в стеклянные двери Дома Победы, но все же вихрь песка и пыли успел ворваться вместе с ним.

В подъезде пахло вареной капустой и старыми половиками. К стене против входа был пришпилен цветной плакат, пожалуй слишком большой для этого места. На нем было изображено лишь огромное, шириной больше метра, лицо человека лет сорока пяти с грубоватыми, но привлекательными чертами и густыми черными усами. Уинстон направился прямо к лестнице. Не стоило тратить время на вызов лифта, — даже в лучшие времена он редко работал, а теперь электричество, в соответствии с программой экономии, вообще отключали в дневное время, поскольку уже началась подготовка к Неделе Ненависти. Уинстону предстояло одолеть семь лестничных маршей. Он шел медленно и несколько раз отдыхал: ему уже тридцать девять лет, да к тому же на правой ноге у него варикозная язва. И со стен каждой площадки, прямо против двери лифта, на него глядело огромное лицо.

Это было одно из тех изображений, где глаза специально нарисованы так, чтобы взгляд их все время следил за вами. «БОЛЬШОЙ БРАТ ВИДИТ ТЕБЯ», — было написано на плакате снизу. Когда он вошел в свою квартиру, бархатный голос зачитывал сводку цифр, имевших какое-то отношение к выплавке чугуна. Голос шел из вмонтированной в правую стену комнаты продолговатой металлической пластины, напоминавшей тусклое зеркало. Уинстон повернул регулятор — голос зазвучал тише, но слова были по-прежнему различимы. Этот прибор (он назывался «монитор») можно было приглушить, но выключить совсем нельзя. Уинстон подошел к окну — маленькая щуплая фигурка, худобу которой еще больше подчеркивал синий форменный комбинезон члена Партии; у него были очень светлые волосы и румяное от природы лицо, кожа которого загрубела от скверного мыла, тупых бритвенных лезвий и холода только что закончившейся зимы.

Мир снаружи, даже сквозь закрытое окно, казался холодным. Внизу, на улице, ветер крутил пыль и обрывки бумаги, и, хотя на синем небе ярко светило солнце, все выглядело бесцветным, за исключением всюду расклеенных плакатов. Лицо с черными усами было везде. Одно было на фасаде дома напротив. «БОЛЬШОЙ БРАТ ВИДИТ ТЕБЯ», — говорила надпись, а темные глаза пристально заглядывали внутрь Уинстона. Ниже бился на ветру другой плакат, с оторванным углом, то открывая, то

закрывая единственное слово: «АНГСОЦ». Вдали над крышами парил вертолет. Время от времени он нырял и зависал на мгновение, как огромная синяя муха, а потом по кривой снова взмывал вверх. Это заглядывал в окна полицейский патруль. Впрочем, патрули не играли роли. Роль играла лишь Полиция Мысли.

За спиной Уинстона голос из монитора все еще что-то бубнил про чугун и перевыполнение Девятого Трехлетнего Плана. Монитор был одновременно приемником и передатчиком, который улавливал любой звук, кроме очень тихого шепота. Более того, пока Уинстон оставался в поле зрения монитора, его можно было не только слышать, но и видеть. Конечно, никогда нельзя знать наверняка, наблюдают за тобой сейчас или нет. Можно только гадать, как часто и в каком порядке Полиция Мысли подключается к той или иной квартире. Вполне возможно, что они наблюдают за всеми и всегда. Во всяком случае, они могли подключиться к вашей линии в любой момент. И приходилось жить, зная, что каждый звук кто-то слышит и за каждым движением кто-то следит, если только этому не мешает полная темнота. И люди жили так — в силу привычки, которая стала уже инстинктом.

Уинстон по-прежнему стоял спиной к монитору. Так было безопаснее, хотя он хорошо знал, что спина тоже могла изобличать. Примерно в километре над унылым скоплением домов возвышалось огромное белое здание Министерства Правды, где он работал. И это, думал он со смутным отвращением, Лондон, главный город Первой Военно-Воздушной Зоны, третьей по численности населения провинции Океании. Он попытался вспомнить детство, вспомнить, таким ли был этот город раньше. Всегда ли тянулись эти кварталы разваливающихся домов, построенных в девятнадцатом веке? Всегда ли их стены подпирали деревянные балки, окна были забиты картоном, крыши покрыты ржавым железом, а странные ограды палисадников заваливались в разные стороны? Всегда ли были эти выбомбленные пустыри с грудами битого кирпича, поросшие иван-чаем, пыль штукатурки в воздухе? И эта жалкая грибная плесень деревянных лачуг там, где бомбы расчистили значительные пространства? Увы, он ничего не мог вспомнить, ничего не осталось в памяти, кроме случайных ярких, но малопонятных и не связанных друг с другом картин.

Министерство Правды, на новоязе (новояз был официальным языком Океании. Подробнее о его структуре и этимологии смотри в Приложении) — Миниправда, резко отличалось от окружающих домов. Его огромная пирамидальная конструкция из сверкающего бетона устремлялась в небо, терраса за террасой, метров на триста. Из окна Уинстона можно было прочесть красиво выписанные на белом фасаде три лозунга Партии:

**ВОЙНА — ЭТО МИР.**
**СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО.**
**НЕЗНАНИЕ — ЭТО СИЛА.**

Говорили, что в Министерстве Правды три тысячи комнат над землей и столько же — в подземелье. В разных концах Лондона возвышались еще три здания

примерно такого же вида и размера. Они подавляли собой все, и с крыши Дома Победы можно было сразу разглядеть все четыре. Здания принадлежали четырем министерствам, на которые разделялся весь правительственный аппарат. Министерство Правды заведовало всей информацией, руководило развлечениями, образованием и искусством. Министерство Мира занималось войной. Министерство Любви поддерживало закон и порядок. А Министерство Изобилия отвечало за экономику. На новоязе их называли так: Миниправда, Минимир, Минилюбовь и Мини-много.

Министерство Любви выглядело поистине устрашающим. В этом здании не было окон. Уинстон никогда не входил в него, он даже не приближался к нему ближе чем на полкилометра. В это здание входили только по официальным делам, да и то сквозь лабиринт заграждений из колючей проволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Улицы, ведущие к нему, патрулировали похожие на горилл охранники в черной форме, вооруженные складными дубинками.

Уинстон резко обернулся, не забыв придать своему лицу выражение полного оптимизма, — так было благоразумно делать всегда, находясь в поле зрения монитора, — пересек комнату и вошел в маленькую кухню. Он пожертвовал своим обедом в столовой, хотя знал, что дома ничего нет, кроме куска черного хлеба, который лучше приберечь на завтрак. Уинстон достал с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой наклейкой: «ДЖИН ПОБЕДЫ». У джина был отвратительный сивушный запах, как у китайской рисовой водки. Он налил почти целую чашку, приготовился и опрокинул в себя содержимое, как глотают лекарство.

В ту же секунду скулы его побагровели, из глаз брызнули слезы. Напиток напоминал азотную кислоту — глотая его, человек ощущал что-то вроде удара дубиной по затылку. Однако в следующее мгновение пожар в животе, прекратился и мир стал выглядеть веселее. Уинстон вытащил сигарету из смятой пачки — они тоже назывались «ПОБЕДА» — и, нечаянно повернув ее вертикально, просыпал табак на пол. Со следующей ему удалось справиться лучше. Он вернулся в комнату и сел за небольшой столик слева от монитора. Из ящика стола достал вставочку, пузырек чернил и толстую, в четвертую долю листа записную книжку с обложкой под мрамор и красным корешком.

Почему-то монитор был расположен в его комнате не совсем обычно. Как правило, его помещали на короткой торцевой стене, чтобы в поле зрения попадала вся комната, но у Уинстона он находился на длинной стене против окна. Слева от монитора — неглубокая ниша, где и сидел теперь Уинстон. Вероятно, когда дом строился, ниша предназначалась для книжных полок. Таким образом, Уинстон мог оставаться вне видимости монитора — для этого надо было усесться в нише и хорошо прижаться к стене. Конечно, его можно услышать, но, пока он не менял положения, увидеть было нельзя. Такая особенность комнаты и подсказала ему мысль начать то, чем он собирался сейчас заняться.

На эту мысль натолкнула его и записная книжка. Это была удивительно красивая вещь. Гладкая кремовая бумага чуть пожелтела от времени, такой не производили уже лет сорок. Уинстон, однако, думал, что книжка на самом деле гораздо старее. Увидел он ее в витрине маленькой грязной лавчонки в трущобном районе города (в каком именно, он уже не помнил), и ему ужасно захотелось купить

ее. Считалось, что члены Партии не должны посещать обычные магазины («пользоваться вольным рынком», как говорили), но этот запрет не соблюдался слишком строго, так как некоторые вещи, например шнурки или бритвенные лезвия, нигде больше нельзя было приобрести. Уинстон огляделся по сторонам, быстро юркнул внурь лавчонки и купил записную книжку за два с половиной доллара. В тот момент он не знал еще, зачем ему эта книжка. С чувством совершенного преступления принес ее домой в портфеле. Даже без единой записи книжка была компрометирующим вещественным доказательством.

Уинстон решил вести дневник. В принципе это не было незаконным (ничего незаконного не было вообще, так как давно уже не было и самих законов), но если бы кого-нибудь поймали за этим занятием, то наказанием была бы смерть или, самое меньшее, двадцать пять лет лагерей. Уинстон вставил перышко в ручку и облизнул его, чтобы снять смазку. Перьевая ручка была архаизмом, такими теперь редко даже расписывались. Но он тайно и не без труда раздобыл ее, поскольку чувствовал: на прекрасной кремовой бумаге надо писать настоящим пером, а не царапать ее автоматическим чернильным карандашом. Вообще-то он не привык писать. Писали теперь только очень короткие записки, а все остальное обычно наговаривали в диктограф. Но в данном случае это отпадало.

Он обмакнул перо в чернила и на мгновение заколебался. Что-то задрожало у него внутри. Но он решился и проставил дату. Маленькими неуклюжими буковками вывел:

*4 апреля 1984 года*

И откинулся назад. Им овладело чувство полной беспомощности. Он не был уверен, что теперь 1984 год. Скорее всего, год правильный, потому что Уинстон был убежден — ему тридцать девять и родился он в 1944 или 1945 году. Но все-таки определить точную дату трудно, всегда был риск ошибиться на год или два.

Для кого, вдруг пришло ему в голову, он пишет этот дневник? Для будущего, для тех, кто еще не родился. Уинстон снова задумался над сомнительной датой, выведенной на странице, и тут ход его размышлений натолкнулся на «двоемыслие» — словечко из новояза. Только теперь он осознал масштабы начатого им дела. Как можно обращаться к будущему? Это невозможно. Если будущее станет таким же, как настоящее, оно не захочет его услышать, если же оно будет отличаться от сегодняшнего дня, все его беды потеряют смысл.

Некоторое время он сидел, тупо уставившись в бумагу. Монитор передавал теперь громкую военную музыку. Смешно, но Уинстон, казалось, не только утратил способность выражать свои мысли, но и начисто позабыл, что же ему хотелось доверить дневнику. Несколько недель он готовился к этой минуте, и ему ни разу не пришло в голову, что потребуется не только мужество и смелость. Писать будет нетрудно, полагал он. Надо просто перенести на бумагу бесконечный монолог, который звучал в его голове долгие-долгие годы. Но теперь вдруг монолог исчез. Вдобавок страшно зачесалась варикозная язва, которую он не решался трогать,

потому что после этого она всегда воспалялась. Секунды бежали, а в голове не было ничего, кроме лежавшей перед ним чистой страницы, зуда в лодыжке, рева музыки и легкого опьянения от выпитого джина.

Писать он начал неожиданно, как в лихорадке, плохо понимая, что он пишет. Маленькие, какие-то детские буковки поползли то вверх, то вниз по странице… Он забыл сначала про заглавные буквы, а потом и про знаки препинания.

*4 апреля 1984 года. Вчера вечером был в кино. Только военные фильмы. Один очень хороший про корабль с беженцами, который бомбили где-то в Средиземном море. Зрителей очень позабавили кадры про толстяка, пытавшегося уплыть от преследовавшего его вертолета, сперва показали, как он барахтается в воде, прямо морская свинка, потом его показали через прицел вертолета, потом его продырявили пули и вода вокруг стала розовой и вдруг он пошел на дно, как будто вода проникла в него через пулевые отверстия, зрители надрывались от хохота когда он тонул, потом показали спасательную шлюпку с детьми и вертолет висевший над ними, там в шлюпке была женщина средних лет возможно еврейка с маленьким мальчиком лет трех на руках, мальчик кричал от страха и прятал голову у нее на груди как будто пытался забраться в нее а женщина обнимала его и утешала хотя сама посинела от страха, все время закрывала его собой как будто она думала ее руки могут уберечь его от пуль, потом вертолет сбросил 20-килограммовую бомбу ослепительная вспышка и лодка разлетелась в щепки, потом отличный кадр детская рука взлетает вверх вверх вверх прямо в воздух вертолет с камерой на борту должно быть следил за ней и было много аплодисментов среди членов партии но женщина из пролов вдруг подняла шум и стала кричать нельзя показывать это нельзя показывать в присутствии детей нельзя это неправильно в присутствии детей нельзя пока полиция не забрала ее вывела ее не думаю что ей что-то будет никто не обращает внимания на пролов типичная реакция пролов они никогда…*

Уинстон остановился, отчасти из-за судороги в руке. Он не понимал, что заставило его написать всю эту ерунду. Но странное дело: пока он писал, совершенно иное воспоминание возникло в его голове, всплыло так четко, что показалось — он сможет его записать. Он понял: именно этот случай и заставил его сегодня уйти с работы и начать дневник.

Все случилось утром в Министерстве. Впрочем, можно ли сказать «случилось» о столь неопределенном…

Было около одиннадцати, и в Историческом Отделе, где Уинстон работал, готовились к Двухминутке Ненависти: выносили стулья из рабочих кабинок и расставляли их в центре холла перед большим монитором. Уинстон устраивался в одном из средних рядов, когда неожиданно в холл вошли двое. Он знал их в лицо, но разговаривать с ними ему не приходилось. Первой вошла девушка, которая часто встречалась ему в коридорах. Имени ее он не знал, но знал, что она работает в

Художественном Отделе. Вероятно, наладчиком одной из литературных машин, поскольку он видел ее с разводным ключом и перепачканными машинным маслом руками. Девушке было лет двадцать семь, у нее были густые темные волосы, веснушчатое лицо и быстрые спортивные движения. Выглядела она очень самоуверенной. Узкий алый шарф — эмблема Молодежной Антисексуальной Лиги — обвивал ее талию так, что подчеркивал красивую форму бедер. Уинстону она не понравилась сразу. И он знал почему. В ней все дышало атмосферой хоккейных баталий, обливаний холодной водой, групповых турпоходов и полной интеллектуальной невинности и чистоты. Уинстону не нравились почти все женщины, особенно юные и хорошенькие. Именно женщины, и прежде всего молодые, были особенно фанатичными приверженцами Партии, слепо верили лозунгам, дилетантски шпионили и выслеживали всякое инакомыслие. Но эта девица казалась ему еще опасней. Однажды в коридоре она скользнула по нему быстрым взглядом, и этот взгляд не только пронзил его насквозь, но на мгновение переполнил тихим ужасом. У него даже мелькнула мысль, что она секретный сотрудник Полиции Мысли, хотя в общем-то это маловероятно. Тем не менее рядом с ней Уинстон чувствовал странную скованность, страх и враждебность.

Вторым вошел мужчина по имени О’Брайен — член Внутренней Партии, занимавший такой важный и высокий пост, что Уинстон мог только догадываться о сути его обязанностей. При виде черного комбинезона члена Внутренней Партии над рядами стульев мгновенно повисла тишина. О’Брайен был крупным, дородным мужчиной с толстой шеей и грубым лицом. Но, несмотря на столь грозную внешность, в его манерах было определенное обаяние. Он, например, особенным образом поправлял очки на носу. Этот жест был забавным, каким-то интеллигентным, он обезоруживал вас. Этот жест напоминал (если кто-то еще мыслил в таких категориях) манеру дворянина восемнадцатого века, предлагающего вам табакерку с нюхательным табаком. Уинстон видел О’Брайена, возможно, раз десять — двенадцать примерно за столько же лет. Его влекло к этому человеку, и не оттого только, что его озадачивал контраст между изысканными манерами и телосложением профессионального боксера. В гораздо большей степени такое отношение к О’Брайену вызывало тайное убеждение Уинстона, впрочем, скорее не убеждение, а надежда, что политические взгляды О’Брайена не такие уж благонадежные. Что-то в лице О’Брайена неодолимо внушало такую мысль. Хотя, может быть, неблагонадежность была здесь ни при чем, может быть, на эту мысль наводила его интеллигентность. Во всяком случае, он производил впечатление человека, с которым можно поговорить, если, конечно, как-то обмануть монитор и встретиться с глазу на глаз. Уинстон никогда не пытался проверить свою догадку. Это было невозможно.

В этот момент О’Брайен взглянул на часы, увидел, что уже почти одиннадцать ноль-ноль, и, видимо, решил остаться в Историческом Отделе до конца Двухминутки Ненависти. Он сел в том же ряду, что и Уинстон, через два стула от него. Между ними оказалась маленькая рыжеватая женщина, которая работала в соседней с Уинстоном кабинке. Темноволосая девушка устроилась прямо за его спиной.

И тут же из монитора вырвался отвратительный скрипучий голос, как будто пустили какую-то чудовищную машину, забыв ее смазать. От этих звуков хотелось скрежетать зубами и дыбом вставали волосы. Ненависть началась…

На экране, как и всегда, вспыхнуло лицо Эммануэля Гольдштейна главного Врага Народа. Кое-кто зашикал. Маленькая рыжеватая женщина вскрикнула с ужасом и отвращением. Гольдштейн, ренегат и отступник, когда-то очень давно (как давно — никто точно не помнил) был одним из вождей Партии, почти таким же знаменитым, как сам Большой Брат, но затем он стал контрреволюционером и его приговорили к смерти. Каким-то загадочным образом он бежал.

Программы Двухминуток Ненависти каждый день менялись, но в каждом главную роль играл Гольдштейн. Он был самым большим предателем, первым, кто запятнал чистоту Партии. Все последующие преступления против Партии, все измены, саботаж, ереси, уклоны прямо вытекали из учения Гольдштейна. Он был еще жив, где-то скрывался и плел паутину своих заговоров. Возможно, он нашел убежище за границей у своих зарубежных хозяев, а может быть (такие слухи ходили время от времени), он скрывался в самой Океании.

Грудь Уинстона сжималась. Он никогда не мог без мучительных переживаний видеть худое еврейское лицо Гольдштейна с пушистым венчиком седых волос и маленькой козлиной бородкой. В этом умном лице одновременно было что-то, вызывающее отвращение, какой-то налет старческого маразма. На кончике его длинного тонкого носа громоздились очки. Лицо напоминало овечье, и голос у него был тоже овечий. Как обычно, Гольдштейн начал с нападок на доктрину Партии, и, как обычно, нападки были настолько преувеличены, а факты настолько передергивались, что это было ясно и ребенку. Но в то же время они звучали довольно правдоподобно и возникало тревожное чувство, что кто-то не шибко грамотный может поверить его словам. Гольдштейн ругал Большого Брата, выступал против диктатуры Партии, требовал заключения немедленного мира с Евразией, отстаивал свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу мысли и истерично кричал, что революцию предали. Вся эта быстрая многословная скороговорка в чем-то пародировала привычный стиль ораторов Партии. Речь его содержала слова из новояза, пожалуй, их было даже больше, чем в обычной речи любого члена Партии. А пока он говорил, на экране, за его головой, маршировали бесконечные колонны евразийских солдат: шеренга за шеренгой шагали сильные мужчины с застывшими азиатскими ликами, чтобы ни у кого не оставалось сомнения, какую реальность пытается скрыть Гольдштейн своим правдоподобным вздором. Лица солдат наплывали на поверхность экрана и исчезали, но их тут же сменяли новые, точно такие же. Однообразный мерный солдатский шаг создавал фон для блеющего голоса Гольдштейна.

Не прошло и тридцати секунд с начала Двухминутки Ненависти, а половина сидящих в холле была уже не в силах сдерживать себя. Послышались бешеные выкрики. На самодовольное овечье лицо на экране и пугающую силу евразийской армии нельзя было смотреть спокойно. При одной мысли о Гольдштейне человек испытывал непроизвольный страх и гнев. Гольдштейн был постоянным объектом ненависти, в отличие от Евразии или Востазии, поскольку, когда Океания воевала с одной из этих держав, она обычно поддерживала мирные отношения с другой. Но

как ни странно, хотя все ненавидели и презирали Гольдштейна, хотя ежедневно, тысячу раз в день, с трибун, с экранов мониторов, со страниц газет и книг его теории опровергались, разоблачались, высмеивались, выставлялись на всеобщее обозрение как жалкий вздор (они и были вздором), несмотря на все это, его влияние никогда не уменьшалось. Всегда находились простаки, которые ждали, чтобы их одурачили. Дня не проходило, чтобы Полиция Мысли не разоблачила шпионов и саботажников, действующих по его указке. Он руководил огромной подпольной армией — подпольной сетью заговорщиков, поставивших себе целью уничтожить Государство. Говорили, что эта организация называется Братство. Ходили слухи о страшной книге, в которой были собраны все его еретические теории. Книга распространялась нелегально. Она никак не называлась. Если о ней говорили, то называли просто — книга. Но все это были только слухи. Ни о Братстве, ни о книге рядовой член Партии старался по возможности не говорить.

Ко второй минуте ненависть походила уже на всеобщее бешенство. Люди вскакивали и снова садились, стараясь перекричать блеющий с экрана голос. Маленькая рыжеватая женщина раскраснелась и хватала ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. Даже тяжелое лицо О'Брайена побагровело. Он сидел очень прямо и тяжело дышал мощной грудью, как будто противостоял набегающей волне. Темноволосая девушка, устроившаяся сзади Уинстона, принялась кричать: «Свинья! Свинья! Свинья!», неожиданно она схватила тяжелый словарь новояза и швырнула его в экран. Словарь попал в нос Гольдштейну и отскочил, а голос все звучал и звучал. Уинстон поймал себя на том, что и он кричит вместе со всеми и яростно бьет каблуком по перекладине стула. Самое страшное в Двухминутке Ненависти заключалось не в том, что каждый должен был притворяться, совсем напротив — в том, что невозможно было уклониться от участия. Через тридцать секунд уже не надо было и притворяться. Пароксизм страха и мстительности, желание убивать, мучить, бить по лицу кувалдой как электрический ток проходили сквозь всех присутствующих, превращая каждого помимо его воли в гримасничающего, вопящего безумца. И все же ярость, которая охватывала человека, была абстрактной, ненаправленной, — как пламя паяльной лампы, ее можно было передвигать с одного предмета на другой. И были мгновения, когда ненависть Уинстона устремлялась совсем не против Гольдштейна, а против Большого Брата, Партии, Полиции Мысли. В такие мгновения его сердце раскрывалось навстречу одинокому осмеянному еретику на экране монитора, единственному хранителю правды и здравого ума в мире лжи. Но уже в следующую секунду он был заодно с окружавшими его людьми, и все, что говорилось о Гольдштейне, казалось ему чистой правдой. В такие мгновения его тайное отвращение к Большому Брату сменялось обожанием, и Большой Брат, казалось, возвышался над всеми — непобедимый, бесстрашный защитник, стоящий как скала на пути азиатских орд. А Гольдштейн, несмотря на всю свою отторженность, беспомощность, сомнительность самого своего существования на земле, казался злым искусителем, способным одной силой своего голоса разрушить цивилизацию.

Порой напряжением воли удавалось даже переключать свою ненависть. Яростным усилием, каким отрываешь голову от подушки во время ночного кошмара, Уинстону удалось перенести ненависть с лица на экране монитора на

темноволосую девушку сзади него. Четкие, прекрасные картины поплыли перед глазами. Вот он резиновой дубинкой забивает ее насмерть. Вот, обнаженную, привязывает к столбу и пронзает стрелами, как Святого Себастьяна. Вот он насилует ее и в момент наивысшего наслаждения перерезает ей горло. Он лучше стал понимать, за что ненавидит ее. За то, что она юная, хорошенькая и бесполая. За то, что он хочет спать с ней, но этого никогда не случится. За то, что вокруг ее сладостной гибкой талии, словно созданной для объятий, повязан гнусный алый шарф — символ воинствующего целомудрия.

Ненависть достигла своего пика. Голос Гольдштейна действительно перешел в блеянье, и на секунду его лицо сменилось овечьим. Затем оно расплылось и на экране появилась фигура евразийского солдата. Огромный и страшный, он шел на вас. Вот-вот он спрыгнет с экрана в холл со своим грохочущим автоматом. Кое-кто в первом ряду инстинктивно отпрянул назад. Но тут же раздался вздох облегчения: фигура врага растаяла, и на экране возникло лицо Большого Брата — черноволосое, усатое, полное силы и непостижимо спокойствия, оно заняло почти весь экран. Никто не слышал, что говорил Большой Брат. Наверно, это были простые ободряющие слова, вроде тех, какие говорят в грохоте боя, их трудно разобрать, но они вселяют уверенность уже тем, что сказаны. Потом исчезло с экрана и лицо Большого Брата, а вместо него появились три больших лозунга Партии:

**ВОЙНА — ЭТО МИР.**
**СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО.**
**НЕЗНАНИЕ — ЭТО СИЛА.**

Лицо Большого Брата, казалось, еще несколько секунд проступало за словами лозунгов, как будто оно врезалось в глаза каждого и не могло исчезнуть сразу. Маленькая рыжеватая женщина вскочила и перевесилась через спинку стула, стоявшего впереди нее. «Мой спаситель!» — шептала она дрожащими губами и протягивала руки к экрану, а потом закрыла лицо руками. Кажется, она молилась.

И тут все принялись медленно, самозабвенно, мерно скандировать: «Б-Б!… Б-Б!… Б-Б!» Очень медленно, снова и снова, с продолжительной паузой между первым и вторым «Б». Мрачные приглушенные звуки странным образом напоминали голоса дикарей, и казалось, за ними можно различить топот босых ног и ритмы тамтама. Наверно, так продолжалось с полминуты. Этот рефрен часто звучал в минуты больших потрясений. Отчасти это было гимном, воспевавшим мудрость и величие Большого Брата, но в гораздо большей степени он напоминал самогипноз, преднамеренное отключение сознания посредством такого ритмического шума. Все застыло внутри Уинстона. Во время Двухминутки Ненависти он не мог не впадать в общее умопомрачение, но этот получеловеческий стон «Б-Б!» всегда приводил его в ужас. Конечно, и он скандировал вместе со всеми, нельзя было иначе. Скрывать свои чувства, следить за выражением лица, поступать так, как поступают другие, — все это давно стало инстинктивной реакцией человека. Но была секунда или две, когда

выражение глаз могло его выдать. И как раз в такое мгновение случилась очень важная вещь — если, конечно, она случилась.

В эту секунду он встретился глазами с О'Брайеном. О'Брайен встал. Он снял свои очки и теперь характерным движением укреплял их на носу. И была доля мгновения, когда их взгляды скрестились. Пока они смотрели друг другу в глаза, Уинстон понял — да, он понял — О'Брайен думает о том же, о чем и он сам. Их мысли передались друг другу. Ошибки быть не могло. «Я с тобой, — казалось, говорил взгляд О'Брайена. — Мне понятны твои переживания. Я знаю все о твоем презрении, ненависти, отвращении. Не волнуйся, я на твоей стороне». А потом этот проблеск погас, и лицо О'Брайена стало таким же непроницаемым, как у всех остальных.

Вот и все, и Уинстон уже не был уверен, что это произошло. Подобные случаи обычно не имели продолжения. Но они укрепляли в нем веру в то, что, кроме него, есть еще враги Партии. Быть может, слухи о широкомасштабных подпольных действиях были все-таки правдой? Быть может, Братство все-таки существует на самом деле? Несмотря на бесчисленные аресты, признания и казни, не верилось, что Братство просто провокационный миф. Иногда Уинстон верил, что оно существует, иногда — нет. Никаких доказательств его существования не было. Лишь мимолетные взгляды, которые что-то значили, а могли и ничего не значить, обрывки случайно услышанных разговоров, полустертые надписи на стенах туалетов, скупое движение рук при встрече двух совершенно незнакомых людей, напоминавшее тайный пароль… Все это были догадки, вполне возможно-фантазии. Уинстон вернулся в свою кабинку, так и не взглянув больше на О'Брайена. Ему даже не пришло в голову продолжить их мгновенный контакт. Это чересчур опасно, даже если бы он знал, как это сделать. В течение секунды или двух они обменялись двусмысленными взглядами, вот и все. Но даже и это было памятным событием в том замкнутом одиноком мире, в котором приходилось жить.

Уинстон очнулся и распрямился. Его мучила отрыжка — джин напоминал о себе.

Глаза его скользнули по странице. Оказывается, пока он размышлял, рука машинально писала. Но теперь это были не прежние неразборчивые каракули. Перо его сладострастно скользило по гладкой бумаге и выводило большими печатными буквами:

*ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА!*
*ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА!*
*ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА!*
*ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА!*
*ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА!*

Панический ужас охватил его, хотя писать такое ничуть не опаснее, чем начать вести дневник. Его подмывало вырвать исписанные страницы и бросить все это.

Но он не стал этого делать, потому что понимал бессмысленность такого поступка. Не было никакой разницы, написал он «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА!» или нет. Не было никакой разницы, продолжит он дневник или нет. Полиция Мысли все

равно найдет его. Он совершил уже самое серьезное преступление, из которого вытекали все остальные. Даже если бы он никогда не притронулся пером к бумаге, преступление все равно было совершено. Они называли это преступным мышлением, которое невозможно долго скрывать. Конечно, можно хитрить какое-то время, даже несколько лет, но рано или поздно они обязательно схватят тебя.

Схватят ночью — арестовывали всегда ночью. Внезапное пробуждение, грубая рука, трясущая тебя за плечо, свет, бьющий в глаза, кольцо суровых лиц вокруг постели. Почти всегда не было ни суда, ни сообщения об аресте. Люди просто исчезали, и непременно ночью. Имя исключалось из всех списков, уничтожалось любое упоминание обо всем, что ты когда-нибудь сделал, жизнь твоя отрицалась и забывалась. Ты уничтожался, пропадал, было принято говорить — испарялся.

На мгновение Уинстон впал в истерику. Он начал писать быстро и неаккуратно:

*они расстреляют меня и пусть они расстреляют меня убьют выстрелом в затылок и пусть долой большого брата они всегда убивают выстрелом в затылок и пусть долой большого брата…*

Он откинулся от стола, устыдившись себя, и положил ручку. В следующее мгновение он вздрогнул: в дверь стучали…

Уже! Уинстон притаился, как мышь, слабо надеясь, что стучавший уйдет. Но стук повторился. Хуже всего в таких случаях медлить. Сердце его колотилось, как барабан. Но лицо благодаря многолетней привычке, наверно, оставалось невозмутимым. Он встал и тяжело двинулся к двери.

## 2

Взявшись за дверную ручку, Уинстон увидел, что оставил дневник на столе открытым. Слова «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА!» были написаны так крупно, что казалось, их можно прочесть с другого конца комнаты. Как это глупо, опрометчиво! Но даже страх не смог заставить его закрыть записную книжку и испачкать кремовую бумагу непросохшими чернилами.

Он набрал в грудь побольше воздуха и открыл дверь. Теплая волна облегчения окатила его — на пороге стояла бледная, изнуренная женщина со всклокоченными волосами и морщинистым лицом.

— Товарищ, — начала она плаксивым голосом. — Мне показалось, что вы дома. Не могли бы вы взглянуть на нашу раковину на кухне? Она засорилась и…

Это была миссис Парсонс, соседка по этажу. (Обращение «миссис» не одобрялось Партией. К каждому следовало обращаться «товарищ», но некоторых женщин инстинктивно называли «миссис»). Ей было лет тридцать, но выглядела она гораздо старше. Казалось, в ее морщинах осела пыль. Уинстон двинулся за ней через площадку. Этим надоевшим самодеятельным ремонтом приходилось заниматься

чуть ли не каждый день. Дом Победы был построен давно, где-то в тридцатых годах, и все в нем разваливалось. С потолков и стен постоянно сыпалась штукатурка, в морозы лопались трубы, крыша текла, когда шел снег, батареи парового отопления были чуть теплыми, если их вообще не выключали в целях экономии. Ремонтом ведали какие-то недосягаемые комитеты, которые могли вставлять стекло два года. Поэтому все приходилось чинить самим.

— Простите, что беспокою вас, но Тома дома нет, — рассеянно сказала миссис Парсонс.

Квартира Парсонсов была больше квартиры Уинстона и очень запущенная. Все было испачкано, растоптано, как будто в ней только что побывал большой дикий зверь. По полу разбросаны детские вещи — хоккейные клюшки, боксерские перчатки, лопнувший футбольный мяч, потные шорты, вывернутые наизнанку, а стол был завален грязными тарелками и рваными тетрадками. На стене висели красные вымпелы Молодежной Лиги и детской организации Сыщиков и, конечно же, огромный плакат с Большим Братом. Пахло, как и во всем здании, вареной капустой, но резкая вонь пота перебивала этот запах. И каждому было ясно, хотя и непонятно почему, что пахло потом человека, которого в данный момент не было дома. В соседней комнате кто-то пытался с помощью гребенки и клочка туалетной бумаги подыгрывать военному маршу, который все еще несся из монитора.

— Это дети, — сказала миссис Парсонс, взглянув на дверь со смутным предчувствием опасности. — Они не гуляли сегодня, и конечно… — У нее была привычка обрывать фразы на середине.

Раковина на кухне почти до краев была полна грязной зеленоватой водой, от которой сильнее, чем обычно, несло капустой. Уинстон опустился на колени и прежде всего проверил отводную трубу. Ему ужасно не хотелось пачкать руки, и он не любил наклоняться — после этого у него всегда начинался кашель. Миссис Парсонс беспомощно наблюдала за его действиями.

— Конечно, если бы Том был дома, он все бы починил моментально, — заметила она. — Он любит такую работу. У Тома золотые руки.

Парсонс, как и Уинстон, служил в Министерстве Правды. Это был полный, но весьма подвижный человек редкой глупости и какого-то дебильного энтузиазма. Именно такие, ничего не спрашивающие, преданные трудяги в большей степени, чем Полиция Мысли, обеспечивали поддержку Партии. В тридцать пять он был вопреки желанию отчислен по возрасту из Молодежной Лиги, а до вступления в нее умудрился лишний год просидеть в детской организации Сыщиков. В Министерстве Парсонс занимал одну из незначительных должностей, где большого ума не требовалось. Но, с другой стороны, он был видной фигурой в Спорткомитете и во всех остальных комитетах, которые занимались организацией турпоходов, стихийных демонстраций, кампаний экономии и прочих добровольных мероприятий. Парсонс между двумя затяжками трубки с гордостью сообщал любому, что последние четыре года он каждый вечер обязательно бывает в Общественном Центре. Резкий запах пота, невольный признак бурной деятельности, сопровождал его повсюду, где бы он ни появлялся, и еще долго не выветривался из помещения после его ухода.

— У вас есть гаечный ключ? — спросил Уинстон, пытаясь повернуть гайку на отводной трубе.

— Ключ… — сказала миссис Парсонс и сразу обмякла. — Я не знаю. Возможно, дети…

Топот ног и новый взвизг расчески раздались теперь уже из большой комнаты. Миссис Парсонс принесла ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением вытащил комок волос, застрявший в трубе. Он вымыл пальцы под краном, насколько это можно было сделать холодной водой, и прошел в соседнюю комнату.

— Руки вверх! — раздался дикий вопль.

Симпатичный задиристый мальчуган лет девяти выскочил из-за стола и наставил на Уинстона игрушечный автоматический пистолет. Его сестренка, года на два младше, целилась в него из щепки. На обоих были синие шорты, серые рубашки и красные галстуки — форма Сыщиков. Уинстон поднял руки. Ему стало как-то не по себе. Мальчик вел себя так агрессивно, что это мало походило на игру.

— Ты предатель! — орал мальчишка. — Ты преступник мысли! Ты евразийский шпион! Я застрелю себя, испарю, отправлю в соляные копи!

И оба с воплями «Предатель!», «Преступник мысли!» принялись прыгать вокруг Уинстона. При этом сестренка подражала каждому движению брата. Все это немного пугало, как игры тигрят, которые скоро превратятся в хищников. В глазах, мальчишки читалось хорошо рассчитанная жестокость, явное желание ударить или пнуть Уинстона и осознание того, что он уже достаточно большой, чтобы сделать это. Хорошо, что пистолет игрушечный, подумал Уинстон.

Миссис Парсонс тревожно смотрела то на детей, то на Уинстона. В большой комнате было светлее, и Уинстон с удивлением обнаружил, что в ее морщинах на самом деле лежит пыль.

— Они порой такие шумные, — сказала она. — Расстроены, что не смогут пойти смотреть, как будут вешать. Все дело в этом. Мне некогда пойти с ними, а Том не успеет с работы.

— Почему, почему мы не пойдем? — закричал мальчишка.

— Хотим смотреть, как вешают! Хотим смотреть, как вешают! — подхватила девочка, все еще прыгая вокруг Уинстона.

Уинстон вспомнил, что сегодня вечером в парке должны повесить нескольких евразийских пленных, военных преступников. Такие казни устраивались раз в месяц и были довольно популярным зрелищем. Дети всегда клянчили, чтобы их взяли с собой в парк посмотреть на казнь.

Попрощавшись с миссис Парсонс, Уинстон направился к себе. Но не успел он пройти и шести шагов через площадку, как что-то больно ударило его в шею. Будто вонзили раскаленный металлический прут. Он обернулся и увидел, как миссис Парсонс затаскивает в квартиру своего сына, а тот прячет в карман рогатку.

— Гольдштейн! — вопил мальчишка.

Но больше всего поразило Уинстона беспомощное, напуганное, серое лицо миссис Парсонс.

Вернувшись к себе, он торопливо прошмыгнул мимо экрана и, все еще потирая шею, вновь уселся за стол. Музыку уже не передавали. Теперь отрывистый голос

военного описывал, жестко смакуя подробности, вооружение новой Плавучей Крепости, вставшей на якорь между Исландией и Фарерскими островами.

С такими детьми, подумал он, жизнь этой несчастной женщины похожа на сущий ад. Через год-другой они станут шпионить за ней днем и ночью в поисках малейших проявлений неблагонадежности. Теперь почти все дети ужасны. Хуже всего, что такие организации, как Сыщики, превращали их в неуправляемых маленьких дикарей, хотя при этом у подрастающего поколения не возникало ни малейшего стремления восстать против дисциплины Партии. Напротив. Они обожали Партию и все, что было с ней связано. Песни, манифестации, знамена, турпоходы, строевые занятия с учебными винтовками, выкрикивание лозунгов, поклонение Большому Брату — все это было для них героической игрой. Вся их жестокость была мобилизована и направлена на врагов государства, на иностранцев, изменников, саботажников и преступников мысли. Стало нормой, что люди старше тридцати боялись собственных детей. И не зря. Редкая неделя проходила без того, чтобы «Таймс» не сообщила о каком-нибудь маленьком пакостнике («мальчик-герой» или «девочка-героиня», как обычно писала газета), который, подслушав компрометирующую фразу, донес Полиции Мысли на своих родителей.

Шея уже не болела. Он нерешительно взял перо, не зная, о чем еще написать. И снова неожиданно для себя стал думать об О’Брайене.

Несколько лет назад… Сколько же? Должно быть, лет семь назад ему приснился сон, что он идет через очень темную комнату. И кто-то, сидевший сбоку, сказал, когда он проходил мимо: «Мы встретимся там, где будет светло». Это было сказано спокойно, почти небрежно, просто слова, а не команда. Уинстон даже не остановился. Интересно, что тогда, во сне, слова эти не произвели на него особого впечатления. Лишь позднее эта фраза стала казаться многозначительной. Он не мог теперь вспомнить, видел ли он этот сон до или после своей первой встречи с О’Брайеном. Не мог он вспомнить и того, когда впервые отождествил голос во сне с голосом О’Брайена. Но он отождествил. Тогда в темноте с ним говорил О’Брайен.

Даже после сегодняшнего обмена взглядами Уинстон никак не мог решить: друг или враг О’Брайен? В общем-то это не имело особого значения. Между ними было взаимопонимание, а это важнее привязанности или общего дела. «Мы встретимся там, где будет светло», — сказал он. Уинстон не знал, что это значит, он лишь догадывался — каким-то образом, но так и случится.

Монитор вдруг замолчал. Чистый и прекрасный звук трубы поплыл в душном воздухе комнаты. Резко заговорил диктор:

«Внимание! Прошу внимания! Передаем последние известия с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали блестящую победу. Мы уполномочены заявить, что эта победа может привести в обозримом будущем к окончанию войны. Мы передаем последние известия…»

«Теперь надо ждать неприятностей», — подумал Уинстон. Так и произошло. За кровавым описанием разгрома евразийской армии с ошеломляющими цифрами убитых и взятых в плен последовало объявление, что нормы выдачи шоколада сокращаются с тридцати до двадцати граммов.

Уинстона снова мучила отрыжка. Это выходил из него джин, оставляя ощущение пустоты. Монитор, то ли для того, чтобы отпраздновать победу, то ли чтобы заглушить память о потерянном шоколаде, разразился гимном «Океания, Океания, все для тебя…». При исполнении гимна полагалось встать по стойке «смирно», однако Уинстона сейчас было не видно, и он остался сидеть.

За гимном последовала легкая музыка. Уинстон подошел к окну, стараясь держаться спиной к монитору. По-прежнему на улице было холодно и безоблачно. Где-то далеко взорвалась ракета, глухой отраженный звук донесся до него. Каждую неделю двадцать-тридцать ракет падали на Лондон.

Ветер внизу по-прежнему трепал рваный плакат, то открывая, то закрывая слово «Ангсоц». Ангсоц. Священные принципы Ангсоца. Новояз, двоемыслие, меняющееся прошлое. Уинстон чувствовал себя так, как будто бродит в зарослях по морскому дну, будто он заблудился в чудовищном мире и сам превратился в чудовище. Он был одинок. Прошлое умерло, будущее представить себе невозможно. У него не было никакой уверенности в том, что хоть один человек из живущих сегодня на Земле на его стороне. Как узнать, что диктатура Партии не навсегда? В ответ он увидел перед глазами три лозунга Партии на белом фасаде Министерства Правды:

**ВОЙНА — ЭТО МИР.**
**СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО.**
**НЕЗНАНИЕ — ЭТО СИЛА.**

Уинстон вынул из кармана монетку в двадцать пять центов. И на ней четкими маленькими буковками были отчеканены те же лозунги, а с другой стороны — изображение Большого Брата. Даже на монете глаза преследовали вас. Они были везде — на монетах, на марках, на обложках книг, на знаменах и плакатах, даже на сигаретных пачках. Глаза всегда видели вас, а голос монитора догонял повсюду. Так было днем и ночью, когда вы работали и когда вы ели, в помещении и на улице, в ванне и в постели — везде. Бежать было некуда. У вас ничего не оставалось своего, разве что несколько кубических сантиметров внутри черепной коробки.

Солнце переместилось. Тысячи окон Министерства Правды потемнели и выглядели теперь как бойницы крепости — солнечный свет больше не падал на них. Эта огромная пирамида заставила сердце Уинстона вздрогнуть. Столь мощную крепость невозможно взять штурмом. Тысячи ракет мало, чтобы стереть ее с лица Земли. Для кого же он пишет дневник? — подумал он опять. Для будущего? Для прошлого? Так или иначе — для воображаемого мира. А его самого ждала не смерть — ликвидация. Дневник превратится в пепел, а он — в пар. Лишь Полиция Мысли прочтет дневник, прежде чем уничтожить эти страницы и память о них. Как же можно обращаться к будущему, если от вас не останется ни следа, не останется даже безымянного слова, нацарапанного на клочке бумаги?

Монитор пробил четырнадцать часов. Через десять минут надо выходить. В четырнадцать тридцать он должен быть на службе.

Как ни странно, но бой часов снова вдохновил его. Он почувствовал себя одиноким призраком, говорящим правду, которую никто никогда не услышит. Но пока он говорит свою правду, связь времен странным образом не прерывается. Не потому, что кто-то может услышать тебя, а потому, что ты остаешься в здравом уме и наследуешь все, что создали люди до тебя. Он вернулся к столу, обмакнул перо в чернила и написал:

*Будущему или прошлому времени, когда мысль свободна, когда люди отличаются друг от друга, когда они не одиноки, — времени, когда есть правда и сделанное нельзя назвать несделанным.*

*Из века однообразия, из века одиночества, из века Большого Брата, из века двоемыслия — привет!*

Я уже умер, подумал он. Ему показалось, что лишь теперь, когда ему удалось точно выразить свои мысли, он сделал решительный шаг. Последствия всякого действия заключены в самом действии. Он записал:

*Преступление не влечет за собой смерть: преступление мысли И ЕСТЬ смерть.*

Теперь, когда он понял, что уже мертв, ему стало важно как можно дольше остаться живым. Он испачкал чернилами два пальца правой руки. Этого было достаточно, чтобы выдать себя. Какой-нибудь фанатик в Министерстве, любящий совать нос в чужие дела (скорее всего, женщина — вроде той маленькой с рыжеватыми волосами или темноволосой девушки из Художественного Отдела), может заинтересоваться: почему это он писал во время обеденного перерыва; почему он писал старомодным пером, что он писал, а потом и намекнуть об этом в нужном месте. Он отправился в ванную и тщательно твердым темно-коричневым мылом начал соскабливать чернильные пятна с пальцев. Мыло терло кожу, как наждак, и в данном случае было очень подходящим.

Дневник он убрал в ящик стола. Прятать его бессмысленно, но можно попробовать проверить, найдут дневник или нет в его отсутствие. Если положить между страниц волосок, будет чересчур бросаться в глаза. Он подцепил ногтем крохотную белую пылинку и осторожно пристроил ее на угол обложки: ее обязательно стряхнут, если возьмут в руки записную книжку.

## 3

Уинстону снилась мать.

Ему было лет десять-одиннадцать, когда мать исчезла навсегда. Он помнил ее высокой, статной, молчаливой женщиной с плавными движениями и великолепными светлыми волосами. Отца он помнил хуже. Темноволосый и худощавый, отец всегда носил аккуратный темный костюм и очки. Уинстону особо запомнились очень тонкие подметки на ботинках отца. Очевидно, они оба пропали в одной из первых больших чисток пятидесятых годов.

Во сне мать сидела где-то глубоко внизу с маленькой сестренкой Уинстона на руках. Он совершенно не помнил свою сестру. Так, слабый, крошечный комочек жизни, тихий, с большими внимательными глазами. Обе они смотрели сейчас на него. Они были где-то внизу, под землей, быть может, на дне колодца или в могиле, очень далеко от него, и они опускались все ниже и ниже. Или они были в салоне тонущего корабля и смотрели на него вверх через толщу темной воды. В салоне еще был воздух, они еще видели его, а он их, но все время они опускались все ниже и ниже в зеленую воду, и она вот-вот должна скрыть их навсегда. А он стоял на земле, где был солнечный свет и воздух, пока их засасывала смерть. И они там, внизу, потому что он здесь, наверху. Он знал это, и они это знали, и он видел по их лицам, чго они это знают. Но не было упрека ни в их глазах, ни в их сердцах, а лишь сознание, что они должны умереть, чтобы он жил, и что это неизбежный порядок вещей.

Он не мог вспомнить, что именно случилось, но он знал во сне, что каким-то образом жизни его матери и сестры принесены в жертву, чтобы он жил. Это было одно из тех видений, что, несмотря на все характерные приметы сна, являются прямым продолжением работы мысли человека, бывает, ему открываются такие факты и приходят такие идеи, которые не теряют своей новизны и ценности и после пробуждения. Уинстона вдруг пронзила догадка, что смерть его матери почти тридцать лет назад была трагичной и печальной в том смысле, какой сейчас невозможен. Трагедия, осознал он, принадлежит прошлому, когда еще была возможна частная жизнь, любовь, дружба и когда члены одной семьи стояли друг за друга, даже не задумываясь о мотивах этого. Память о матери разрывала сердце Уинстона, ведь она умерла любя его, а он был слишком мал и эгоистичен, чтобы отвечать ей тем же, он даже не помнил, что она пожертвовала жизнью ради идеи верности, от которой не желала отказываться. Идея была ее собственная, не навязанная никем. Сегодня ничего такого не могло произойти. Сегодня есть страх, ненависть, боль, но нет благородства чувств, глубокой и подлинной печали. Именно это он видел в огромных глазах матери и сестры, которые погружались и погружались в зеленую воду и смотрели на него снизу вверх.

Потом он очутился на молодой зеленой траве. Был летний вечер, и под косыми лучами солнца земля казалась золотой. Ему так часто снилось это место, что он не мог наверняка сказать, видел он его в жизни или нет. Он называл это место Золотая Страна. Это был старый, выеденный кроликами луг, по лугу петляла тропинка, там и сям виднелись маленькие холмики земли от кротов. За полуразрушенной изгородью на противоположной стороне луга ветви вяза качались на легком ветру, и их густая листва чуть шевелилась, как женские волосы. Где-то рядом, хотя этого нельзя было увидеть с места, где стоял Уинстон, протекал чистый медленный ручей, в заводях которого под ивами плавала плотва.

К заводи через поле шла темноволосая девушка. Легким движением она сбросила одежду и небрежно кинула ее в сторону. Тело ее, белое и нежное, не возбуждало у Уинстона никакого желания. Он в общем-то почти не смотрел на нее. Его переполняло восторженное чувство от того, как спокойно и небрежно она бросила в сторону свою одежду. Эта грация, эта небрежность будто перечеркивали всю культуру, всю систему мышления, где был Большой Брат, и Партия, и Полиция Мысли. Все превращалось в ничто единым прекрасным движением руки. Этот жест тоже принадлежал прошлому. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на губах.

Из монитора несся разрывающий барабанные перепонки свист. Сигнал звучал на одной и той же ноте тридцать секунд. Было семь пятнадцать, время подъема служащих. Уинстон заставил себя вылезти из постели. Он был совершенно голый, потому что член Внешней Партии получал всего 3000 купонов на одежду в год, а одна пижама стоила 600 купонов. Уинстон сорвал со стула темную рубашку и шорты. Через три минуты начнется физзарядка. И тут его скрючило от сильного приступа кашля. Такое случалось с ним почти каждое утро. У него перехватило дыхание, пришлось лечь на спину и сделать несколько глубоких вдохов. От приступа кашля вены раздулись и зачесалась язва на ноге.

— Группа от тридцати до сорока лет! — закричал с экрана пронзительный женский голос. — От тридцати до сорока! Займите свои места, пожалуйста! Тридцатилетки и сорокалетки!

Уинстон вскочил на ноги и встал по стойке «смирно» перед монитором, на экране которого уже появилось изображение моложавой, сухопарой, сильной женщины в спортивном костюме и гимнастических тапочках.

— Согнуть руки и потянуться! — прокричала она. — Следите за мной! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Старайтесь, товарищи! Поактивней! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!…

Даже боль от приступа кашля не смогла полностью вытеснить яркие впечатления от сна, а ритмичные движения еще больше оживили их. Он механически выбрасывал руки вперед и назад, лицо его выражало непреклонность и радость, как и полагалось во время физзарядки, а мысли пытались пробиться сквозь туман в раннее детство. Это было очень трудно сделать. Дальше конца пятидесятых все меркло в памяти.

Не было никаких внешних ориентиров, не за что было зацепиться и даже линия собственной жизни размывалась. Вспоминались какие-то грандиозные события, которые, вполне возможно, никогда не происходили на самом деле, всплывали мельчайшие детали, которые тем не менее никак не воссоздавали атмосферу реальных происшествий. Все тогда было иначе. Даже названия стран и их границы на карте. Первая Военно-Воздушная Зона, например, в те дни именовалась не так. Она называлась Англией или Британией. Хотя Лондон — Уинстон был в этом уверен — всегда назывался Лондоном.

Уинстон не мог вспомнить, когда его страна не воевала, но похоже, что в детстве был все-таки довольно продолжительный период мирной жизни.

Ведь одно из самых ранних его воспоминаний связано с воздушным налетом, который застал всех врасплох. Быть может, как раз тогда на Колчестер упала атомная бомба. Сам налет он не помнил. Но помнил, как рука отца сжимала его руку

и они бежали вниз, вниз, вниз, куда-то глубоко под землю, по винтовой лестнице, звеневшей у них под ногами. В конце концов он уже не мог бежать и принялся хныкать. Им пришлось остановиться и отдохнуть. Мать Уинстона сильно отстала от них и, как всегда, шла медленно и задумчиво. Она несла на руках его маленькую сестренку, а может быть, всего лишь узел с простынями. Он не был уверен сейчас, что сестренка уже родилась к тому времени. Наконец они вышли на шумную, переполненную людьми площадку — очевидно, это была станция метро.

Люди сидели на вымощенном камнями полу, а некоторые, тесно прижимаясь друг к другу, устроились на металлических многоярусных койках. Уинстон с отцом и матерью расположились на полу, рядом на койке оказались старик и старуха. Старик был в приличном темном костюме и в черной кепке, сбившейся назад. Волосы у него были совершенно седые, а в голубых глазах на раскрасневшемся лице стояли слезы. От него пахло джином. Казалось, что капельки пота, выступавшие у него на коже, и его слезы — чистый джин. Он был немного пьян, но его страдания, его горе были подлинными и невыносимыми. И детским своим разумом Уинстон понял: произошло что-то ужасное, чего нельзя простить и невозможно поправить. И ему казалось, он знает, что случилось. Убит кто-то, кого старик любил, — может быть, его маленькая внучка. Старик все время повторял одно и то же:

— Нельзя было им доверять. Я всегда это говорил, мать, разве не говорил? Вот к чему это приводит. Я всегда это говорил. Нельзя было доверять этим подонкам.

Но Уинстон уже не мог припомнить, каким именно подонкам нельзя было доверять.

Примерно с того времени война уже никогда не прекращалась. Хотя это вообще-то были разные войны. Несколько месяцев шли уличные бои в самом Лондоне. Он отчетливо помнил некоторые эпизоды. Однако невозможно было проследить историю тех лет, сказать, кто с кем воевал, потому что ни письменные, ни устные источники не упоминали ни о каком ином толковании событий, кроме того, что было принято сегодня. Например, сейчас, в 1984 году (если, конечно, это был 1984-й, а не какой-нибудь другой год), Океания воевала с Евразией и находилась в союзных отношениях с Востазией. Никогда ни публично, ни с глазу на глаз никто не поминал, что существовала иная группировка трех держав. На самом деле (Уинстон хорошо это знал) всего лишь четыре года назад все было наоборот: Океания воевала с Востазией и состояла в союзе с Евразией. Но этот секретный, уничтожаемый факт прошлого сохранился в его памяти только потому, что контроль за ней оказался неэффективным. Официально смены союзников никогда не происходило. Океания воевала в данный момент с Евразией — значит, Океания воевала с Евразией всегда. Сегодняшний противник олицетворял абсолютное зло, и отсюда прямо вытекало, что ни прошлые, ни будущие соглашения с ним немыслимы.

Самое страшное, подумал Уинстон в десятитысячный раз (вращая корпусом, руки на поясе — предполагалось, что упражнение полезно для мускулов спины), самое страшное, что все это, возможно, так и есть. Если Партия может запускать свои руки в прошлое и утверждать, что то или иное событие никогда не происходило, то это, наверно, страшнее пытки или смерти?

Партия сказала, что Океания никогда не была союзницей Евразии. Он, Уинстон Смит, знал, что всего лишь четыре года назад Океания была с ней в союзе. Но где

подтверждение этому факту? Только в его сознании, которое, судя по всему, скоро будет ликвидировано. А раз все остальные принимают ложь Партии за чистую монету, раз все источники подтверждают это, то ложь становится историей и превращается в правду. Один из лозунгов Партии гласил: «Кто контролирует прошлое — контролирует будущее, кто контролирует настоящее — контролирует прошлое». И все же прошлое, изменчивое по своей природе, так и не смогли изменить. Все, что правда сегодня, было и будет правдой всегда. Это же очевидно. Нужно лишь не сдаваться в борьбе со своей памятью. Они называют это «Контроль за действительностью», на новоязе это называется «двоемыслием».

— Вольно! — слегка повеселевшим голосом сказала тренерша с экрана.

Уинстон опустил руки и сделал глубокий вдох. Его ум медленно скользнул в лабиринт двоемыслия. Знать и не знать, владеть полной правдой и говорить тщательно сфабрикованную ложь, придерживаться одновременно двух взаимоисключающих мнений, знать, что они противоречат одно другому, и верить в оба, обращать логику против логики, не признавать мораль и в то же время клясться этой самой моралью, верить, что демократия невозможна, и утверждать, что Партия защищает демократию, забывать все, что приказано забыть, а потом, при необходимости, вновь вспоминать об этом и, самое главное, применять такую диалектику и к самой диалектике. Это было высшим достижением: сознательно навязывать бессознательность и тут же самому забывать, что ты только что занимался гипнозом. Ведь даже для того, чтобы понять это слово «двоемыслие», надо было применить двоемыслие.

Инструкторша вновь поставила их по стойке «смирно».

— А теперь давайте посмотрим, кто из нас может дотянуться до носков, — прокричала она с энтузиазмом. — Пожалуйста, товарищи, прямо от поясницы. Раз-два, Раз-два!…

Уинстон терпеть не мог это упражнение: у него начинало болеть все — от пяток до ягодиц. А кончалось все это новым приступом кашля. Естественно, размышления его стали совсем мрачными. Прошлое, подумал он, не просто изменили — его уничтожили. Как можно доказать даже самый очевидный факт, если он существует лишь в твоей памяти? Он постарался вспомнить, в каком году он впервые услышал о Большом Брате. Кажется, это было в шестидесятых, хотя нельзя утверждать наверняка. Разумеется, в истории Партии Большой Брат выступал как вождь и хранитель Революции с самых первых дней. Его подвиги отодвигались все дальше в прошлое и теперь происходили уже в легендарных сороковых и тридцатых, когда капиталисты в странных цилиндрах все еще разъезжали по улицам Лондона в громадных сверкающих автомобилях или в застекленных каретах, запряженных лошадьми. Неизвестно, что здесь вымысел и что — правда. Уинстон не мог даже припомнить, когда родилась сама Партия. Даже слово «Ангсоц» он вроде бы не слышал до 1960 года. Впрочем, возможно, оно и существовало раньше, но произносилось на старом английском языке как «английский социализм». Все растворялось в тумане. Иногда, впрочем, можно было ткнуть пальцем в очевидную ложь. Ложью было, например, утверждение в истории Партии, будто именно Партия изобрела самолеты. Уинстон помнил самолеты с раннего детства. Но разве докажешь хоть что-нибудь. Не было никогда никаких доказательств. За всю свою

жизнь лишь однажды он держал в руках неопровержимое документальное свидетельство подтасовки исторического факта. И в тот раз…

— Смит! — крикнул сварливый голос из монитора. — Номер шесть тысяч семьдесят девять, Смит У.! Да, да, вы! Пожалуйста, наклоняйтесь ниже! Вы можете делать это упражнение гораздо лучше. Вы совсем не стараетесь. Ниже, пожалуйста! Вот так будет лучше, товарищ. Теперь можете встать вольно, вся группа. Наблюдайте за мной.

Горячий пот прошиб Уинстона. Лицо его оставалось непроницаемым. Нельзя показывать страх! Нельзя показывать возмущение! Искра в глазах может выдать тебя. Он стоял и смотрел, как инструкторша поднимала руки над головой, нагибалась и легко доставала ладонями пальцы ног. Не скажешь, что она делала это грациозно, но очень искусно и четко.

— Вот так, товарищи! Мне хотелось бы, чтобы и вы делали так. Посмотрите еще раз. Мне тридцать девять. Я четыре раза рожала. Теперь смотрите. — Она опять наклонилась. — Видите, я не сгибаю коленок. Каждый из вас может сделать то же самое, если захочет, — добавила она, распрямляясь. — Каждый, кто моложе сорока пяти, вполне способен достать руками пальцы ног. Не всякому из нас довелось сражаться на фронте, но каждый должен быть всегда в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте! Наших моряков на Плавающих Крепостях! Подумайте, что им приходится переносить. А теперь попробуйте сделать упражнение еще раз. Теперь гораздо лучше, товарищ, гораздо лучше, — прибавила она ободряюще, когда Уинстон отчаянным усилием нагнулся и, не сгибая колен, коснулся пальцев ног. В первый раз за многие годы.

## 4

Начало рабочего дня всегда вызывало у Уинстона глубокий непроизвольный вздох, хотя монитор и находился рядом. Он придвинул к себе диктограф, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем развернул и скрепил скрепками четыре маленьких бумажных цилиндрика, которые уже выскочили из пневматической почты с правой стороны рабочего стола.

В стенах его кабинки было три отверстия. Справа от диктографа располагалась маленькая пневматическая трубка для записок, слева — трубка побольше для газет, а в боковой стенке — большая продолговатая щель, защищенная проволочной сеткой. До нее было легко дотянуться, не вставая из-за стола. В эту дыру бросали макулатуру. Тысячи, а может быть, десятки тысяч таких щелей были по всему зданию, не только в каждой комнате, но и на каждом шагу в коридорах. Почему-то все их называли «дыры памяти». Любой документ, предназначенный для уничтожения, любой клочок бумаги, валявшийся на полу, машинально бросали в эти щели, приподняв сетку. Их подхватывал поток теплого воздуха и уносил к огромным печам куда-то в глубину здания.

Уинстон внимательно просмотрел четыре развернутых листочка. В каждой записке было не более одной-двух строк на деловом жаргоне. В общем-то это был не

новояз, но слова новояза широко использовались. Такая шифрованная скоропись употреблялась в Министерстве для внутренних целей. В записках говорилось:

таймс 17.03.84 речь бб искаженное собщение африка исправить

таймс 19.12.83 прогнозы 3 годплан 4-й квартал 83 опечатки уточнить последний номер

таймс 14.02.84. минимно искаженная цитата шоколад исправить

таймс 3.12.83 сообщение приказа дня бб плюсплюс антихорошее ссылки неличности переписать полностью доложить наверх до подшивки

Предвкушая настоящую работу, Уинстон отложил в сторону четвертую записку. Тут сложное и ответственное задание, и лучше оставить его напоследок. Три другие были делом обыденным, хотя, возможно, со второй запиской придется повозиться — слишком долго предстояло сверять ряды скучных цифр.

Уинстон заказал нужные номера «Таймс» и в считанные минуты получил их по пневмопочте. В присланных записках назывались статьи или сообщения, которые по той или иной причине считалось нужным изменить, или, как формулировалось официально, уточнить. Например, Большой Брат в своей речи, напечатанной в «Таймс» от семнадцатого марта и произнесенной накануне, высказал предположение, что на южно-индийском фронте будет затишье, а евразийское наступление начнется в ближайшее время в Северной Африке. На самом деле Евразийское Высшее Командование начало наступление своих армий как раз в Южной Индии, а в Африке, напротив, все было тихо. Поэтому следовало переписать абзац в речи Большого Брата так, чтобы его предсказания оказались безошибочными. Или опять же «Таймс» от девятнадцатого декабря опубликовала официальные прогнозы выпуска различных потребительских товаров в четвертом квартале 1983 года, что соответствовало шестому кварталу Девятого Трехлетнего Плана. В сегодняшнем номере печаталось сообщение о том, что же действительно было произведено. Из сообщения следовало, что все прогнозы оказались совершенно неверными. Уинстону предстояло исправить первоначальные цифры, чтобы они соответствовали ныне объявленным. В третьей записке говорилось об очень простой ошибке, которую можно исправить за пару минут. Совсем недавно, в феврале, Министерство Изобилия дало обещание («безусловное обязательство» — говорилось в официальном сообщении), что в течение 1984 года нормы выдачи шоколада снижаться не будут. На самом деле, как прекрасно знал Уинстон, норма шоколада будет сокращена с тридцати до двадцати граммов уже в конце этой недели. Нужно всего лишь заменить первоначальное обещание на предупреждение, что, возможно, в апреле придется сократить выдачу шоколада.

По каждой записке Уинстон диктовал свои поправки в диктограф, а отпечатанный текст подкалывал к соответствующему номеру «Таймс» и отсылал его по пневматической почте обратно. Затем почти автоматическим жестом скомкал записки и черновики и швырнул их в дыру памяти.

Он лишь в общих чертах знал, что происходит в невидимом лабиринте, куда вели пневматические трубы. После того как все необходимые поправки к какому-либо номеру «Таймс» собирали вместе и сличали, газета перепечатывалась, оригинал уничтожался, а исправленный экземпляр занимал свое место в подшивке. Этот процесс непрерывных изменений применялся не только к газетам, но также к книгам, журналам, брошюрам, плакатам, листовкам, фильмам, звукозаписям, карикатурам, фотографиям — словом, к любой литературе, к любым документам, которые могли иметь хоть какое-либо политическое или идеологическое значение. Каждый день, практически каждую минуту прошлое приводилось в соответствие с сегодняшним днем. Таким образом, можно было подтвердить документальными свидетельствами любой прогноз Партии, а любую новость, любое мнение, не соответствующие задачам текущего момента, можно было убрать из документов. Вся история стала всего лишь пергаментом, с которого соскабливали первоначальный текст и по мере надобности писали новый. И никогда нельзя было потом доказать подделку.

Самый большой сектор Исторического Отдела, намного превосходящий тот, в котором работал Уинстон, искал и собирал все экземпляры книг, газет и прочих документов, оригиналы которых были заменены, — чтобы уничтожать их. Номер «Таймс», который, возможно, переписывали десять или двенадцать раз из-за изменившейся политической конъюнктуры или ошибочных прогнозов Большого Брата, по-прежнему находился в подшивке, и на нем была первоначальная дата, но не осталось других неисправленных экземпляров, чтобы опровергнуть эту ложь. Книги тоже все время переписывали и перепечатывали и никогда при этом не признавали, что в них сделаны какие-либо изменения. Даже в записках, которые получал Уинстон и сразу после правки уничтожал, не было и намека на то, что требуется подделка; нет, речь всегда шла об оговорках, ошибках, опечатках, неточных цитатах, которые следовало исправить в интересах истины.

Но в общем-то, думал Уинстон, исправляя цифры Министерства Изобилия, это и не подделка. Просто замена одной бессмысленности на другую. По большому счету материал, с которым вы работали, не имел с реальной жизнью ничего общего, даже такого, какое имеет с ней откровенная ложь. Статистические данные и в первоначальном, и в исправленном экземплярах всегда были фантазией. Много времени уходило на то, чтобы придумать их. Например, в прогнозе Министерства Изобилия говорилось, что в четвертом квартале будет произведено 145 миллионов пар сапог. В сегодняшней сводке указывалось, что произвели 62 миллиона пар. Однако Уинстон, переписывая прогноз, снизил цифру до 57 миллионов, чтобы подтвердились утверждения о перевыполнении плана. Во всяком случае, 62 миллиона соответствуют истине не более, чем 57 или 145 миллионов. Вполне возможно, что сапог вообще не производили. А скорее всего, никто не знал, сколько же сапог произвели, и никому до этого не было дела. Всем было известно лишь то, что каждый квартал астрономическое количество сапог производилось на бумаге, в то время как едва ли не половина жителей Океании ходила босиком. И так со всеми документальными свидетельствами, маленькими или большими. Все таяло в каком-то мире теней так, что в конце концов нельзя даже точно узнать, какой теперь год.

Уинстон взглянул на другую сторону коридора. В кабинке напротив упорно трудился Тиллотсон — небольшого роста, педантичный, с плохо выбритым подбородком. На коленях у него лежала сложенная газета, а микрофон диктографа был плотно прижат к губам. Весь его вид давал понять, что все, что он говорил, можно доверить только монитору. Он поднял глаза, и очки его враждебно сверкнули в сторону Уинстона.

Уинстон почти не знал Тиллотсона и не имел ни малейшего представления о том, чем тот занят. Работники Исторического Отдела неохотно говорили о своей работе. В длинном коридоре без окон, где с обеих сторон тянулись рабочие кабинки и стоял постоянный шум от шелеста бумаг и приглушенных голосов, было не менее десятка людей, которых Уинстон не знал даже по имени, хотя ежедневно видел их снующими по проходам или размахивающими руками во время Двухминутки Ненависти. Он знал, что в соседней кабинке работает маленькая рыжеватая женщина. Ее каждодневный труд сводился к тому, что она убирала из газет и журналов имена людей, которых испарили, а поэтому считалось, что они вообще никогда не существовали. Пожалуй, это лучшее, что можно было придумать для нее: ее собственного мужа испарили два года назад. Еще дальше, через несколько кабинок, работал мягкий, мечтательный неудачник по имени Эмплфорс. У него были волосатые уши и редкий талант на рифмы и стихотворные размеры. Эмплфорс исправлял стихи (это называлось «окончательный вариант»), оригиналы которых стали идеологически неприемлемыми, но которые по тем или иным причинам должны были остаться в антологиях. И весь этот коридор с полсотней служащих был лишь маленьким отделением, простой клеткой громадного комплекса Исторического Отдела. Рядом, выше и ниже было множество других служащих, которые выполняли разнообразные задания. Но содержание их работы трудно было даже вообразить. Где-то здесь стояли огромные печатающие устройства, которые обслуживали редакторы и типографские рабочие, располагались отлично оборудованные студии для подделки фотоснимков. Где-то здесь было отделение телепрограмм со своими инженерами, режиссерами и целыми труппами актеров, которых подбирали по умению подражать голосам других людей. Целые легионы клерков выполняли предельно простую работу — составляли списки книг и журналов, подлежащих изъятию. Были обширные хранилища для исправленных документов и хорошо укрытые печи для уничтожения оригиналов. И где-то здесь сидели никому не известные люди, которые управляли всем, координировали общие усилия, определяли политическую линию. Они требовали: этот обломок прошлого сохранить, тот — фальсифицировать, а другой — уничтожить.

А ведь Исторический Отдел — всего лишь подразделение Министерства Правды, главная задача которого вовсе не реконструкция прошлого, а обеспечение жителей Океании газетами, кинофильмами, учебниками, телепередачами, пьесами, романами, всевозможной информацией, инструкциями, развлечениями и воспитанием от памятника до лозунга, от лирического стихотворения до трактата на биологические темы, от детской прописи до словаря новояза. Задачи были даже шире. Министерство Правды должно было не только удовлетворять многообразные потребности Партии, но и повторять всю эту операцию на более примитивном уровне для пролетариата. Целая система специальных отделов занималась

пролетарской литературой, музыкой, драматургией и вообще организацией развлечений для рабочих. Выпускались пустые газетенки, в которых практически ничего не было, кроме спорта, хроники преступлений и астрологии, сенсационные пятицентовые детективы, грязные кинофильмы на сексуальные темы и сентиментальные песенки, сочиненные чисто механическим способом на специальном калейдоскопе — версификаторе. Было даже специальное отделение — порносек на новоязе, — изготавливающее низкопробную порнографическую продукцию, которую рассылали в запечатанных конвертах. Членам Партии, за исключением тех, кто их изготовлял, запрещалось читать и смотреть эти издания.

Пока Уинстон работал, пневмопочта доставила еще три записки. Там не было ничего сложного, и он легко справился с ними до начала Двухминутки Ненависти. После Двухминутки он вернулся в свою кабинку, снял с полки словарь новояза, отодвинул в сторону диктограф, протер очки и принялся за самое сложное из утренних заданий.

Уинстон любил свою работу, именно в ней он находил себя. Конечно, в основном это были скучные обыденные дела, но порой попадались трудные и запутанные задания, в которые он уходил с головой, как в решение математической задачи. Это была филигранная работа, здесь не было инструкций или правил, и руководствоваться ты мог только своим знанием принципов Ангсоца и собственным чутьем — как точнее выразить волю Партии. Уинстону удавались такие вещи. Время от времени ему даже доверяли исправление передовых статей в «Таймс», писавшихся только на новоязе. Он развернул отложенную в сторону записку. В ней говорилось:

таймс 3.12.83 сообщение приказа дня бб плюсплюс антихорошее ссылки неличности переписать полностью доложить наверх до подшивки

На староязе (на стандартном английском языке) это звучало бы так:

Сообщение о Приказе Дня Большого Брата в газете «Таймс» от третьего декабря 1983 года крайне неудовлетворительно и упоминает несуществующих лиц. Перепишите сообщение полностью и представьте ваш проект начальству до подшивки.

Уинстон просмотрел материал, вызвавший неудовольствие. Похоже, Приказ Дня Большого Брата был главным образом посвящен одобрению работы организации ФФКК, которая поставляла сигареты и прочие мелочи морякам Плавучих Крепостей. Некий товарищ Уизерс, видный член Внутренней Партии, отмечался особо и был награжден орденом «За выдающиеся заслуги» второй степени.

Через три месяца ФФКК была неожиданно распущена. Никаких объяснений не давалось. Можно предположить, что Уизерс и его коллеги попали в немилость, но ни

в прессе, ни в сообщениях монитора об этом деле не говорилось ничего. Впрочем, другого и ждать было нельзя, так как политических преступников не принято было судить или публично разоблачать. Большие чистки, в которые попадали тысячи людей, публичные суды над предателями и преступниками мысли, их униженные признания в совершенных преступлениях и, как следствие, казни — такие грандиозные спектакли устраивали примерно раз в два года. Гораздо чаще люди, навлекшие на себя немилость Партии, просто исчезали, и о них больше никто ничего не слышал. Бесполезно гадать, что с ними происходило. Некоторые из них, возможно, были даже живы. В разные годы таким образом исчезло не менее тридцати человек, которых Уинстон лично знал, не считая его родителей.

Уинстон почесал нос скрепкой. В кабинке напротив товарищ Тиллотсон все еще секретничал, наклонившись над диктографом. Он снова поднял голову, и его очки опять зло сверкнули. Интересно, подумал Уинстон, чем он там занимается? Не тем же ли самым, что и я? Вполне возможно. Столь деликатную работу никогда не поручали кому-нибудь одному. С другой стороны, нельзя доверить ее и группе людей, ведь тем самым пришлось бы признать факт фальсификации. Весьма вероятно, что в данный момент не менее десяти человек сочиняли свои варианты речи Большого Брата. Потом все эти варианты поступят в мозговой центр Внутренней Партии, и какой-нибудь начальник, выбрав тот или иной вариант, отредактирует его и приведет в движение сложный механизм перепроверки, что совершенно необходимо, пока наконец избранная ложь не попадет в подшивки документов постоянного хранения и не станет правдой.

Уинстон не знал, почему Уизерс попал в немилость. Возможно, из-за разложения, из-за плохой работы. Возможно, Большой Брат избавляется от слишком популярного помощника. А может, Уизерс или кто-то из людей его окружения заподозрен в ереси. Или возможно (и это вероятнее всего), все произошло потому, что чистки и испарения стали необходимым элементом функционирования правительственного механизма. Единственный ключ к загадке был в словах «ссылки неличности», из которых следовало, что Уизерса уже нет в живых. Арест еще не означал, что человек умер. Иногда арестованных выпускали, и они оставались на свободе год или два, а уж потом их казнили. Случалось, что кто-то, кого давно считали погибшим, вдруг возникал из небытия на каком-нибудь публичном процессе и, впутав новыми откровениями сотни людей, опять исчезал, на этот раз уже навсегда. Но об Уизерсе было написано «неличность». Он не существовал, он никогда не существовал. Уинстон решил, что недостаточно переставить акценты в речи Большого Брата. Лучше, чтобы Большой Брат говорил вообще о чем-то другом, совершенно не связанном с темой первоначального текста.

Можно, конечно, превратить речь в обычное разоблачение предателей и преступников мысли, но это слишком примитивно. А если изобрести победу на фронте или выдающееся достижение в перевыполнении Девятого Трехлетнего Плана, то усложнится перепроверка документов. Нет, здесь нужна чистая выдумка. И тут в его голове возник почти готовый образ некоего товарища Огилви, который недавно геройски погиб в бою. Случалось, что Большой Брат посвящал Приказ Дня прославлению какого-нибудь скромного, рядового члена Партии, чья жизнь и смерть подавались как достойный пример для подражания. Пусть на этот раз он

прославит товарища Огилви. Конечно, никакого товарища Огилви никогда не существовало в природе, но несколько строчек в газете и пара подделанных фотографий сделают его существование вполне реальным.

Уинстон задумался на мгновение, потом пододвинул к себе микрофон и принялся диктовать в стиле Большого Брата. Подражать этому стилю — военному и одновременно педантичному — было нетрудно, потому что Большой Брат все время использовал один и тот же прием — задавал вопросы и тут же сам отвечал на них: «Какие уроки мы должны извлечь отсюда, товарищи? Прежде всего, урок для нас, лишний раз подтверждающий основополагающие принципы Ангсоца, заключается…» — и т. д. и т. п.

В трехлетнем возрасте товарищ Огилви отказался от всех игрушек, за исключением барабана, автомата и заводного вертолета. В шесть лет, на год раньше, чем предусмотрено правилами, в порядке исключения его приняли в Сыщики. Уже в девять лет он стал вожатым отряда. В одиннадцать донес в Полицию Мысли на своего дядю, который, как показалось товарищу Огилви из подслушанного разговора, высказал ряд преступных идей. В семнадцать он был уже районным организатором Молодежной Антисексуальной Лиги. В девятнадцать товарищ Огилви изобрел новую конструкцию ручной гранаты. Образец был одобрен Министерством Мира, и при первом же испытании эта граната убила тридцать одного евразийского военнопленного. А в двадцать три товарищ Огилви погиб в бою. Он летел на вертолете над Индийским океаном, имея при себе важные донесения. Вражеские реактивные самолеты атаковали его. Чтобы документы не попали в руки противника, товарищ Огилви привязал к телу тяжелый пулемет и выбросился в море. Такой смерти можно позавидовать, сказал Большой Брат. Далее Большой Брат добавил несколько слов относительно чистоты и целеустремленности жизни товарища Огилви. Он никогда не пил и не курил. Он никогда не отдыхал, за исключением одного часа, который ежедневно проводил в спортзале. И он дал обет безбрачия, полагая, что женитьба и заботы о семье несовместимы с круглосуточным выполнением своего долга. Товарищ Огилви. наконец, никогда ни о чем не говорил, кроме принципов Ангсоца, а целью жизни считал разгром евразийской армии и выявление шпионов, саботажников, преступников мысли и прочих изменников.

Уинстон подумал, не наградить ли товарища Огилви орденом «За выдающиеся заслуги», но в конце концов отказался от этой мысли, чтобы избежать перепроверок и исправлений в других документах, необходимых в таком случае.

И снова Уинстон взглянул на своего соперника в кабинке напротив. Что-то определенно говорило ему, что Тиллотсон занимается тем же самым вопросом. Конечно, не угадаешь, чей вариант пойдет как окончательный, но Уинстону почему-то думалось, что именно его. Еще час назад никакого товарища Огилви не существовало. Теперь он стал фактом. Забавно: можно создавать мертвых и нельзя — живых. Товарищ Огилви никогда не существовал в настоящем, но теперь живет в прошлом. И когда однажды подделку забудут, он станет такой же достоверной и подлинной исторической фигурой, как Карл Великий или Юлий Цезарь.

# 5

В столовой с низким потолком, которая располагалась глубоко под землей, было очень людно и шумно, очередь за обедом медленно продвигалась вперед. Кислый металлический запах тушеного мяса шел от раздачи, но и он не мог перебить душок джина Победы. В дальнем углу, в маленьком баре, за десять центов наливали его целую порцию.

— Вот кого я ищу, — сказал кто-то за спиною Уинстона.

Уинстон обернулся. Это был его друг Сайм, работавший в Исследовательском Отделе. Впрочем, возможно, слово «друг» тут не годилось. Теперь нет друзей, только товарищи. Но есть товарищи, общение с которыми приятнее, чем с другими. Сайм — филолог, специалист по новоязу — входил в большую группу экспертов, работающих над одиннадцатым изданием словаря новояза. Маленький человечек, ростом пониже Уинстона, с темными волосами и большими выпуклыми глазами, грустными и одновременно насмешливыми, которые словно ощупывали ваше лицо, когда он с вами беседовал.

— Нет ли у тебя лезвий? — спросил он.

— Ни одного! — поспешно ответил Уинстон. — Я повсюду искал. Их больше не делают.

Все теперь просили лезвия. Вообще-то у него было два в запасе, но он берег их. Лезвий не было в продаже уже несколько месяцев. Из партийных магазинов всегда исчезало что-нибудь очень нужное: то пуговицы, то нитки, то шнурки. Теперь вот исчезли лезвия. Достать их можно было только на черном рынке, да и то тайком.

— Я бреюсь одним и тем же уже шестую неделю, — соврал Уинстон.

Очередь немного продвинулась и снова замерла. Уинстон вновь обернулся к Сайму. Оба они взяли грязные металлические подносы из груды у края прилавка.

— Ты ходил вчера в парк смотреть на казнь? — спросил Сайм.

— Я работал, — безучастно ответил Уинстон. — Посмотрю все это в кино.

— Это не одно и то же, — сказал Сайм.

Его насмешливые глаза блуждали по лицу Уинстона. «Знаю я тебя, — казалось, говорили они. — Вижу насквозь. Очень хорошо понимаю, почему ты не пошел смотреть казнь». Ум Сайма был язвительно ортодоксален. Он любил с каким-то отталкивающим злорадством рассказывать о налетах вертолетов на вражеские деревни, о процессах и признаниях преступников мысли, о казнях в подвалах Министерства Любви. Но если удавалось перевести разговор с его любимых тем на тонкости новояза, он становился и авторитетным, и интересным собеседником. Уинстон чуть-чуть отвел лицо в сторону, чтобы уклониться от испытующего взгляда больших темных глаз.

— Отличная казнь, — вспоминал Сайм. — Плохо, когда им связывают ноги. Мне нравится смотреть, когда они дергают ими. А больше всего мне нравится в самом конце, когда изо рта у них вываливается язык, синий, ярко-синий язык. Мне это особенно нравится.

— Следующий, пожалуйста! — прокричал прол в белом фартуке и с черпаком в руке.

Уинстон и Сайм протолкнули свои подносы в раздаточное окно. Каждому быстро выдали стандартный обед: серовато-розовое тушеное мясо в металлической миске, кусок хлеба, брусочек сыра, кружку кофе Победы без молока и таблетку сахарина.

— Пойдем на тот столик под монитором, — сказал Сайм. — По дороге возьмем джин.

Джин дали в фарфоровых чашках без ручек. Они пробрались сквозь толчею и разгрузили подносы на металлическом столике. Угол его был залит подливкой, грязная лужа напоминала блевотину. Уинстон взял чашку с джином, напрягся и опрокинул в себя маслянистую жидкость. Когда брызнувшие слезы просохли, он обнаружил, что проголодался, и принялся черпать жаркое ложкой. В обильной подливке попадались кусочки чего-то розового и тестообразного. Возможно, мясного суррогата. Оба молчали, пока не опорожнили свои миски. За столиком слева чуть сзади Уинстона кто-то все время говорил скороговоркой. Резкий голос напоминал кряканье утки и выделялся из общего гула.

— Как идет словарь? — спросил Уинстон, стараясь преодолеть шум.

— Потихоньку, — ответил Сайм. — Сижу на прилагательных. Потрясающе интересно.

При упоминании о новоязе Сайм просто просиял. Он отодвинул миску, взял в одну руку хлеб, в другую сыр и перегнулся через стол, чтобы не кричать.

— Одиннадцатое издание — последний вариант, — сказал он. — Мы придаем языку окончательную форму, ту, которую он примет, когда не будут говорить ни на каком другом языке. Когда мы закончим работу, всем вам придется выучить язык заново. Ты, наверно, думаешь, что мы главным образом выдумываем новые слова. Ничего подобного! Мы уничтожаем слова, десятки, сотни слов каждый день. Мы сокращаем язык до предела. В одиннадцатом издании не будет ни единого слова, которое устареет к 2050 году.

Сайм жадно откусил кусок хлеба и пару раз глотнул кофе. Затем вновь, горячо и подробно, принялся рассуждать. Его худощавое темное лицо оживилось, глаза утратили насмешливость и стали почти мечтательными.

— Знаешь, уничтожение слов — удивительная штука. Разумеется, мы много теряем на глаголах и прилагательных, но и от сотен существительных тоже можно избавиться. И это не только синонимы, но и антонимы. В конце концов, какое право на существование имеет слово, которое по смыслу просто-напросто противоположно другому? Ведь каждое понятие уже заключает в себе свою противоположность. Возьмем, например, слово «хорошо». Если оно есть, зачем нужно слово «плохо»? «Антихорошо» вполне сойдет, будет даже лучше. Потому что это слово имеет прямо противоположное значение, а слово «плохо» такого значения не имеет. Опять-таки, если тебе потребуется более сильная форма слова «хорошо», какой смысл иметь целую цепочку неопределенных, бесполезных слов вроде «отлично», «превосходно» и т. д.? «Плюсхорошо» все это выразит или, если нужно сказать еще сильнее, «плюсплюсхорошо». Конечно, мы уже используем эти формы, но в окончательном варианте новояза ничего другого просто не остается. В окончательном варианте

само понятие хорошего или плохого будет выражаться всего шестью словами, точнее — одним словом. Разве ты не чувствуешь, как все это красиво, Уинстон? Естественно, — добавил он, подумав, — эту идею подал сперва Б. Б.

При упоминании о Большом Брате лицо Уинстона выразило вялое одушевление. Сайм тем не менее сразу заметил недостаток энтузиазма.

— Ты не отдаешь должное новоязу, Уинстон, — сказал он печально. — Даже когда ты пишешь на нем, ты думаешь на староязе. Мне приходилось читать кое-что из того, что ты время от времени публикуешь в «Таймс». Неплохо, но ведь это все переводы. В душе ты предпочитаешь старояз, со всей его неопределенностью и бесполезными оттенками значений. Ты не видишь красоты уничтожения слов. А знаешь ли, что новояз — единственный в мире язык, чей словарь уменьшается с каждым годом?

Конечно, Уинстон знал это. Он улыбнулся (надеясь, что его улыбка выражает симпатию), но не решился что-либо сказать. Сайм откусил еще темного хлеба, быстро прожевал его и продолжал:

— Разве ты не видишь, что главная цель новояза — сузить диапазон человеческого мышления? Мы добьемся в конце концов, что преступное мышление станет невозможным — не будет слов для его выражения. Любую концепцию можно будет выразить всего лишь одним словом. Его смысл будет жестко определен, а все побочные значения стерты и забыты. В одиннадцатом издании мы уже близки к этому. Хотя, конечно, эту работу будут продолжать еще много лет спустя после моей и твоей смерти. С каждым годом будет все меньше и меньше слов и соответственно станет уменьшаться диапазон человеческого сознания. Конечно, и теперь нет ни причин, ни оправдания преступному мышлению. Это вопрос самодисциплины, контроля над действительностью. Но в конце концов и это не будет нужно. Революция завершится лишь тогда, когда станет совершенным язык. Новояз — это Ангсоц, а Ангсоц — это новояз, — добавил он удовлетворенно и загадочно. — Тебе не приходило в голову, Уинстон, что самое позднее к 2050 году не останется в живых ни одного человека, который смог бы понять разговор вроде нашего сегодняшнего?

— Кроме… — начал Уинстон с сомнением и остановился.

«Кроме пролов», — чуть не сорвалось с языка, но он вовремя одернул себя, поскольку не был уверен, что такое замечание вполне благонадежно. Сайм, однако, угадал, что он хотел сказать.

— Пролы не люди, — бросил он небрежно. — К 2050 году, а может быть, раньше никто не будет знать старояза. Вся литература прошлого будет уничтожена. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон будут только на новоязе. И это будут не просто другие книги, смысл их будет прямо противоположен оригиналам. Изменится даже литература Партии. Даже лозунги. Как, например, сохранить лозунг «Свобода — это рабство», если не останется самого понятия свободы? Сама атмосфера мышления будет другой. Не будет мысли, как мы ее понимаем сегодня. Быть благонадежным значит не думать, не иметь потребности думать. Благонадежность — отсутствие сознания.

В один из ближайших дней, вдруг подумал Уитстон, Сайма безусловно испарят. Он слишком интеллигентен, слишком много понимает и слишком откровенно говорит. Партия не любит таких. Однажды он исчезнет. Это написано у него на лбу.

Покончив с хлебом и сыром, Уинстон повернулся, чтобы взять кофе. За столиком слева от него мужчина с резким голосом все еще говорил, не обращая ни на кого внимания. Время от времени до Уинстона долетали и слова: «Вы абсолютно правы, я полагаю; я полностью с вами согласна». Произносил их юный женский голос, довольно глупый голос. Но мужчина продолжал бубнить даже тогда, когда девушка вставляла свои реплики. Уинстон знал этого человека — он занимал важный пост в Художественном Отделе. Это был мужчина лет тридцати, с мускулистой шеей и большим подвижным ртом. Голова его была откинута назад, а поскольку он сидел под углом к Уинстону и свет бил в стекла его очков, Уинстон не видел его глаз, а лишь два пустых диска. Немного пугало, что в потоке звуков, лившемся из его рта, нельзя было практически угадать ни слова. Только раз Уинстон различил фразу: «Полное и окончательное уничтожение гольдштейнизма». Она выскочила на большой скорости и, казалось, была отлита в металле, как строка в типографском наборе. Все остальное было шумом, кря-кря-кряканьем. И хотя трудно было разобрать, что именно говорил этот человек, не приходилось сомневаться в смысле его слов. Вероятно, он разоблачал Гольдштейна и требовал более жестких мер против преступников мысли и саботажников, возможно, возмущался зверствами евразийских солдат, возможно, превозносил Большого Брата или же героев сражения на Малабарском фронте, — впрочем, какая разница? Что бы он там ни говорил, было ясно, что каждое его слово — стопроцентная благонадежность, стопроцентный Ангсоц. Уинстона охватило странное чувство, пока он наблюдал за этим безглазым лицом, за быстро двигающимися вверх и вниз челюстями, — это не человек, а какой-то манекен. И слова эти рождались вовсе не в мозгу, а прямо в глотке. И все, что вылетало из нее, хоть и состояло из слов, не было речью в подлинном значении. Это были звуки, лишенные смысла, как утиное кряканье.

Сайм молчал и чертил ложкой какие-то узоры в луже на столе. Голос за соседним столиком продолжал крякать, и даже шум вокруг не заглушал его.

— На новоязе есть слово, — заметил Сайм, — не уверен, что ты знаешь его, — «раскрякаться». Интересное выражение, одно из немногих, что имеют два противоположных значения: если употребить его по отношению к противнику, оно несет оскорбительный смысл, а если по отношению к кому-нибудь, с кем ты согласен, — похвальный.

Нет, Сайма несомненно испарят, снова подумал Уинстон.

Подумал с грустью, хотя хорошо знал, что Сайм презирает его, не слишком благоволит и вполне способен разоблачить как преступника мысли, если только найдется какой-нибудь повод. Что-то с ним было не так. Чего-то ему явно не хватало — благоразумия, равнодушия, спасительной глупости. Нельзя сказать, что Сайм неблагонадежен. Он верит в принципы Ангсоца, обожает Большого Брата, ликует при известиях о победах, ненавидит отступников, искренне, с рвением, по-современному ненавидит, что встречается далеко не у каждого рядового члена Партии. И все же за ним тянется дурная слава. Он говорит о таких вещах, о которых лучше помолчать, он слишком много читает, слишком часто бывает в кафе «Под каштаном», где собираются художники и музыканты. Никто не запрещает посещать его, но над этим кафе словно висит проклятие. Там собираются снятые с постов руководители Партии перед тем, как их окончательно вычищают. Много-много лет

назад там, говорят, видели самого Гольдштейна. Нетрудно предсказать судьбу Сайма. И тем не менее не приходится сомневаться: если Сайм догадается, хотя бы на секунду, об истинных мыслях Уинстона, он немедленно выдаст его Полиции Мысли. Конечно, так поступит и любой другой, но Сайм в первую очередь. Потому что ортодоксальность — это больше чем рвение, это — рефлекс.

— Смотри, — поднял глаза Сайм, — сюда идет Парсонс.

Он сказал это таким тоном, словно хотел добавить: этот проклятый дурак. Действительно, к их столику пробирался сосед Уинстона по Дому Победы — Парсонс, смахивающий на бочонок, блондин среднего роста с каким-то лягушачьим лицом. К тридцати пяти годам он уже наел брюшко и складки на холке. Однако движения его были по-мальчишески проворными. Весь он походил на маленького мальчика, который стал вдруг взрослым. Даже стандартная форма члена Партии не меняла впечатления, — казалось, что он одет в синие шорты, серую рубашку и красный галстук детской организации Сыщиков. При виде его почему-то сразу вспоминались пухлые ребячьи коленки, рукава рубашки, закатанные на пухлых коротких детских руках. Впрочем, Парсонс действительно любил появляться в шортах, когда представлялся случай — во время турпохода или спортивных соревнований.

— Общий привет! — весело бросил Парсонс, усаживаясь за столик.

Резкий запах пота шибанул Уинстону в нос. Капельки пота выступали на розовом лице Парсонса. Его способность потеть была необыкновенной. Например, по мокрой ручке ракетки в Общественном Центре можно было догадаться, что сегодня здесь в настольный теннис играл не кто иной, как Парсонс.

Сайм вынул листок бумаги с длинной колонкой слов и принялся изучать их. В руке он вертел чернильный карандаш.

— Нет, ты только посмотри на него, — сказал Парсонс, толкнув локтем Уинстона. — Работает даже во время обеда. Во дает! Чего там у тебя, старина? Наверняка слишком умное для моих мозгов. Смит, дружище, я ищу тебя повсюду. Ты забыл уплатить взнос.

— Это какой еще взнос? — спросил Уинстон и машинально полез в карман за кошельком. Около четверти оклада уходило на различные добровольные пожертвования. Их было такое множество, что невозможно упомнить.

— На Неделю Ненависти. Я казначей нашего квартала. Мы стараемся изо всех сил. Устроим грандиозное зрелище, и я буду не я, если на нашем старом Доме Победы не будет больше флагов, чем на любом другом доме нашей улицы. С тебя два доллара.

Уинстон нашел две смятые грязные бумажки и протянул их Парсонсу. Тот взял их и маленькими аккуратными буковками малограмотного сделал запись в своей книжечке.

— Кстати, старина, — сказал он. — Я слышал, мой сорванец стрельнул в тебя вчера из рогатки. Я выдрал его за это как следует. Даже предупредил, что, если он сделает это еще раз, я отберу у него рогатку.

— Я думаю, — сказал Уинстон, — он очень расстроился, что не мог посмотреть казнь.

— Это точно. Он все понимает правильно. Правда? Оба они хулиганы, но все понимают правильно! В мыслях у них только Сыщики и война. Знаешь, что сделала

моя девчушка в прошлую субботу? Ее отряд ходил в поход по Беркхамстедскому шоссе. Она подговорила двух подружек, они отстали от группы и весь вечер следили за мужчиной, который показался им странным. Они два часа шли за ним через лес, а когда добрались до Амершема, сдали его патрулям.

— Зачем это? — изумленно спросил Уинстон.

— Малышка была убеждена, — ответил Парсонс с восторгом, — что это вражеский агент. Быть может, его сбросили на парашюте. Как ты думаешь, что ее натолкнуло на эту мысль? Она заметила на нем странные ботинки. Она никогда не видела таких ботинок раньше. Значит, он, возможно, иностранец. Какая сообразительность для семилетнего ребенка, а?

— Что же стало с тем человеком? — спросил Уинстон.

— Ну, этого я, конечно, не знаю. Но не удивлюсь, если его… — Парсонс изобразил, как он прицеливается из винтовки, и щелкнул языком.

— Отлично, — резюмировал Сайм, не поднимая головы от своего листочка.

— Конечно, мы не можем рисковать, — покорно согласился Уинстон.

— Чего тут скажешь — война, — кивнул Парсонс.

И, будто подтверждая все это, звук трубы вырвался из монитора и поплыл над их головами. Однако монитор объявил на этот раз не о военной победе, он передал сообщение Министерства Изобилия.

— Товарищи! — прокричал взволнованный юный голос. — Внимание, товарищи! Передаем сообщение о замечательной трудовой победе. Мы выиграли битву за очередной рост продукции. Подведены итоги работы, и они показывают, что выпуск всех потребительских товаров достиг такого уровня, что уровень жизни повысился не менее чем на двадцать процентов по сравнению с прошлым, годом. По всей Океании проходят массовые стихийные демонстрации рабочих и служащих. Демонстранты вышли на улицы из дверей фабрик и учреждений со знаменами, чтобы выразить благодарность Большому Брату за новую счастливую жизнь, которая дана нам благодаря его мудрому руководству. Передаем некоторые итоговые цифры. Продукты питания…

Слова «новая счастливая жизнь» повторились еще несколько раз. Последнее время они были самыми любимыми словами Министерства Изобилия. Парсонс слушал сообщения монитора торжественно, разинув рот, очень серьезно. Конечно, он не мог уследить за цифрами, но понимал: они должны приносить глубокое удовлетворение. Он даже вытащил большую грязную трубку, наполовину забитую обугленным табаком. Набить трубку полностью удавалось редко, так как табака выдавали только сто граммов в неделю. Уинстон курил сигарету «Победа», стараясь держать ее горизонтально, чтобы не просыпать табак. У него осталось только четыре штуки, а новую пачку можно будет получить только завтра.

Он попробовал отвлечься от постороннего шума и сосредоточиться на том, что говорил монитор. Выходило, что состоялись даже и такие демонстрации, участники которых благодарили Большого Брата за увеличение нормы выдачи шоколада до двадцати граммов в неделю. Но ведь только вчера объявили о снижении шоколадного рациона до двадцати граммов в неделю. Неужели люди способны проглотить такое? Ведь прошло всего двадцать четыре часа. Да, они заглотнули и это. Парсонс легко поверил в эту новость, как тупое животное. Безглазое существо за

соседним столиком верило в это фанатично, страстно, с яростным желанием выследить, разоблачить и испарить любого, кто вспомнит, что на прошлой неделе норма выдачи шоколада составляла тридцать граммов. Даже Сайм, пусть и более сложным путем, используя двоемыслие, но тоже клюнул на это. А раз так, то неужели он один сохранил память?

Баснословные цифры сыпались и сыпались из монитора. По сравнению с прошлым годом теперь стало больше продуктов, одежды, домов, мебели, посуды, горючего, кораблей, вертолетов, книг, детей — всего стало больше, кроме болезней, преступлений и умопомешательств. С каждым годом, с каждой минутой все и вся стремительно летело вверх. Как Сайм до него, Уинстон взял ложку и принялся размазывать лужу на столе. Длинный ручеек бледной подливки превращался в узор. Все, что окружало Уинстона, вызывало приступ злости. Неужели так было всегда? Неужели вкус пищи всегда был таким? Он оглядел столовую. Тесный, заполненный людьми зал с низким потолком и замызганными стенами от тысяч и тысяч спин и боков. Расшатанные металлические столы и стулья стояли так плотно, что люди задевали друг друга локтями. Погнутые ложки, продавленные подносы, грубые белые кружки, жирные с въевшейся в каждую трещину грязью. И постоянный кислый запах отвратительного джина, плохого кофе, подгоревшего жаркого и нестираной одежды. Всегда — желудком, кожей — вы чувствовали, что у вас отняли что-то такое, на что вы имеете полное право. Да, конечно, он не помнил, чтобы жизнь была хоть в чем-то существенно лучше. Всегда на его памяти не хватало еды, у всех были заношенные носки и белье, мебель всегда была старой и расшатанной, комнаты — нетопленными, поезда метро — переполненными, дома всегда разваливались, хлеб был только темным, чай был величайшей редкостью, а кофе — отвратительного вкуса, да и сигарет не хватало. Всего недоставало, и все стоило очень дорого, кроме искуственного джина. Конечно, понятно, почему, старея, ты переносишь все это труднее и труднее. Но разве это не признак ненормальности жизни, если тебя до самого нутра пробирает от этой неустроенности и грязи, этого вечного дефицита, бесконечных зим, липких носков, неработающих лифтов, холодной воды, грубого мыла, рассыпающихся сигарет и мерзкой пищи? Почему все это кажется непереносимым? Может, дело в наследственной памяти о временах, когда все было иначе?

Он еще раз окинул столовую. Почти каждый выглядел уродливо. И пожалуй, все будут так же уродливы, если снимут синюю форму Партии наденут что-нибудь другое. Вот в дальнем конце зала сидит за столом маленький смешной человечек, похожий на жука. Он пьет кофе, а глазки его подозрительно шарят по сторонам. Конечно, можно верить, что существует и даже преобладает идеальный тип, установленный Партией, — высокие сильные юноши и полногрудые девушки, белокурые, энергичные, загорелые, беззаботные… если при этом не оглядываться вокруг себя. На самом деле, насколько он мог судить, большинство людей в Первой Военно-Воздушной Зоне были темноволосые, маленькие, некрасивые. Странно, как быстро среди служащих министерств распространяется тип людей вроде этого человечка, похожего на жука, — коренастые, маленькие, рано полнеющие, они быстро семенят на своих коротеньких ножках, и ничего нельзя прочесть в их заплывших маленьких глазках. Именно эта порода пышнее всего расцвела под

властью Партии. Сводка Министерства Изобилия завершилась новым сигналом трубы, после чего из монитора полилась отрывистая музыка. Парсонс, вдохновленный водопадом цифр, вынул трубку изо рта.

— Кажется, Министерство Изобилия неплохо потрудилось в этом году. — Он многозначительно покачал головой. — Кстати, Смит, старина, нет ли у тебя лезвия взаймы?

— Ни единого, — ответил Уинстон, — Бреюсь одним и тем же уже шестую неделю.

— Жаль. А я хотел занять у тебя, старина.

— Увы, — сказал Уинстон.

Крякающий голос за соседним столиком, притихший было во время передачи сообщения Министерства Изобилия, снова забубнил громко, как и раньше. Непонятно почему Уинстон подумал о миссис Парсонс, ее всклокоченных волосах и лице в пыльных морщинах. Не пройдет и двух лет, как детки донесут на нее в Полицию Мысли. И миссис Парсонс испарят. Сайма испарят. Уинстона испарят тоже. А вот Парсонса не испарят никогда. Безглазое существо с крякающим голосом не испарят никогда. И маленьких, похожих на жуков людишек, проворно снующих в лабиринтах министерских коридоров, не испарят никогда. И девушку с темными волосами из Художественного Отдела — и ее не испарят никогда. Уинстону показалось, что он инстинктивно знает, кто погибнет, а кто останется в живых, но что необходимо для того, чтобы не погибнуть, он не знал.

Из состояния задумчивости его вывел сильный толчок. Девушка за соседним столиком повернулась вполоборота. Это была та самая, темноволосая. Она смотрела на него странно и пристально. Когда взгляды их встретились, девушка отвернулась.

Уинстон почувствовал, как вспотела его спина. Острый, внезапный страх пронзил тело. Он почти сразу же прошел, но раздражение и тревога остались. Почему она наблюдает за ним? Почему она все время ходит следом? К несчастью, он не мог припомнить, сидела она за столиком, когда они пришли с Саймом, или же появились позднее. Вчера на Двухминутке Ненависти она села за его спиной, хотя в этом не было никакой необходимости. Не исключено, что она хотела послушать и убедиться, что он кричит достаточно громко.

Ему снова подумалось: вряд ли она работает в Полиции Мысли, скорее всего, она шпионка-любительница, и это самое опасное. Уинстон не знал, как долго она смотрела на него. Наверно, минут пять, но он не уверен, что все это время надежно контролировал выражение лица. Очень опасно забыть, что лицо может выдать мысли, когда ты среди людей или в зоне видимости монитора. Может выдать даже мелочь — нервный тик, беспокойный взгляд, привычка бормотать про себя — что угодно, если можно сделать вывод: он не такой, как все, ему есть что скрывать. Во всяком случае, непривычное выражение лица каралось как преступление — нельзя, положим, глядеть недоверчиво, когда по монитору сообщают о победе. На новоязе было даже специальное слово — преступлик.

Девушка снова сидела к нему спиной. Может быть, она все-таки не следит за ним? Может, это просто совпадение, что два дня подряд она садится с ним рядом? Сигарета Уинстона погасла, он осторожно положил ее на край стола — докурит ее после работы, если удастся не просыпать табак. А может, очень может быть, что за

соседним столиком сидит секретный сотрудник Полиции Мысли. Очень может быть, что через три дня он окажется в подвалах Министерства Любви. Но не пропадать же окурку, Сайм сложил свой листок и засунул в карман. Парсонс снова заговорил.

— Я рассказывал тебе, старина, — сказал он, помахивая трубкой, — как мои сорванцы подожгли юбку рыночной торговки за то, что она заворачивала сосиски в плакат с портретом Б. Б.? Подкрались к ней сзади и подожгли спичечный коробок. Думаю, она получила хороший ожог. Каковы чертенята! Энтузиасты! Теперь их отлично натаскивают в отрядах Сыщиков, даже лучше, чем в наше время. Знаешь, что им выдали недавно? Слуховые трубки, чтобы подслушивать сквозь замочную скважину! Моя дочурка притащила домой свою трубку и вечером опробовала в нашей комнате. Она говорит, что слышно в два раза лучше, чем просто ухом. Конечно, это просто игрушка. Но все же прекрасно развивает их.

В этот момент оглушительно засвистел монитор — время возвращаться на рабочие места. Все трое вскочили на ноги, чтобы побыстрее пробиться к лифту, и конечно же, из окурка Уинстона просыпались остатки табака.

## 6

Уинстон писал в дневнике:

*Это случилось три года назад. Темный вечер, узкий переулок недалеко от большого вокзала. Она стояла под тусклым фонарем у входа в парадную. Ее юное лицо было сильно напудрено. Я обратил внимание именно на это напудренное лицо, на яркие красные губы словно на белой маске. Партийные женщины никогда не пользуются косметикой. Вокруг не было никого, не было и мониторов. Два доллара, сказала она. Я…*

Вдруг стало трудно продолжать. Уинстон закрыл глаза и нажал на веки пальцами, словно стараясь выдавить навязчивое видение. Хотелось выругаться громко, грязными словами. Или биться головой о стену, отшвырнуть стол, выбросить чернильницу в окно — словом, сделать что-нибудь неистовое, шумное, причиняющее боль, чтобы отключить мучающую память…

Худший враг, подумал он, наши собственные нервы. Внутреннее напряжение всегда готово прорваться наружу. Он вспомнил прохожего, которого встретил на улице несколько недель назад. Ничего особенного, мужчина как мужчина, член Партии, лет тридцати пяти-сорока, долговязый и худой, с портфелем в руке. Их разделяло всего несколько метров, когда левую скулу мужчины вдруг свела судорога. А когда они поравнялись, судорога повторилась. Всего лишь судорога, обыкновенный тик, быстрый, как щелчок фотоаппрата, но, видимо, привычный. С этим беднягой все кончено, подумал тогда Уинстон. И самое страшное, что его лицо

дергалось рефлекторно, бессознательно. Впрочем, опаснее всего говорить во сне. Как этого избежать, Уинстон не знал.

Он глотнул воздуха и продолжил дневник:

*Я вошел за ней в подъезд, мы пересекли двор и спустились в подвальную кухню. У стены стояла кровать, на столе едва мерцала керосиновая лампа. Она…*

Он стиснул зубы. Хотелось плюнуть. Он думал сразу о той женщине и о Кэтрин, своей жене. Уинстон был женат. Во всяком случае, когда-то был. А может, был и сейчас, потому что, насколько ему известно, жена пока не умерла. Он будто снова вдохнул теплые душные запахи подвальной кухни. Пахло клонами, нестираной одеждой, отвратительными дешевыми духами — хотя духи и завлекали, потому что партийные женщины никогда не душились. Только пролы пользовались духами, и в его мозгу запах духов и блуд были неразрывны.

Эта женщина из подвальной кухни была его первой женщиной за два года или даже больше. Естественно, иметь дело с проститутками не разрешалось, но это было одно из тех правил, которые время от времени решались нарушать. Это было опасно, но не смертельно. Если вас ловили на месте преступления, то вы, коль скоро за вами не числилось других проступков, получали лет пять лагерей. А так все было очень доступно. Главное, чтобы не застали на месте преступления. Кварталы бедняков кишели женщинами, готовыми продать себя. Можно было купить женщину за бутылку джина, поскольку пролам не полагалось его пить. Партия негласно поощряла проституцию, дабы дать выход инстинктам, которые не удавалось до конца подавить. Разврат сам по себе мало кого волновал, пока он был тайным и безрадостным и касался лишь женщин угнетенного и презираемого класса. Непростительным преступлением считались неразборчивые связи между членами Партии. И хотя во время больших чисток чаще всего признавались именно в таких преступлениях, с трудом верилось, что подобное действительно происходило.

Партия не просто стремилась не допустить, чтобы между женщинами и мужчинами устанавливались доверительные отношения, которые трудно контролировать. Тайной, но подлинной целью Партии было уничтожить всякое наслаждение от близости мужчины и женщины. И в браке, и вне его врагом номер один была даже не любовь, а страсть. Брак между членами Партии заключался лишь с одобрения специально назначенного комитета. Об этом правиле никогда вслух не говорилось, но брак не разрешался, если казалось, что жених и невеста испытывают физическое влечение. Считалось, что единственная цель брака — производство детей для Партии. На половые отношения смотрели как на что-то не очень чистое, вроде клизмы. Об этом тоже никогда прямо не говорили, но такое чувство воспитывалось в каждом члене Партии с детства. Были даже организации наподобие Молодежной Антисексуальной Лиги, которые проповедовали полное воздержание для обоих полов. Согласно их теориям, детей следовало получать путем искусственного оплодотворения (искплод на новоязе) и воспитывать в государственных интернатах. Уинстон знал, что все это предлагалось не слишком

всерьез, но такие теории хорошо вписывались в идеологию Партии. Партия старалась уничтожить половой инстинкт, а если уничтожить его не удастся, то хотя бы извратить и опоганить. И все это казалось естественным, хотя Уинстон и не понимал почему. Но если говорить о женщинах, то Партия много чего добилась.

Он снова подумал о Кэтрин. Они расстались девять или десять, нет, почти одиннадцать лет назад. Странно, что он так редко вспоминал ее. Он мог подолгу вообще не помнить, что был когда-то женат. Они прожили вместе чуть больше года. Партия не разрешала разводиться, но если не было детей, супругам никто не мешал расстаться.

Кэтрин была высокой, очень стройной блондинкой с приятными плавными движениями. Смелое орлиное лицо можно было назвать благородным, но лишь до тех пор, пока не обнаружишь, что за внешним благородством нет практически ничего. Уже в самом начале их совместной жизни Уинстон понял, что трудно найти более тупого, пошлого и пустого человека. В голове у нее не было ничего, кроме лозунгов. И не существовало такой глупости, решительно никакой, которую она не заглотила бы с подачи Партии. Он придумал ей прозвище — Грампластинка. Но может быть, он просто знал ее лучше других. И не расстался бы с ней, если бы не постель.

Стоило лишь дотронуться до нее, как она вздрагивала и застывала. Обниматься с ней было все равно что с манекеном на шарнирах. У него было ощущение, что, даже когда она сжимает его в объятиях, она в то же время отталкивает его изо всех сил. Наверно, ее одеревеневшее тело создавало такое впечатление. Она лежала с закрытыми глазами, не оказывая сопротивления, но и не участвуя — подчиняясь. Сначала это приводило его в крайнее замешательство, но в конце концов стало невыносимым. И все же он готов был жить с ней дальше, если… Как ни странно, именно Кэтрин не хотела воздерживаться от половых контактов. Надо сделать ребенка, если это только получится, твердила она. Поэтому спектакль возобновлялся регулярно раз в неделю, если только что-нибудь не мешало. Она даже напоминала ему об этом поутру, как о чем-то, что надо не забыть сделать. У нее было два выражения для обозначения этой процедуры: «делать ребенка» и «выполнить наш долг перед Партией». Да-да, она употребляла именно это выражение. Очень скоро он стал испытывать ужас при приближении назначенного дня. К счастью, ребенок так и не появился, она наконец согласилась прекратить дальнейшие попытки, а вскоре они расстались. Уинстон неслышно вздохнул. Вновь взял перо и написал:

*Женщина сразу улеглась на кровать и, не теряя ни секунды, без единого слова, так грубо, так похабно, как только можно вообразить, задрала юбку. Я…*

Он увидел себя там, в тусклом свете керосиновой лампы, вдыхающего запах клопов и дешевых духов, и вспомнил, как в душе его нарастало чувство полного бессилия и обиды. Но даже тогда эти чувства перемешивались с мыслями о Кэтрин, о ее белом теле, навеки застывшем под мощным гипнозом Партии. Почему все должно

быть так? Почему у него не может быть своей женщины и его судьба — эта грязная возня раз в несколько лет? Настоящая любовь — ее трудно было даже представить. Все партийные женщины на один манер. Целомудрие присуще им в той же мере, что и преданность Партии. Природные чувства вытравили из них с ранних лет тщательно продуманной воспитательной системой, играми и обливаниями холодной водой, глупостями, которыми их пичкают в школе, в организациях Сыщиков и Молодежной Антисексуальной Лиге, лекциями, парадами, песнями, лозунгами и военной музыкой. Разум говорил ему, что должны быть исключения, но сердце уже не верило. Все они непоколебимы, чего и добивается Партия. А ему хотелось хотя бы раз в жизни даже не быть любимым — разрушить эту стену добродетели. Полноценный половой акт — бунт. Желание — преступное мышление. Даже если бы ему удалось разбудить женщину в Кэтрин, это было бы что-то вроде совращения, хотя она и считалась его женой.

Но надо было дописать до конца, и он написал:

*Я прибавил огня в лампе. Когда я увидел ее при ярком свете…*

*После темноты мерцающий огонек керосиновой лампы казался очень ярким. Наконец-то он как следует рассмотрел женщину. Он шагнул к ней и остановился. Его переполняли желание и ужас. Он очень болезненно осознал, чем рискует, придя сюда. Вполне возможно, что патрули арестуют его, когда он будет уходить. Может быть, они ждут за дверью. Арестуют, даже если он не сделает того, для чего пришел!…*

Надо дописать до конца. Надо признаться во всем. При свете лампы он вдруг увидел, что женщина очень стара. Пудра лежала на ее лице таким толстым слоем, что казалось, вот сейчас треснет, как картонная маска. Седина проступала в волосах. Но самым страшным был рот: когда она его приоткрыла, там не оказалось ничего, кроме гнилой черноты. У этой женщины не было зубов.

Он писал торопливо, каракулями:

*Когда я увидел ее при свете, она оказалась старухой. Лет пятьдесят по меньшей мере. Но это не остановило меня, и я сделал все, что намеревался.*

Он снова надавил пальцами веки. Он дописал все до конца, но это не имело значения. Ему не стало легче. Ему так же сильно, как и раньше, хотелось громко выкрикивать грязные ругательства.

## 7

*Если есть надежда,* писал Уинстон, *то она в пролах.*

Если есть надежда, то она должна быть в пролах. Лишь в этих людях, составляющих восемьдесят пять процентов населения Океании, в этих массах, с которыми не хотят считаться, может когда-нибудь родиться сила, способная уничтожить Партию. Партию нельзя уничтожить изнутри. Враги Партии — если у нее есть враги — никак не могут объединиться, не могут даже узнать друг о друге. Даже если легендарное Братство существует, то члены его никогда не смогут собраться больше чем по двое или трое. Ведь взгляд глаза в глаза, изменившаяся модуляция голоса, тем более случайный шепот — для них уже восстание. Только пролам не надо таиться, стоит им осознать свою силу. Пролам нужно лишь подняться и стряхнуть с себя паразитов, как лошадь стряхивает мух. И если они захотят, они могут разбить Партию вдребезги уже завтра утром. Рано или поздно им должно же прийти это в голову? И все же…

Он вспомнил, как шел по людной улице. Где-то впереди, в переулке, услышал гул сотен голосов, женских голосов. Это был грозный крик отчаяния и гнева — низкое, громкое «О-о-о-о-о-!» гудело и нарастало, как удары колокола. У него подпрыгнуло сердце. Началось, подумал он. Бунт! Пролы восстали наконец! Он поспешил вперед и увидел толпу из двухсот — трехсот женщин у прилавков уличного рынка. Они напоминали обреченных пассажиров тонущего корабля — так трагичны были их лица. Как раз в этот момент общее отчаяние разбилось на сотни перепалок. Оказалось, на одном из прилавков продавали жестяные кастрюли. Непрочные, никуда не годные, но ведь посуды нигде не достать. И вдруг они кончились. Те, кому повезло, протискивались сквозь толпу со своими кастрюлями. Их толкали и шпыняли. Остальные шумно галдели у прилавка, кричали, что товар припрятали… Новый взрыв криков. Две обрюзгшие бабы, у одной из которых растрепались волосы, вцепились в кастрюлю и тянули ее в разные стороны, не жалея сил, пока не отлетела ручка. Уинстон с отвращением наблюдал за ними. И все же пусть ненадолго, но какой угрожающий рев исторгали эти три сотни глоток! Почему они никогда не кричат так, когда действительно стоит кричать?

Он писал:

*Пока они не начнут мыслить, они не восстанут, но пока они не восстанут — они не начнут мыслить.*

Эта фраза, отметил он про себя, могла бы занять место в одном из партийных учебников. Конечно же, Партия утверждает, что освободила пролов от рабства. До Революции их страшно угнетали капиталисты. Их били и морили голодом, женщин заставляли работать на угольных шахтах (кстати, женщины и теперь работают на шахтах), шестилетних детей продавали на фабрики. В то же время в полном соответствии с принципами двоемыслия Партия учит, что пролы от природы неполноценны и их следует, с помощью нескольких простых правил, держать в подчинении, как животных. В общем-то о пролах мало что знали. Но большего и не

требовалось. Лишь бы работали и размножались, все остальное не имело значения… Их предоставили самим себе, словно скот на равнинах Аргентины, и они стали жить так, как казалось им естественным, примерно так, как жили их предки. Они рождались и вырастали на задворках, начинали работать лет в двенадцать, у них был короткий период расцвета и полового влечения — женились в двадцать, в тридцать начинали стареть, а умирали по большей части в шестьдесят лет. Тяжелая физическая работа, заботы о доме и детях, мелкие стычки с соседями, фильмы и футбол, пиво и, конечно же, азартные игры — вот круг их интересов. Среди них всегда крутились агенты Полиции Мысли, которые распространяли ложные слухи, выискивали и убирали тех немногих, кого считали потенциально опасными. Пролам никогда не пытались навязать идеологию Партии — считалось нежелательным развивать их политическое мышление. От пролов требовался лишь примитивный патриотизм. К нему и призывали, когда следовало увеличить продолжительность рабочего дня или снизить нормы выдачи продуктов. И даже когда пролы проявляли недовольство, а они время от времени его проявляли, это ни к чему не приводило, потому что у пролов не было общих идей и само возмущение их вспыхивало по мелким поводам. Большого зла они, как правило, не видели. В домах у большинства пролов не было даже мониторов, и гражданская полиция редко вмешивалась в их дела. Конечно, в Лондоне было много уголовных преступлений. Существовал целый подпольный мир воров, бандитов, проституток, торговцев наркотиками и разных жуликов. Но все это происходило среди пролов и поэтому не имело существенного значения. В вопросах морали им позволялось поступать так, как поступали когда-то их отцы и деды. На пролов не распространялись пуританские сексуальные доктрины Партии. Были разрешены разводы, беспорядочные половые связи никого не волновали. Наверно, разрешили бы и религию, если бы пролы проявили к ней хоть малейший интерес. Вообще они были ниже подозрений. Партийный лозунг формулировал это так: «Пролы и звери — свободны».

Уинстон дотянулся и осторожно почесал свою варикозную язву. Она опять зудела. Все время он упирался в одно и то же: как же узнать, какой на самом деле была жизнь до Революции? Уинстон достал из ящика школьный учебник истории (он попросил его у миссис Парсонс) и принялся переписывать в свой дневник один из абзацев:

*В старые времена, до нашей славной Революции, Лондон мало походил на тот прекрасный город, какой мы видим сегодня. Это был темный, грязный, жалкий город, где почти никто не ел досыта, где сотни, тысячи бедняков ходили босиком и у них не было крыши над головой. Дети, не старше вас, должны были работать по двенадцать часов в день на жестоких хозяев, которые били их ремнем, если они работали слишком медленно, и кормили черствым хлебом и водой. Но среди этой страшной нищеты возвышалось несколько огромных прекрасных домов, в которых жили богатые люди. Этих богачей обслуживали иногда по тридцать слуг. Звали этих богачей «капиталисты». Это были жирные уроды со злыми лицами, как вы можете увидеть на картинке на следующей странице. Вы видите, что капиталист одет в длиннополый черный пиджак, который назывался «фрак», и в смешную блестящую*

*шапку, по форме похожую на печную трубу, — она называлась «цилиндр». Такой была форма капиталистов, и никому больше не разрешалось носить ее. Капиталистам принадлежало все на земле, и все, кроме них, были рабами. Им принадлежала вся земля, все дома, заводы и все деньги. Если кто-нибудь не подчинялся капиталистам, они могли бросить его в тюрьму или лишить работы и уморить голодной смертью. Если простой человек заговаривал с капиталистом, он должен был кланяться, снимать шапку и говорить: «Сэр». Самый главный капиталист назывался королем. И...*

Все остальное он знал. Будут упомянуты епископы с батистовыми рукавами, судьи в горностаевых мантиях, позорный столб, акции, однообразный отупляющий труд, плети, прием у лорда-мэра Лондона, а также ритуал, требующий целовать туфлю папы римского. Еще было право первой ночи, но, возможно, об этом не будут писать в учебник для детей. По этому закону каждый капиталист имел право спать с любой женщиной, работающей на его заводе.

Как же узнать, где тут ложь, а где правда? Может, и правда, что средний человек живет теперь лучше, чем до Революции? Единственным аргументом против был немой протест собственных костей, инстинктивное чувство, что условия твоей жизни невыносимы, что когда-нибудь, наверное, все было иначе. Он подумал, что самая характерная черта теперешней жизни — не ее жестокость и отсутствие уверенности в завтрашнем дне, а ее пустота, тусклость и апатия. В окружающей жизни не только нет ничего общего с потоками лжи, льющимися с экранов мониторов, но и с теми идеалами, к которым стремилась Партия. Даже у члена Партии, в сущности, жизнь проходит вне политики: надо корпеть на скучной работе, бороться за место в подземке, штопать рваные носки, выпрашивать таблетку сахарина, беречь окурок сигареты. Идеал, выдвинутый Партией, — нечто колоссальное, грозное и сияющее — мир стали и бетона, мир чудовищных машин и ужасающего оружия, страна солдат и фанатиков, марширующих в идеальном порядке, мыслящих одинаково и выкрикивающих одни и те же лозунги, постоянно работающих, сражающихся, празднующих победы и преследующих отступников, — триста миллионов людей, и все на одно лицо. А реальность — умирающие грязные города, в которых полуголодные люди в дырявых ботинках ходят по улицам, живут в ветхих домах, построенных в девятнадцатом веке, в домах, пропахших капустой и протекающими уборными. Он представил себе Лондон — огромный разрушенный город, целое море мусорных ящиков, и почему-то вспомнилась миссис Парсонс — морщинистая, всклокоченная, беспомощно стоящая у замусоренной трубы.

Уинстон снова нагнулся и почесал лодыжку. Днем и ночью монитор забивает уши цифрами, доказывая, что сегодня люди лучше питаются, лучше одеваются, лучше отдыхают, живут в лучших домах и значительно дольше, работают меньше, что они стали выше ростом, здоровее, сильнее, счастливей, умнее, образованней, чем пятьдесят лет назад. Ничего тут нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Партия утверждает, к примеру, что сегодня сорок процентов взрослых пролов умеет читать и писать, тогда как до Революции грамотных среди них было всего лишь пятнадцать процентов. Партия утверждает, что детская смертность составляет теперь лишь сто

шестьдесят на тысячу, а до Революции — триста, и так далее. Это напоминало уравнение с двумя неизвестными. Очень возможно, что буквально каждое слово в учебниках истории было чистым вымыслом, даже те вещи, которые никто не ставит под сомнение. Кто его знает, может, и не было такого закона, как право первой ночи, вполне могло не быть и такого существа, как капиталист, или такого головного убора, как цилиндр.

Все расплывалось в тумане. Прошлое было подчищено, о подчистках забыли, и ложь стала правдой. Только раз в жизни он держал в руках конкретное, безошибочное доказательство фальсификации прошлого, и держал в руках после того, как фальсификация совершилась, а это и есть самое важное. Это конкретное вещественное доказательство было у него в руках не менее тридцати секунд. Пожалуй, это было в 1973 году, во всяком случае, примерно тогда, когда они расстались с Кэтрин. Впрочем, значение имела другая дата, на семь-восемь лет раньше.

Вся эта история началась тогда, в середине шестидесятых годов, во время больших чисток, в которых погибли раз и навсегда все подлинные вожди Революции. К 1970 году никого из них, кроме Большого Брата, уже не осталось. Все прочие к этому времени были разоблачены как предатели и контрреволюционеры. Гольдштейн уже бежал и неизвестно где скрывался, что же касается остальных, то некоторые просто исчезли, а большинство было казнено после эффектных публичных процессов, на которых они признались в своих преступлениях. Дольше других оставались в живых Джонс, Аронсон и Рузерфорд. Арестовали их где-то в 1965 году. Как это часто бывало, они исчезли на год или полтора, и никто не знал, живы они или нет. Затем они появились из небытия, чтобы, как и все остальные, облить себя грязью. Они признались, что шпионили в пользу противника (противником в то время, как и теперь, была Евразия), признались, что виновны в растратах государственных средств, убийстве ряда видных членов Партии, что плели заговоры против Большого Брата, причем еще задолго до Революции, признались в актах саботажа, принесших смерть сотням тысяч людей. После того как они во всем сознались, их простили, восстановили в Партии и назначили на вроде бы очень важные посты, которые, впрочем, были лишь синекурой. Все трое выступили с пространными униженными статьями в «Таймс», в которых они анализировали причины, приведшие их к предательству, обещали исправиться.

Вскоре после их освобождения Уинстон случайно увидел всех троих в кафе «Под каштаном». Он наблюдал за ними украдкой, с ужасом и восторгом. Все они были гораздо старше его, обломки древнего мира, едва ли не последние выдающиеся представители героического прошлого Партии. Романтический ореол подпольной борьбы и гражданской войны еще не совсем покинул их. Ему казалось, хотя уже в то время факты и даты расплывались в тумане, что он знал их имена за много лет до того, как узнал имя Большого Брата. И в то же время они были врагами, неприкасаемыми, были вне закона, были обречены на уничтожение через год или два, и сомневаться в этом никак не приходилось. Еще ни одному человеку, попавшему в руки Полиции Мысли, не удавалось избежать такого конца. Они были трупами, которые лишь ждали своей очереди отправиться в могилу.

Никто не садился за столики около них. Неразумно показываться в такой компании. Они сидели молча, перед ними на столике стояли стаканы джина с гвоздикой — фирменным напитком кафе. Наибольшее впечатление на Уинстона произвел Рузерфорд. Когда-то он был знаменитым карикатуристом. Его безжалостные рисунки помогали Партии возбуждать общественное мнение до Революции и сразу после нее. Даже теперь карикатуры его иногда появлялись в «Таймс». Но это была лишь слабая имитация его прежней манеры, новые рисунки были неубедительны и скучны. Они все время перепевали старые темы: трущобные дома, голодные дети, уличные драки, капиталисты в цилиндрах (даже на баррикадах они упорно держались за свои цилиндры). Короче, бесконечные, безнадежные попытки вернуться в прошлое. Рузерфорд был очень некрасив — копна немытых седых волос, мешковатое, изборожденное морщинами лицо, толстые, негроидные губы. Наверное, когда-то он обладал недюжинной физической силой, а теперь все его тело обвисло, согнулось, разрушалось со всех сторон. Он крошился и осыпался, как гора, у вас на глазах.

Было пятнадцать часов. Тихое, безлюдное время. Уинстон уже не мог припомнить, как он оказался в кафе в этот час. Посетителей практически не было. Из мониторов доносилась отрывистая музыка. Эти трое сидели в своем углу неподвижно, молча. Они ничего не заказывали, официант сам приносил новые порции джина. Рядом стоял столик с шахматной доской, на которой были расставлены фигурки. Но игра так и не началась. А потом что-то случилось с мониторами. И продолжалось это полминуты, не более. Мелодия, строй музыки изменились. В мотив вплелась… нет, это трудно описать. Это была ни на что не похожая, надтреснутая, неприятная, глумливая нота — Уинстон назвал ее трусливой нотой. Голос в мониторе запел:

Под старым каштаном, при свете дня,
Я предал тебя, а ты — меня,
Там лгали они, а здесь — ты и я,
Под старым каштаном, при свете дня.

Эти трое даже не шевельнулись. Но когда Уинстон снова взглянул на Рузерфорда, он увидел, что глаза его полны слез. И только теперь с внутренним содроганием он заметил — хотя и не понял, что заставляет его содрогнуться, — только теперь он заметил, что носы у Аронсона и Рузерфорда перебиты.

Вскоре все они были вновь арестованы. Оказалось, что со дня освобождения они опять участвовали в заговорах. Во время второго процесса они еще раз признались во всех своих старых преступлениях, а также во множестве новых. Их казнили, и судьба их была отражена в истории Партии в назидание потомству. А лет через пять, в 1973 году, Уинстон, разворачивая пачку документов, только что выброшенных пневматической почтой ему на стол, наткнулся на обрывок газеты, который, очевидно, забыли вытащить из пачки. Развернув обрывок, Уинстон сразу же сообразил, какое важное вещественное доказательство попало ему в руки. Он держал в руках полстраницы «Таймс» десятилетней давности. Это была верхняя половинка страницы, с датой, и на ней была фотография делегатов какой-то

партийной конференции в Нью-Йорке. В самой середине группы делегатов стояли Джонс, Аронсон и Рузерфорд. Их сразу можно было узнать, да и имена их стояли под фотографией.

А ведь на обоих процессах все трое признались, что именно в этот день они находились в Евразии. Они вылетели с аэродрома в Канаде в Сибирь на встречу с представителями Генерального Штаба Евразии. Они выдали на этой встрече важнейшие военные сведения. Уинстон хорошо запомнил дату, это был день летнего солнцестояния. Впрочем, процесс широко освещался прессой, и это нетрудно сверить. Странное совпадение дат объяснить можно было только одним: признания на процессах были ложью.

Конечно, это не открытие. Уже тогда Уинстон не думал, что люди, погибавшие в чистках, действительно совершали те преступления, в которых их обвиняли. Но здесь имелось конкретное вещественное доказательство — осколок отмененного прошлого, окаменелая кость, найденная не в том пласте и опрокидывающая всю геологическую теорию. Этого доказательства было достаточно, чтобы разнести Партию на куски, если бы, конечно, удалось сообщить миру об этом открытии и разъяснить его значение.

Не мешкая, он продолжил работу. Увидев фотографию и поняв ее значение, он прикрыл ее листком бумаги. К счастью, когда он раскрыл газету, фотография оказалась перевернутой вверх ногами по отношению к монитору.

Он положил блокнот на колено и отодвинулся вместе со стулом как можно дальше от экрана. Нетрудно было сохранить невозмутимое выражение лица; если очень постараться, то можно контролировать и свое дыхание, нельзя регулировать лишь стук сердца, а ведь мониторы очень чувствительны, могли засечь и это. Он выждал минут десять. Все это время Уинстона терзал страх, что какая-нибудь случайность выдаст его. Ну хотя бы сквозняк сдует листок с газеты. Наконец, не открывая больше фотографию, он выбросил ее вместе с ненужными бумагами в дыру памяти. И через минуту, наверное, она сгорела дотла.

Все это случилось лет десять-одиннадцать назад. Сегодня он, возможно, оставил бы фотографию у себя. Но даже сейчас, когда и сама фотография, и то событие, которое она запечатлела, остались только в его памяти, ему казалось, что уже факт ее прошлого существования что-то менял. Хотя, подумал он, разве на самом деле контроль Партии над прошлым слабеет оттого, что вещественное доказательство, которого больше нет, когда-то существовало?

Нет, сегодня эта фотография уже ничего не доказывала, даже если бы ее удалось как-то восстановить. В то время, когда он сделал свое открытие, Океания уже не воевала с Евразией и три мертвеца должны были бы предавать свою родину агентам Востазии. Кроме того, с тех пор против них выдвинули совсем другие обвинения. Два, три новых доказательства вины — он не помнил, сколько точно. Наверняка их признания уже много раз переписывали, и теперь первоначальные факты уже не имели никакого значения. Прошлое не только менялось, оно менялось постоянно. И самым кошмарным было то, что он никак не мог понять: зачем совершался весь этот грандиозный обман? Сиюминутные преимущества фальсификации были вполне очевидны, но конечная цель — загадочна. Он снова взял перо и написал:

*Я понимаю, как это делается, я не понимаю — ЗАЧЕМ.*

А может быть, думал он уже не в первый раз, я сумасшедший? Может быть, сумасшествие — быть одному против всех? Когда-то безумством была вера в то, что Земля вращается вокруг Солнца, сегодня — вера в то, что прошлое нельзя изменить. Возможно, он один верит в это, а раз он один, то это безумие. Но его не очень волновала мысль о том, что он сумасшедший, Уинстон боялся другого — вдруг он все-таки ошибается?

Он взял учебник истории и взглянул на фронтиспис — на портрет Большого Брата. Гипнотизирующие глаза глядели на него. Казалось, какая-то страшная сила давит на вас, она проникает в черепную коробку, сминает мозг, запугивает настолько, что вы отказываетесь от всех убеждений, заставляет не доверять собственным чувствам. Дойдет до того, что Партия объявит: дважды два — пять, и вам придется поверить. Рано или поздно они обязательно дойдут и до этого, это логически вытекает из их политики. Ведь партийная философия отрицает не только опыт, но и саму реальность внешнего мира. Здравый смысл — вот самая страшная ересь. И поэтому самое ужасное не то, что вас убьют за инакомыслие, а то, что вдруг они все-таки правы! Потому что, в конце концов, откуда мы знаем, что дважды два — четыре? Откуда мы знаем, что есть сила тяжести? Откуда мы знаем, что прошлое нельзя изменить? А если и прошлое, и внешний мир существуют лишь в нашем воображении, и если наш разум можно контролировать — то что тогда?

Но нет! Неожиданно он почувствовал прилив мужества. Без каких-либо ассоциаций перед глазами всплыло лицо О'Брайена. Теперь он был абсолютно уверен, что О'Брайен на его стороне. Он пишет дневник для О'Брайена, адресует дневник О'Брайену. Это бесконечное письмо, которое никто никогда не прочтет, но оно адресовано конкретному человеку и этим окрашено.

Партия приказывает не верить своим глазам и ушам. Это ее главное, самое существенное требование. Ему стало страшно, когда он подумал, какая чудовищная сила противостоит ему, с какой легкостью любой партийный идеолог победит его в споре, какие хитроумные аргументы будут выдвинуты при этом, аргументы, которых он не сможет понять и на которые, уж конечно, не сможет ответить. И все же прав он, а не они! Очевидное, простое, правильное нуждается в защите. Очевидные истины верны — вот за что надо держаться! Реальный мир существует, и законы его незыблемы. Камень — твердый, вода — мокрая, предметы, которые ничто не удерживает, притягиваются к центру Земли. Уинстон взял перо. Он обращался к О'Брайену, он утверждал важную истину:

*Свобода — это свобода говорить, что дважды два — четыре. Если это дано, все остальное вытекает отсюда.*

# 8

Из какого-то подъезда пахнуло ароматом настоящего кофе, не кофе «Победа». Уинстон невольно остановился. На мгновение он оказался в полузабытом мире своего детства. Но хлопнула дверь, и аромат отсекло так внезапно, как будто это был звук, а не запах.

Он прошагал по мостовым несколько километров, и его варикозная язва пульсировала на ноге. Уже второй раз за три недели он пропускает вечер в Общественном Центре. Очень опрометчивый поступок, конечно же, кто-нибудь обязательно проверяет посещаемость. В принципе у члена Партии не могло быть свободного времени, и он никогда не оставался наедине с собой, разве только в постели. Предполагалось, что, если член Партии не занят работой, едой или сном, он участвует в коллективном отдыхе, а делать что-нибудь в одиночку, даже гулять по улице, всегда считалось подозрительным. Было даже слово на новоязе — личножизнь, что означало индивидуализм и эксцентричность. Но сегодня вечером, когда он вышел из Министерства, нежный апрельский воздух соблазнил его. Небо было такое голубое, каким он еще не видел его в этом году, и ему вдруг показался невыносимым бесконечный шумный вечер в Общественном Центре — скучные, утомительные игры, лекции, скрипучее панибратство, подмазанное джином. Под влиянием порыва он повернул прочь от автобусной остановки и углубился в лабиринт лондонских улиц. Сперва он пошел в южном направлении, потом повернул на восток, потом — на север, мало заботясь о том, куда он идет.

«Если есть надежда, — записал он в дневнике, — то она в пролах». Слова эти постоянно возвращались к нему как утверждение какой-то мистической правды и вместе с тем очевидной глупости. Он оказался в трущобном районе, застроенном коричневатыми, маловыразительными домами. Они тянулись к северу и востоку от того места, где когда-то находился вокзал Сент-Панкрас. Он шел по улице, мощенной булыжником, по обеим сторонам ее стояли двухэтажные дома. Обшарпанные двери парадных выходили прямо на панель и странным образом напоминали крысиные норы. Повсюду были грязные лужи. И в темных парадных, и в узких аллеях, выходящих на улицу с обеих сторон, было полно людей. Цветущие девушки с грубо накрашенными губами, парни, льнущие к ним, переваливающиеся с ноги на ногу толстые бабы (наглядный пример того, какими станут эти девушки лет через десять), старики, шаркающие на неуклюжих ногах, оборванные, босые дети, играющие в лужах и разбегающиеся в разные стороны от окриков матерей. Четверть оконных рам забита досками. Большинство людей не обращало на Уинстона никакого внимания. Кое-кто глядел на него с осторожным любопытством. Две безобразные бабы, сложив красные руки поверх передников, беседовали возле парадной. Несколько фраз долетело до Уинстона.

— Да, говорю я ей, все это очень хорошо, говорю. Но если бы ты была на моем месте, ты бы сделала то же самое. И потом, говорю, легко судить, если у тебя другие заботы.

— Ах, — заметила ее товарка, — так оно и есть. Так вот все и происходит.

Их скрипучие голоса вдруг замолкли. Женщины уставились на него и враждебно молчали, пока он не прошел мимо. Хотя, пожалуй, это была не враждебность, а просто предосторожность, мгновенная реакция на проходящего мимо незнакомого зверя. На этой улице синяя форма члена Партии была редкостью. В общем-то глупо гулять в таком месте без определенной цели. Могут остановить патрули, если наткнешься на них. «Покажите, пожалуйста, ваши документы, товарищ. Что вы здесь делаете? В котором часу вы ушли с работы? Вы всегда возвращаетесь домой этим маршрутом?» — и так далее и тому подобное. И дело не в том, что есть какие-либо правила, запрещающие возвращаться домой необычным маршрутом, просто этого достаточно, чтобы привлечь к себе внимание Полиции Мысли.

Вдруг вся улица пришла в движение. Со всех сторон послышались тревожные крики. Люди, как кролики, шмыгали в парадные. Чуть впереди Уинстона из подъезда выскочила молодая женщина, схватила маленького ребенка, игравшего в луже, и, накрыв передником, снова юркнула в дверь — все это она проделала мгновенно. В тот же момент к Уинстону подбежал вынырнувший из боковой аллеи мужчина в смятом гармошкой черном костюме и прокричал, тыча в небо:

— Пароход! Смотри, начальник! Прямо над нами! Ложись!

Пароходами пролы почему-то называли ракетные бомбы. Уинстон тотчас растянулся на земле: пролы редко ошибались в таких случаях. Похоже, какой-то инстинкт предупреждал их за несколько секунд о приближении ракеты, хотя говорили, что ракеты летят быстрее звука. Уинстон закрыл голову руками. Раздался взрыв, задрожала мостовая, по его спине что-то забарабанило. Встав на ноги, он увидел, что весь засыпан осколками оконного стекла.

Он двинулся дальше. Метрах в двухстах бомба разрушила несколько домов. Черный шлейф дыма тянулся в небо, чуть ниже оседало облако белой известки. Вокруг руин собиралась толпа. Впереди него, на груде штукатурки, что-то ярко краснело. Подойдя ближе, он увидел, что это оторванная человеческая рука. Если не считать окровавленного среза, рука была совершенно белой и напоминала гипсовый слепок.

Он столкнул ее в канаву и, чтобы не продираться сквозь толпу, свернул в переулок направо. Через три-четыре минуты он вышел из района бомбардировки. Жалкая, суетливая жизнь продолжалась здесь, как будто ничего не случилось. Было почти двадцать часов, и пивные пролов (они называли их «пабы») ломились от посетителей. В грязные двери, открывающиеся в обе стороны, все время входили и выходили люди, оттуда несло запахом мочи, опилок и кислого пива. В уголке, образованном выступающим фасадом дома, стояли трое мужчин: тот, что стоял в центре, держал в руках сложенную газету, а двое других внимательно изучали ее, глядя ему через плечо. Еще на расстоянии, не видя выражения их лиц, Уинстон заметил, что они сильно увлечены. Очевидно, они читали в газете какую-то очень важную новость. Он был в нескольких шагах от них, когда группа вдруг распалась и двое мужчин вступили в яростную перебранку. Казалось, они вот-вот подерутся.

— Ты можешь, черт побери, выслушать меня? Я говорю тебе, что все номера, оканчивающиеся на семерку, не выигрывали уже больше года!

— Выигрывали!

— Не выигрывали! Дома у меня выписаны все номера за два года. Все точно записано. И я говорю тебе, что ни один номер, кончающийся на семерку…

— Нет, семерка выигрывала! И я могу сказать тебе, черт побери, номер. Он кончается на четыре и семь. И было это в феврале, во второй неделе февраля.

— Бабушку твою в феврале! У меня все это записано черным по белому. И я говорю тебе, ни один номер…

— Заткнитесь наконец! — сказал третий мужчина.

Они спорили о лотерее. Пройдя метров тридцать, Уинстон обернулся. Они продолжали яростно спорить. Пролы проявляли самый серьезный интерес к лотерее и громадным еженедельным выигрышам. Вполне возможно, что для миллионов пролов именно лотерея была главным, едва ли не единственным оправданием существования. Лотерея была их радостью, безумием, лекарством, стимулятором умственной активности. В лотерее даже малограмотные обнаруживали способности к сложным вычислениям и изумительную память. Целый клан, например, жил тем, что продавал системы разгадок, прогнозы и амулеты, помогавшие выиграть. Уинстон не имел никакого отношения к организации лотереи, этим занималось Министерство Изобилия, но он знал (в общем-то все члены Партии знали), что большинство выигрышей — миф. Выплачивали лишь небольшие суммы, крупные выигрыши доставались людям несуществующим. Устроить это не так уж трудно, так как между различными частями Океании не было устойчивой связи.

И все же — если есть надежда, то она в пролах. Этой мысли надо держаться. Разумная мысль, разумные слова, но лишь на улице, при виде людей, идущих навстречу, Уинстон поверил в это. Улица, куда он свернул, спускалась с холма. Место показалось ему знакомым. Где-то рядом должна проходить главная артерия района. Впереди уже слышался шум. Улица круто повернула и закончилась ступенями, спускавшимися в аллею, на которой несколько торговцев торговали залежавшимися овощами. Уинстон сообразил, куда забрел. Аллея выходила на главную улицу, а за следующим поворотом, в пяти минутах отсюда, была лавка старьевщика, где он купил записную книжку, ставшую теперь дневником. Чуть дальше, в канцелярском магазине, он приобрел вставочку и бутылку чернил.

С минуту он помедлил на верхней ступеньке лестницы. Напротив располагалась маленькая шумная пивная. Ее окна были такие пыльные, что казалось, они подернуты изморозью. Сгорбленный, но очень энергичный старик с торчащими по-рачьи усами толкнул дверь и вошел в пивную. Уинстон подумал, что старику по меньшей мере лет восемьдесят и во время Революции он уже был зрелым человеком. Этот старик и его немногочисленные ровесники — последнее связующее звено между сегодняшним днем и исчезнувшим миром капитализма. В самой Партии практически не осталось людей, чьи взгляды сформировались до Революции: старшее поколение почти полностью уничтожено в больших чистках пятидесятых и шестидесятых годов, а те, кто уцелел, давно запуганы и доведены до полной интеллектуальной капитуляции. Словом, из всех оставшихся сегодня только прол может честно рассказать о том, какой действительно была жизнь в начале века. Уинстон вдруг вспомнил абзац из учебника истории, который он переписал в свой дневник, и у него возникла сумасшедшая идея. Он зайдет в пивную, познакомится с

этим стариком и расспросит его. Он скажет ему: «Расскажи мне о своем детстве. Какой была жизнь в те времена? Хуже или лучше, чем сегодня?»

Быстро, чтобы не успеть испугаться и передумать, Уинстон спустился вниз по ступенькам и пересек узкую улицу. Безумие, конечно, безумие. Как водится, нет никаких правил, запрещающих заговаривать с пролами или заходить в их пивные, но это настолько необычно, что не может пройти незамеченным. Если появятся патрули, можно будет сказать, что он почувствовал себя дурно, но вряд ли они поверят. Он толкнул дверь, и отвратительный гнилой запах кислого пива ударил ему в лицо. Когда он вошел, гул голосов стих. Он чувствовал спиной, что все смотрят на его синюю партийную форму. Люди, игравшие в дротики у противоположной стены, на минуту прекратили свою игру. Старик, которого он высматривал, стоял у стойки и препирался с барменом, рослым, полным молодым человеком с крючковатым носом и огромными руками. Несколько любопытных стояли рядом со стаканами в руках и наблюдали за перепалкой.

— Я прошу тебя по-хорошему, так? — говорил старик, драчливо распрямляя плечи. — А ты говоришь, что во всей твоей чертовой пивнушке нет ни одной пинтовой кружки?

— А что такое, черт побери, пинта? — сказал бармен, наклоняясь вперед и опираясь пальцами о стойку.

— Вы только послушайте, что он говорит! Называется бармен, а не знает, что такое пинта! Пинта — это полкварты, а четыре кварты будет галлон. Скоро мне придется тебя и азбуке учить.

— Никогда не слышал, — отрезал бармен. — Мы наливаем литр или пол-литра. Больше ничего. Вот стаканы перед тобой на стойке.

— А я хочу пинту, — настаивал старик. — Тебе не удастся так легко отделаться от меня. Когда я был молодым, не было этих чертовых литров.

— Когда ты был молодым, мы все еще жили на деревьях, — сказал бармен, подмигнув стоящим вокруг зевакам.

Все захохотали, и натянутость, возникшая при появлении Уинстона, казалось, исчезла. Седые, давно не бритые щеки старика покраснели. Он повернулся, чтобы отойти от бара, и наткнулся на Уинстона. Уинстон вежливо взял его за руку.

— Позвольте, я угощу вас? — сказал он.

— Вы джентльмен, — ответил старик, снова распрямляя плечи. Казалось, что он не замечает синей формы Уинстона. — Пинту! — приказал он бармену агрессивно. — Пинту встряски.

Бармен взял две толстые пол-литровые кружки, ополоснул их в ведре под стойкой и нацедил в них темно-коричневого пива. Ничего, кроме пива, в пабах для пролов не было. Считалось, что пролы не должны пить джин, хотя они легко могли достать его. Игра в дротики возобновилась с новой силой, а зеваки у стойки принялись обсуждать лотерейные выигрыши. Об Уинстоне на время забыли. У окна стоял карточный столик, за которым они со стариком могли поговорить спокойно и никто бы их не подслушал. Все это чертовски опасно, но, по крайней мере, здесь нет монитора. Он сразу это заметил, как только вошел.

— Мог бы налить мне и пинту, — ворчал старик, устраиваясь за столиком. — Пол-литра мало. Никакого удовольствия. А литр слишком много. Не помещается. Не говоря уже о цене.

— Наверное, многое изменилось с тех пор, как вы были молодым, — бросил пробный шар Уинстон.

Бледно-голубые глаза старика окинули весь зал — от стены, где играли в дротики, до бара и от бара до дверей в туалет, словно он вспоминал, какие перемены произошли в пивной.

— Пиво было лучше, — сказал он наконец. — И дешевле! Когда я был молодым человеком, легкое пиво — мы называли его встряской — стоило четыре пенса за пинту. Но это было, конечно, до войны.

— О какой войне вы говорите? — спросил Уинстон.

— О всех, — неопределенно сказал старик. Он поднял свою кружку, и плечи его опять распрямились. — Желаю вам самого крепкого здоровья!

Кадык на его худом горле быстро двигался вверх и вниз, и пиво быстро исчезло в его животе. Уинстон сходил к стойке и принес еще две пол-литровые стеклянные кружки. Старик, по-видимому, забыл о своем предубеждении относительно целого литра.

— Вы гораздо старше меня, — сказал Уинстон. — Вы были уже взрослым, когда я родился. Вы помните, наверное, какой была жизнь в старое время, до Революции. Люди моего возраста в общем-то не знают об этом ничего. О том времени мы можем узнавать только из книг. А то, что написано в книгах, может быть, неправда. Вот вы, что вы думаете об этом? В учебниках истории пишут, что жизнь до Революции была совсем не такой, как сегодня. Царили страшное угнетение, несправедливость, нищета, какие трудно даже представить себе. Здесь, в Лондоне, многие люди не ели досыта с рождения и до смерти. У половины из них даже не было обуви. Они работали по двенадцать часов в день, учились в школе только до девяти лет, им приходилось спать по десяти человек в одной комнате. И в то же время горстка людей, всего несколько тысяч, капиталисты, были очень богаты и могущественны. Им принадлежало все на свете. Они жили в огромных пышных домах, имели по тридцать слуг, разъезжали на автомобилях и в экипажах, в которые запрягали по четыре лошади, пили шампанское и носили цилиндры…

Старик вдруг просиял.

— Цилиндры! — сказал он. — Интересно, что вы вспомнили о них. Дело в том, что как раз вчера и я о них думал. Не знаю отчего. Я просто подумал, что уже много лет не видел цилиндров. Их совсем не стало. Последний раз я надевал цилиндр на похоронах моей невестки. И это было, нет, не могу припомнить точную дату, но лет пятьдесят назад. Конечно, я взял его напрокат.

— Про цилиндры не так важно, — терпеливо заметил Уинстон. — Дело в том, что эти капиталисты, они и кучка адвокатов, священников и так далее, которых они подкармливали, были хозяевами земли. Все было для них. Они могли отправить вас на корабле в Канаду, как скот. Они могли спать с вашими дочерьми, если хотели. Они могли приказать выпороть вас плеткой. Вы должны были снимать шапку, встретив капиталиста. Капиталисты ходили по улицам с целой сворой лакеев, которые… Старик снова просиял.

— Лакеи! — сказал он. — Вот слово, которого я не слыхал давным-давно. Лакеи! Прямо возвращаешься в молодость. Помню, бог знает сколько лет назад, я любил по воскресеньям ходить в Гайд-парк слушать, как выступают ребята. Армия Спасения, католики, евреи, индийцы — там все выступали. И был там один парень, не помню его имени, но он был хороший оратор. «Лакеи, — кричал он. — Лакеи буржуазии! Прислужники правящего класса!» Еще он говорил — паразиты. И гиены — он точно называл их гиенами. Конечно, он говорил о лейбористах.

У Уинстона было такое чувство, что они говорят на разных языках.

— Я вот что хотел спросить, — сказал он. — Как вы думаете, теперь у вас больше свободы, чем раньше? Ваше человеческое достоинство теперь уважают больше? В старое время богатые люди, люди наверху…

— Палата лордов, — вспомнил и вставил старик.

— Пускай палата лордов. Я спрашиваю, могли эти люди или нет обращаться с вами как с людьми второго сорта, потому только, что они были богатыми, а вы бедными? Правда ли, например, что вы должны были обращаться к ним «сэр» и снимать шапку при встрече?

Старик, казалось, глубоко задумался. Он отпил едва ли не четверть кружки.

— Да, — сказал он. — Они любили, когда вы приподнимали кепку, встречая их. Это было знаком уважения. Сам я против этого, но часто так поступал. Можно сказать, мне приходилось так поступать.

— А часто ли — я прочел про это в учебнике истории, — часто ли эти люди и их слуги сталкивали вас с тротуара в канаву?

— Один раз меня столкнули, — сказал старик. — Хорошо помню этот случай, как будто все это было вчера. Это было вечером в день лодочной регаты. На таких соревнованиях было много хулиганства. И я напоролся на одного парня на Шафтсберри-авеню. Настоящий джентльмен, парадная рубашка, цилиндр, черное пальто. Он как-то странно, зигзагами, шел по тротуару, и я случайно налетел на него. Он сказал: «Ты что, не видишь, куда идешь?» Я отвечаю: «А ты думаешь, ты купил весь этот чертов тротуар?» Он говорит: «Я откручу твою чертову голову, если ты будешь мне грубить». Я говорю: «Ты пьян. Я сдам тебя сейчас полицейскому». И вы мне уж поверьте, он упирается рукой мне в грудь и так толкает меня, что я чуть не попал под автобус. Ну, я был тогда молодой и собирался дать ему как следует, но…

Чувство беспомощности овладело Уинстоном. В памяти старика не было ничего, кроме кучи бессмысленных подробностей. Можно было расспрашивать его весь день и ничего не добиться. Ничего стоящего. Такая информация не опровергает партийные учебники истории. Быть может, они по-своему правы. Быть может, они абсолютно истинны. Уинстон сделал последнюю попытку.

— Может быть, я неточно выражаюсь, — начал он. — Я вот что хочу спросить. Вы много лет живете на свете. Половина вашей жизни прошла до Революции. Например, в 1925 году вы были уже взрослым. Судя по тому, что вы помните, можно сказать, что жизнь в 1925 году была лучше, чем сегодня? Или же она была хуже? Если можно было бы выбирать, когда вы предпочли бы жить — тогда или теперь?

Старик задумчиво посмотрел на мишень для дротиков. Он допил пиво медленнее, чем раньше. И заговорил примирительным, философским тоном, как будто пиво смягчило его сердце.

— Я понимаю, что вы ожидаете услышать от меня, — сказал он. — Вы ожидаете услышать, как я скажу, что хотел бы снова стать молодым. Большинство людей говорят, что они хотели бы снова стать молодыми, когда их об этом спрашивают. Ведь у молодых людей есть здоровье и сила. А когда доживешь до моего возраста, уже нет никакого здоровья. У меня ужасно болят ноги, а мой мочевой пузырь прямо-таки измучил меня. Мне приходится вставать по шесть-семь раз за ночь. Но, с другой стороны, у стариков есть колоссальные преимущества. Все, что волновало в молодости, проходит. Никаких дел с женщинами, а это великая вещь. У меня уже лет тридцать, поверьте, не было ни одной женщины. А главное — и желания такого не было.

Уинстон откинулся к подоконнику. Продолжать не имело смысла. Он собирался взять еще пива, но неожиданно старик встал из-за стола и заторопился в вонючий туалет в углу зала. Лишние пол-литра делали свое дело. Минуту или две Уинстон еще сидел за столом, разглядывая свою пустую кружку, а потом, он даже не заметил как, ноги вынесли его на улицу. Самое большее через двадцать лет, подумал он, ответ на вопрос «Была ли жизнь до Революции лучше, чем теперь?» станет раз и навсегда невозможным. Но в общем-то он невозможен уже и теперь, потому что немногие оставшиеся в живых, разбросанные там и сям представители ушедшего мира не умеют сравнивать прошлое и настоящее. Они помнят миллион бесполезных подробностей: ссору с сослуживцами, поиски пропавшего велосипедного насоса, выражение лица давным-давно умершей сестры, вихри пыли ветреным утром семьдесят лет назад, но все остальное, относящееся к делу, изчезло из их памяти. Они похожи на муравьев, которые видят маленькие предметы и не видят крупных. А если нет больше памяти и подтасована история, раз это произошло, приходится принять утверждение Партии, что она улучшила условия жизни, ведь нет же и никогда уже не будет эталона, с помощью которого можно все это проверить.

Неожиданно поток его размышлений прервался. Он остановился и поднял голову. Он стоял на узкой улице, где несколько маленьких магазинчиков с погашенными витринами затерялись среди жилых домов. Прямо над его головой висело три облупившихся металлических шара, которые, по-видимому, когда-то были позолоченными. Место казалось знакомым. Конечно же! Он стоял у лавки старьевщика, где купил свой дневник.

Уинстон испугался. Покупка записной книжки сама по себе была крайне опрометчивым шагом, и он дал себе слово никогда больше не появляться здесь. А теперь стоило ему задуматься, как ноги сами привели его к этой лавке. Он и дневник-то начал вести для того, чтобы оградить себя от таких самоубийственных порывов. Тут же он заметил, что лавка еще открыта, хотя время позднее — почти двадцать один час. Подумав, что лучше зайти в лавку, чтобы не привлекать внимание, Уинстон открыл дверь. Если спросят, решил он, можно сказать, что ищу лезвия. Это вполне правдоподобно.

Хозяин как раз зажигал висячую керосиновую лампу, издававшую чадный, но какой-то уютный запах. На вид хозяину было лет шестьдесят — сгорбленный, сухощавый, с длинным добродушным носом и кроткими глазами, искаженными толстыми стеклами очков. Волосы у него были почти совсем седые, но густые брови все еще черны. Очки, плавные, изысканные движения, старый, поношенный пиджак

из черного вельвета придавали ему оттенок богемности, словно он имел какое-то отношение к литературе или музыке. У него был мягкий, как бы увядший голос, и его речь была не так испорчена, как у большинства пролов.

— Я узнал вас еще на улице, — начал он сразу же. — Вы тот господин, который купил у меня подарочную записную книжку молодой девушки. Прекрасная бумага. Это называлось верже кремового цвета. Такой бумаги не делают уже лет пятьдесят. — Он взглянул на Уинстона поверх очков. — Чем я могу быть вам полезен? Или вы просто хотите посмотреть?

— Шел мимо, — ответил Уинстон неопределенно, — и заглянул. Я в общем-то ничего конкретного не ищу.

— И прекрасно, — отозвался хозяин, — потому что я вряд ли смог бы удовлетворить ваши желания. — Он сделал извиняющийся жест рукой. — Вы видите, как обстоят дела. Пустой магазин. Между нами, антикварной торговле приходит конец. Нет больше спроса, да и продавать нечего. Мебель, фарфор, стекло — все постепенно разбивается. А металлические изделия, естественно, переплавляют. Я уже несколько лет не видел ни одного бронзового подсвечника.

Маленький магазинчик был вроде бы завален вещами, но среди них не было практически ничего ценного. Ступить было некуда, потому что у всех стен стояли бесчисленные пыльные рамы от картин. В витрине — лотки с гайками и болтами, зазубренными стамесками, перочинными ножами со сломанными лезвиями, тусклыми часами, которые даже не притворялись, что их можно завести, и всякой прочей дрянью. Лишь на маленьком столике в углу магазина располагался лоток с остатками антикварных вещей, которые еще могли вызвать интерес — лакированные табакерки, агатовые брошки и тому подобное. Уинстон подошел к столику, и ему бросился в глаза круглый гладкий предмет, мягко отсвечивающий в лучах керосиновой лампы. Он взял его в руки.

Это был тяжелый кусок стекла, с одной стороны закругленный, с другой — плоский. Получалась почти правильная полусфера. И цвет, и материал излучали какую-то нежность, как дождевая вода. Внутри стекла был странный, красноватый изогнутый предмет, напоминающий розу или морской анемон. Округлая поверхность увеличивала его, как лупа.

— Что это? — спросил завороженный Уинстон.

— Это коралл, коралл, — ответил старик. — Должно быть, из Индийского океана. Их запаивали в стекло. Этой вещи лет сто, а может, и больше.

— Какой красивый, — сказал Уинстон.

— Очень красивый, — ответил хозяин тоном знатока. — Но мало кто понимает это сегодня. — Он кашлянул. — Если вы захотите его купить, он обойдется вам в четыре доллара. А я помню еще время, когда за такую вещь можно было получить восемь фунтов, а восемь фунтов… нет, не могу подсчитать, но это были огромные деньги. Но кому нужен сегодня подлинный антиквариат? Даже то немногое, что еще осталось?

Уинстон тут же заплатил четыре доллара и опустил вожделенную вещь в карман. Его очаровала даже не красота, а то, что коралл словно всем своим видом говорил, что он из другого времени, совершенно непохожего на сегодняшнее. Такого нежного, как дождевая вода, стекла он никогда не видел. Привлекательность

заключалась и в том, что покупка не обладала видимой пользой, хотя Уинстон догадывался, что когда-то ее делали как пресс-папье. Тяжелое стекло оттягивало карман, но он, к счастью, не оттопыривался. Член Партии, обладающий такой вещью, не мог не вызывать подозрений, не мог не компрометировать себя. Все старинные, а потому все красивые вещи были отчасти под подозрением. Получив свои четыре доллара, хозяин заметно повеселел, Уинстон понял, что он отдал бы коралл за три или даже два.

— Наверху есть еще комната, не хотите ли взглянуть? — предложил старик. — Там, правда, немного вещей — так, кое-что. Надо взять лампу, если мы пойдем наверх.

Он зажег еще один светильник и, сгорбившись, медленно пошел впереди Уинстона вверх по лестнице с крутыми сбитыми ступеньками и по узкому маленькому коридорчику. Они прошли в комнату, окна которой выходили не на улицу, а на мощенный булыжником двор и на целый лес дымовых труб. Уинстон отметил про себя, что мебель здесь расставлена так, как будто бы в комнате все еще собирались жить. На полу лежала ковровая дорожка, на стенах висели две-три картины, а к камину придвинуто глубокое замызганное кресло. Старомодные стеклянные часы с двенадцатичасовым циферблатом тикали на камине. У окна, занимая чуть ли не четверть комнаты, стояла огромная кровать, на которой лежали матрацы.

— Мы жили здесь, пока не умерла жена, — сказал старик извиняющимся тоном. — Мебель я понемногу продаю. Вот прекрасная кровать красного дерева, правда, надо как-то избавиться от клопов. Но я боюсь, она покажется вам немного громоздкой.

Он высоко поднял лампу, чтобы осветить всю комнату, и в теплом рассеянном свете она показалась почему-то привлекательной. Уинстон вдруг подумал, что, наверное, будет очень легко снять эту комнату за несколько долларов в неделю, если только он решится. Это была дикая, невозможная мысль, ее следовало немедля забыть, но комната вызвала в нем какую-то ностальгию, какую-то древнюю, родовую память. Ему показалось, что он совершенно точно знает, как чувствует себя человек, сидящий в кресле возле зажженного камина, положив ноги на решетку, поглядывая на греющийся чайник. Совсем один, в полной безопасности, когда никто не наблюдает за тобой, ничей голос не преследует тебя и нет ни звука, кроме шума чайника и тиканья часов.

— Здесь нет монитора, — прошептал он невольно.

— А, — сказал старик, — у меня никогда не было таких вещей. Слишком дорого для меня. Да я никогда и не испытывал желания иметь такие вещи. А вот здесь, в углу, отличный столик с откидной крышкой. Хотя, конечно, чтобы пользоваться им, надо сменить петли.

В другом углу стоял маленький книжный шкаф, и Уинстон двинулся к нему. Но в шкафу не было ничего, кроме всякой ерунды. Охота за книгами и их уничтожение в кварталах пролов проходили так же тщательно, как и в остальных местах. Вряд ли где-нибудь в Океании был еще хоть один экземпляр книги, напечатанной ранее 1960 года. Старик с лампой стоял перед картиной в раме из розового дерева, которая висела у камина, напротив кровати.

— Ну а если вы интересуетесь старыми гравюрами… — начал он осторожно.

Уинстон подошел и взглянул на картину. Это был офорт, изображавший овальное здание с прямоугольными окнами и небольшую башенку перед ним. Здание окружала, решетка, а на заднем плане было изображено что-то, напоминавшее статую.

— Рама привинчена к стене, — сказал старик, — но, думаю, я смогу ее отвинтить, если вы захотите купить гравюру.

— Я знаю это здание, — ответил Уинстон после паузы. — Оно разрушено. Это в середине той улицы, где находится Дворец Правосудия.

— Правильно. Оно там, у здания Суда. Его разбомбили в… ммм… в общем, много лет назад. Когда-то это была церковь. Она называлась церковь Святого Клементина Датского. — Он виновато улыбнулся, словно сказал смешное. А потом добавил: — «Лимоны и мандарины, лимоны и мандарины, поют колокола Святого Клементина».

— Как-как? — переспросил Уинстон.

— О! «Лимоны и мандарины, лимоны и мандарины, поют колокола Святого Клементина». Когда я был маленьким мальчиком, у нас были такие стихи. Я не помню, как дальше, но кончались они так: «Вот свечка вам на ночь, давайте зажжем. А вот и палач ваш, палач с топором». Мы танцевали под эти стихи. Ребята брались за руки и поднимали их вверх, чтобы можно было пройти, а когда они произносили: «А вот и палач ваш, палач с топором», дети опускали руки и ловили тебя. В этих стихах упоминались все церкви Лондона, самые известные.

Интересно, в каком веке была построена эта церковь, подумал Уинстон рассеянно. Всегда было трудно определить возраст здания в Лондоне. О каждом большом и внушительном здании, если оно выглядело сравнительно новым, говорили, что оно построено после Революции, а все, что явно было более древним, относили к некоему туманному периоду средних веков. Считалось, что век капитализма не создал ничего ценного. По памятникам архитектуры нельзя было изучить историю, как нельзя было изучить ее по книгам. Памятники, надписи, мемориальные камни, названия улиц — все, что могло рассказать о прошлом, систематически меняли.

— Я никогда не знал, что это церковь, — сказал Уинстон.

— Осталось еще очень много церквей, — ответил старик, — но их приспособили для других надобностей. Как же там дальше в стихах? А! Я вспомнил!

Лимоны и мандарины, лимоны и мандарины, поют колокола Святого Клементина.
Вы должны нам три фартинга, вы должны нам три фартинга, говорят колокола Святого Мартина…

Вот так, дальше не помню. Фартинг — была такая маленькая монетка, вроде цента.

— Где была церковь Святого Мартина? — спросил Уинстон.

— Святого Мартина? Она и сейчас цела. Она на площади Победы, рядом с картинной галереей. Такое здание с треугольным портиком, колоннами и большой лестницей.

Уинстон хорошо знал это место. Там размещался теперь музей, в котором устраивали различные пропагандистские выставки — модели ракет и Плавучих Крепостей, восковые диорамы, иллюстрирующие жестокости врага, и тому подобное.

— Она называлась церковь Святого Мартина в Полях, — добавил старик. — Хотя я не помню, чтобы там были какие-нибудь поля.

Уинстон гравюру не купил. Это была бы еще одна неуместная покупка, как и стеклянное пресс-папье. К тому же ее нельзя было унести домой, не вынув из рамы. Но он задержался около нее еще на несколько минут, разговаривая со стариком. Его звали вовсе не Уикс, как можно было решить по вывеске над дверями, а Чаррингтон. Мистер Чаррингтон был вдовцом, ему было шестьдесят три года, и он уже тридцать лет жил здесь. И все это время он собирался сменить вывеску, но так и не собрался. Пока они разговаривали, в голове Уинстона звучали полузабытые стихи: «Лимоны и мандарины, лимоны и мандарины, поют колокола Святого Клементина. Вы должны нам три фартинга, вы должны нам три фартинга, говорят колокола Святого Мартина!» Странно, но когда вы повторяете эти стихи про себя, возникает иллюзия, что вы действительно слышите звон колоколов сгинувшего Лондона, который все еще так или иначе существует, тайный и позабытый. Да, он, казалось, слышал колокольный звон то одной, то другой призрачной колокольни, хотя в реальной жизни, насколько мог припомнить, ни разу не доносился до его ушей звон церковных колоколов.

Он распрощался с мистером Чаррингтоном и спустился по лестнице один, чтобы тот не видел, как он оглядывает улицу, прежде чем выйти из дверей. Уинстон уже решил, что после соответствующего интервала, скажем через месяц, он опять рискнет и выберется в эту лавочку. Возможно, это не опаснее, чем пропустить вечер в Общественном Центре. Конечно, глупо было приходить сюда снова, после покупки записной книжки, не зная, можно или нет доверять хозяину. Но тем не менее…

Да, опять подумал Уинстон, я приду сюда еще раз. Я куплю еще что-нибудь из этих прекрасных безделушек. Я куплю гравюру с изображением церкви Святого Клементина Датского, выну ее из рамы и под комбинезоном партийной формы отнесу домой. Я выужу из памяти мистера Чаррингтона недостающие строчки стихов. Даже безумная мысль снять комнату наверху снова пронеслась в его голове. Наверное, секунд на пять восторг сделал его совершенно беспечным, и он вышел на улицу, не взглянув на нее сперва через витрину магазина. Он даже принялся напевать на импровизированный мотив:

Лимоны и мандарины, лимоны и мандарины, поют колокола Святого Клементина.
Вы должны нам три фартинга, вы должны нам три фартинга, говорят колокола Святого Мартина…

Вдруг сердце у него замерло, в животе похолодело. Метрах в десяти прямо на него шел кто-то в синей партийной форме. Несмотря на сумерки, Уинстон узнал девушку из Художественного Отдела, девушку с темными волосами. Она глянула ему прямо в лицо и быстро прошла мимо, словно не узнала.

Несколько секунд Уинстон был совершенно парализован и не мог сдвинуться с места. Затем он повернул направо и тяжело побрел, не сознавая куда. Ну что ж, один вопрос отпал: ясно — девушка шпионит за ним. Очевидно, она пришла сюда следом, потому что глупо предполагать, будто она случайно оказалась в тот же самый вечер в том же самом переулке, за много километров от районов, где живут члены Партии. Слишком много совпадений. И не имеет значения, кто она — секретный сотрудник Полиции Мысли или шпионит в порядке самодеятельности. Достаточно уже того, что она следит за ним. Возможно, она видела и как он заходил в пивную.

Идти было трудно. Кусок стекла в кармане при каждом шаге ударял его по бедру, и он подумывал выбросить его. Но хуже всего было от рези в животе. Минуты две ему казалось, что он умрет, если сейчас же не найдет туалет. Но в таком районе общественных уборных не было. К счастью, спазмы прошли, оставив тупую боль.

Улица уперлась в тупик. Уинстон остановился, постоял несколько секунд, размышляя, что же теперь делать, потом повернулся и пошел назад. Когда он повернул обратно, ему пришло в голову, что девушка прошла мимо него всего минуты три назад и, если броситься бегом, можно догнать ее. Можно пойти за ней до какого-нибудь тихого места, а там стукнуть булыжником по голове. Кусок стекла в кармане тоже подойдет. Но он тут же отбросил эту идею. Потому что даже мысль о каком-либо физическом усилии была невыносима. Он не может бежать и не сможет ударить. К тому же она молодая, сильная и будет защищаться. Он подумал также, не поспешить ли в Общественный Центр и остаться там до самого закрытия, чтобы обеспечить себе хотя бы частичное алиби на этот вечер. Но это тоже невозможно. Смертельная усталость овладела им. Ему хотелось только побыстрее добраться домой, сесть и замереть.

Он пришел домой после двадцати двух часов. В двадцать три тридцать выключат свет. Он зашел на кухню и выпил почти целую чашку джина Победы. Потом прошел к столику в нише, сел и достал дневник. Но раскрыл его не сразу. Металлический женский голос в мониторе исполнял военную песню. Он сидел, разглядывая обложку книжки, пытаясь выключить из сознания визгливый голос.

Они приходят ночью, всегда ночью. Самое лучшее покончить с собой до того, как тебя схватят. Безусловно, многие поступают именно так. Многие исчезнувшие на самом деле покончили самоубийством. Но требуется отчаянная смелость, чтобы убить себя в мире, где невозможно достать огнестрельное оружие или быстрый надежный яд. Он с удивлением подумал о биологической бесполезности боли и страха, о предательстве человеческого тела, которое цепенеет как раз в тот момент, когда нужно действовать. Ведь он мог убить девушку с темными волосами, если бы проявил решительность. Но именно в момент крайней опасности он утратил способность действовать. Ему пришло в голову: в кризисных ситуациях люди сражаются не с противником, а со своим телом. Даже теперь, после джина, тупая боль в животе мешала ему мыслить логически. И вот так всегда, подумал он, вероятно, в любых героических и трагических ситуациях — на поле боя, в камере пыток, на тонущем корабле — все, за что ты боролся, забывается, потому что тело разбухает и заполняет собой всю вселенную, и даже если тебя не парализует страх или крик от боли, жизнь все равно превращается в непрекращающуюся борьбу с

голодом, или холодом, или бессонницей, или больным желудком, или мучающим зубом.

Он открыл дневник. Надо было что-то записать. Женщина на экране монитора начала новую песню. Ее голос, казалось, впивался в мозг, как острые осколки стекла. Он старался думать об О'Брайене, для кого и кому он писал свой дневник, но вместо этого стал думать о том, что с ним случится, когда его заберет Полиция Мысли. Не страшно, если убьют сразу. Смерть неизбежна. Но до того, как тебя убьют, — все это знали, хотя никто об этом и не говорил, — будут обязательные покаяния, ползание по полу и вымаливание пощады, хруст костей, выбитые зубы и вырванные с мясом волосы. Зачем они проделывают все это, если конец предрешен? Почему нельзя просто сократить вашу жизнь еще на несколько дней или недель? Избежать своей участи не удавалось никому и никогда, все и всегда признавались. Каждый замеченный в преступном мышлении становится мертвецом. Так ради чего этот будущий ужас, если он ничего не изменит?

Уинстон еще раз попробовал, и на этот раз с большим успехом, представить себе О'Брайена. «Мы встретимся там, где будет светло», — сказал ему О'Брайен. Он знал, что это значит, или думал, что знает. Будет светло в воображаемом будущем, которого мы не увидим, но которое можем предугадать и тайно приобщиться к нему вместе с единомышленниками. Голос с экрана монитора лез ему в уши, и он не мог уследить за потоком мыслей. Он сунул в рот сигарету. Половина табака сразу же высыпалась ему на язык — горькая пыль, которую трудно выплюнуть. Образ Большого Брата возник в мыслях, вытеснив О'Брайена. Как и несколько дней назад, Уинстон вынул из кармана монету и поглядел на нее. Лицо Большого Брата смотрело на него тяжелым, уверенным покровительственным взглядом — но что за улыбка скрывается под черными усами? И словно глухой похоронный звон в памяти прозвучало:

**ВОЙНА — ЭТО МИР.**
**СВОБОДА — ЭТО РАБСТВО.**
**НЕЗНАНИЕ — ЭТО СИЛА.**

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## 1

Была середина утра, когда Уинстон вышел из своей кабинки в туалет.

Навстречу ему с противоположного конца длинного, ярко освещенного коридора шла одинокая фигура. Это была темноволосая. Четыре дня прошло с того вечера, когда они столкнулись у лавки старьевщика. Когда девушка подошла ближе, он увидел, что одна ее рука на перевязи. Издали это было не видно, потому что повязка была такого же цвета, что и синий партийный комбинезон. Вероятно, она

поранила руку, раскручивая один из больших калейдоскопов, на которых «набрасывали» сюжеты романов. Такие травмы часто случались в Художественном Отделе.

Их разделяло метра четыре, как вдруг девушка оступилась и полетела на пол лицом вперед. Она громко вскрикнула от боли, — видимо, свалилась на поврежденную руку. Уинстон невольно остановился. Девушка привстала на колени. Лицо ее стало восковым, и оттого рот казался краснее, чем обычно. Она смотрела прямо на него, и в ее глазах стояла мольба, вызванная скорее страхом, чем болью.

Странное чувство охватило Уинстона. Перед ним враг, желающий его гибели, и в то же время это человек, страдающий от боли, который, возможно, сломал руку. Он инстинктивно бросился к ней: в этот миг ему почудилось, что боль пронзила и его тело.

— Вы ушиблись? — воскликнул он.

— Ничего. Это рука. Сейчас пройдет. Казалось, у нее было сильное сердцебиение.

— Вы ничего не сломали?

— Нет, все нормально. Было немного больно, и все. Она протянула Уинстону здоровую руку, и он помог ей встать.

Лицо чуть порозовело, казалось, ей уже гораздо лучше.

— Ничего страшного, — повторила она коротко. — Немного ушибла кисть. Спасибо, товарищ!

И она пошла дальше, будто ничего не случилось.

Инцидент занял меньше минуты. Давно уже вошло в привычку не выражать на лице своих чувств, это стало инстинктом. Тем более это произошло как раз перед монитором. И все же огромным усилием ему удалось сдержать удивление, потому что за две-три секунды, когда он помогал девушке встать на ноги, она успела что-то сунуть ему в руку — маленький плоский предмет. Не могло быть и речи о том, что она сделала это случайно. Открывая дверь в туалет, он переложил загадочный предмет в карман и ощупал его пальцами. Это был сложенный листок бумаги.

Пока он стоял у писсуара, ему удалось развернуть листок в кармане. Конечно, это была записка. У него мелькнула мысль зайти в кабинку и немедленно прочесть послание. Но он хорошо знал, что это страшная глупость. Уж где-где, а в кабинках мониторы были под постоянным контролем.

Он вернулся к себе, сел к столу, небрежно положил листок к остальным бумагам, надел очки и придвинул к себе диктограф. «Пять минут, — приказал он себе, — самое меньшее — пять минут!» Сердце громко стучало в груди. К счастью, работа, которой он занимался, — переделка длинного перечня цифр — не требовала большого внимания.

Неважно, что там написано, в любом случае это имеет политическое значение. Насколько можно судить, есть два варианта. Первый, и наиболее вероятный: девушка — секретный сотрудник Полиции Мысли, чего он и боялся. Непонятно, почему Полиция Мысли передает свои послания подобным образом, но, очевидно, у них есть на это свои причины. В записке может содержаться угроза, повестка с вызовом куда-либо, приказание покончить с собой, какая-нибудь западня. Но есть и другой вариант, открывающий гораздо больше возможностей, — Уинстон старался не думать об этом варианте, но он не выходил из головы. Может быть, записка вовсе

не из Полиции Мысли, а от какой-то подпольной организации. Может быть, Братство все-таки существует! Может быть, девушка состоит в нем! Мысль, конечно, абсурдная, но она пришла ему в голову в тот самый момент, когда он ощутил в руке листок бумаги. Лишь через две-три минуты Уинстон решил, что возможно еще одно, гораздо более вероятное объяснение. И даже теперь, хотя умом он понимал, что записка может означать смерть, даже теперь он не хотел верить этому, и глупая надежда не оставляла его, и сердце бешено стучало, и с большим трудом ему удавалось заставить свой голос не дрожать, пока он диктовал скучные цифры в диктограф.

Он скрутил законченную работу и сунул ее в пневматическую трубу. Прошло восемь минут. Он поправил очки на носу, вздохнул и придвинул к себе очередную порцию бумажек, поверх которых лежала записка. Он расправил ее. Большими неровными буквами там было написано:

*Я люблю вас.*

Он был так ошеломлен, что не сразу догадался выбросить эту опасную записку в дыру памяти. А когда наконец сообразил, то не удержался и перечел послание еще раз, чтобы убедиться, что слова на ней действительно написаны, хотя прекрасно знал, что опасно проявлять повышенный интерес к чему бы то ни было.

Оставшуюся часть утра было очень трудно сосредоточиться, еще труднее — скрывать от монитора свое волнение. Казалось, огонь сжигает все его внутренности. Обед в душной, переполненной людьми, шумной столовой был просто пыткой. Он надеялся, что ему удастся побыть одному в обеденный перерыв, но не повезло, и за его столик уселся этот идиот Парсонс. Резкий запах его пота почти заглушил металлический вкус жаркого. Парсонс без конца болтал о приготовлениях к Неделе Ненависти. С особым восторгом он рассказывал, как отряд Сыщиков, в котором состоит его дочь, делает из папье-маше двухметровую голову Большого Брата. Уинстона больше всего раздражало, что из-за шума он почти не слышал слов Парсонса, ему приходилось переспрашивать, и Парсонс все время повторял дурацкие подробности. Только один раз Уинстон перехватил взгляд девушки с темными волосами, которая сидела за столом в дальнем конце зала вместе с двумя подругами. Казалось, она не замечает его, и он перестал смотреть в ее сторону.

Вторая половина рабочего дня была легче. Сразу после обеда он получил трудное и деликатное задание. Пришлось отложить все остальное. Несколько часов он кропотливо подделывал серию отчетов двухлетней давности о выпуске продукции. Надо было бросить тень на видного члена Внутренней Партии, попавшего в немилость. Уинстон хорошо умел делать такие вещи, и ему удалось часа два совсем не думать о девушке. Но потом опять вспомнилось ее лицо, и его охватило неистовое, нестерпимое желание побыть в одиночестве, чтобы обдумать все, что случилось. Вечером предстояло идти в Общественный Центр. Он проглотил безвкусный ужин в столовой и поспешил в Центр, где отбыл номер в идиотском ритуале «дискуссионного клуба», сыграл две партии в настольный теннис,

проглотил несколько порций джина, высидел полчаса на лекции «Ангсоц и шахматы». Его тошнило от скуки, но сегодня он решил не увиливать. Прочитав *«Я люблю вас»*, он страстно захотел остаться жить, и теперь казалось чрезвычайно глупым рисковать по пустякам. Лишь в двадцать три часа, лежа в постели, в темноте и в полной тишине, чтобы не засек монитор, он смог спокойно все обдумать.

Надо было решить, как устроить встречу с девушкой. Мысль о том, что она расставляет ему ловушку, он отбросил. Он убедился, что это не так: слишком волновалась она, передавая записку, неподдельный страх читался на ее лице. Он даже не подумал, что можно отклонить ее предложение. Всего лишь пять ночей назад он собирался размозжить ей голову булыжником, но теперь это не имело значения. Уинстон думал о ее обнаженном юном теле, которое видел во сне. А он-то вообразил, что она такая же дура, как все остальные, с головой, заполненной ложью и ненавистью, холодная, как лед. Его бросило в жар, когда он подумал, что может потерять ее и белое молодое тело ускользнет от него! Больше всего он боялся, как бы она не передумала, если ему не удастся быстро установить с ней контакт. А встретиться действительно сложно. Так же, как сделать ход в шахматной партии, когда вам грозит мат. Куда ни повернись — всюду мониторы. Все возможные варианты встречи пришли ему в голову буквально через пять минут после прочтения записки, теперь же, когда он мог спокойно думать, он перебирал их один за другим, как будто раскладывал на столе инструменты.

Естественно, нечаянная встреча, вроде той, что произошла сегодня утром, исключается. Второй раз не получится. Если бы она работала в Историческом Отделе, все было бы сравнительно просто. Но он смутно представлял, где в огромном здании Министерства располагается Художественный Отдел, да и повода пойти туда не было. Если бы знать, где она живет и когда уходит с работы, можно было бы как-нибудь исхитриться и встретиться с ней по дороге к дому. А просто выследить — опасно, потому что тогда придется какое-то время слоняться возле здания Министерства, и это, конечно, будет замечено. О письме не могло быть и речи. Все письма обязательно — и это не особенно скрывали — проверялись. В общем-то мало кто писал письма. Если нужно было что-нибудь сообщить, то пользовались специальными открытками, на которых были напечатаны готовые фразы, и требовалось просто вычеркнуть не относящиеся к делу. Кроме того, он не знал ни имени девушки, ни адреса. В конце концов он решил, что самое безопасное место — столовая. Если удастся сесть за ее столик, когда она будет одна, а столик будет где-нибудь в центре зала, подальше от монитора, и если вокруг будет достаточно шумно, и если все это продлится хотя бы секунд тридцать — можно будет обменяться несколькими фразами.

С неделю жизнь Уинстона походила на беспокойный сон. На следующий день девушка появилась в столовой после свистка, когда он уже выходил из зала. Очевидно, ее перевели в другую смену. Они прошли мимо, даже не взглянув друг на друга. Еще через день она пришла в столовую в обычное время, но сидела под самым монитором в компании трех подруг. Затем три страшных дня ее не было совсем. Он измучился душой и телом, казалось, он превратился в один оголенный нерв — любое движение, любой звук, любая встреча, каждое слово, которое приходилось говорить или выслушивать, вызывали смертельную муку. Даже во сне ее образ не

оставлял его. Все эти дни он не притрагивался к дневнику. Единственным спасением была работа, порой ему удавалось забыться минут на десять. Он не имел ни малейшего представления о том, что могло случиться. И не у кого было спросить. Может быть, ее испарили или она покончила с собой, а может, ее перевели работать в другую провинцию Океании. Хуже всего и вероятнее всего — она передумала и избегает его.

Потом она снова появилась в столовой. Повязки больше не было, только пластырь на запястье. При виде ее он испытал такое облегчение, что не удержался и несколько мгновений просто пялился на нее. Спустя день ему почти удалось заговорить с девушкой. Когда он вошел в столовую, она сидела за столом одна, почти в центре зала. Было еще рано, народ только собирался. Очередь двигалась медленно, и у самой раздачи Уинстон потерял не меньше двух минут, потому что впереди кто-то скандалил из-за таблетки сахарина, которую ему недодали. Но девушка все еще сидела одна, когда Уинстон отошел от раздаточного окошка. Он начал продвигаться с подносом в ее сторону, подыскивая равнодушным взглядом свободное место. До ее столика оставалось метра три. Еще две секунды — и все получится. Неожиданно чей-то голос сзади окликнул его: «Смит!» Он притворился, что не слышит. «Смит!» — уже громче позвал голос. Притворяться было бессмысленно. Он оглянулся. Молодой блондин с глупым лицом, по фамилии Уилшер, с которым он был едва знаком, улыбаясь, приглашал его к себе за столик. Отказаться было опасно. После того как тебя узнали, нельзя сесть за стол к одинокой девушке — это слишком бросилось бы в глаза. Он подсел к Уилшеру и дружески улыбнулся ему. Глупая белобрысая физиономия просияла. А Уинстон вдруг представил, как бьет топором прямо в эту идиотскую рожу. Через несколько минут все места около девушки заняли.

Но она должна была видеть, что он шел в ее сторону, и, быть может, поняла намек. На следующий день он постарался прийти пораньше. Действительно, девушка сидела примерно на том же месте и опять одна. В очереди перед ним стоял похожий на жука человек, маленький, юркий, с плоским лицом и настороженными глазками. Когда Уинстон со своим подносом отошел от раздачи, он увидел, что коротышка идет прямо к столику девушки. Уинстон опять пал духом. Правда, свободное место было и за дальним столиком, но что-то в облике коротышки говорило, что уж он-то позаботится о собственных удобствах и выберет самый пустой стол. С замершим сердцем Уинстон шел вслед за коротышкой: поговорить удастся лишь в том случае, если девушка будет совсем одна. Вдруг раздался страшный грохот. Коротышка стоял на четвереньках, поднос катился по проходу, по полу текли два ручья — супа и кофе. Коротышка встал на ноги и бросил злобный взгляд на Уинстона, заподозрив его в том, что он подстроил все это. Ну и пусть. Через пять секунд Уинстон опустился за стол рядом с девушкой, его сердце бешено колотилось.

Не взглянув на нее, он разгрузил свой поднос и начал быстро есть. Очень важно начать разговор немедленно, пока никто больше не сел за стол, но страх сковал его. Прошла уже неделя с тех пор, как она подошла к нему в коридоре. Она могла передумать, она должна была передумать! Не может это окончиться благополучно. Такого не бывает в реальной жизни. Возможно, он не заговорил бы совсем, если бы в

этот момент не увидел Эмплфорса, поэта с волосатыми ушами; тот бродил по залу с подносом в руках и искал себе место. Эмплфорс был по-своему привязан к Уинстону, и если он увидит его, то обязательно сядет за его столик. Оставалось не больше минуты. И девушка, и Уинстон продолжали есть. Им дали очень жидкую тушеную фасоль, скорее, суп из фасоли. Уинстон заговорил шепотом, очень тихо. Ни один из них не поднял головы. Ложка за ложкой они поглощали суп. И между ложками супа тихими, невыразительными голосами обменялись необходимыми фразами:

— Когда вы уходите с работы?

— В восемнадцать тридцать.

— Где мы можем встретиться?

— На площади Победы, у памятника.

— Там полно мониторов.

— Это не опасно в толпе.

— Вы дадите какой-нибудь знак?

— Нет. Не подходите ко мне, пока не увидите, что вокруг много людей. И не смотрите на меня. Просто держитесь поблизости.

— Во сколько?

— Девятнадцать часов.

— Хорошо.

Эмплфорс, так и не заметив Уинстона, сел за другой столик. Но они больше не говорили и, насколько это возможно для двух человек, сидящих за одним столом, не смотрели друг на друга. Девушка, быстро доев свой обед, ушла. Уинстон задержался, чтобы выкурить сигарету.

Он пришел на площадь Победы раньше назначенного времени. Побродил вокруг основания огромной колонны с каннелюрами, с вершины которой Большой Брат смотрел на юг, в небо — туда, где он разгромил армады евразийских самолетов (несколько лет назад это были востазиатские самолеты) в Битве за Первую Военно-Воздушную Зону. Напротив, через улицу, стояла, конная статуя (считалось, что это Оливер Кромвель). Прошло уже пять минут после назначенного часа, а девушки все не было. Уинстона опять охватил страх. Она не придет, она передумала! Он медленно двинулся на северную сторону площади и немного отвлекся, узнав церковь Святого Мартина, колокола которой — когда там были колокола — вызванивали: «Вы нам должны три фартинга». И тут он увидел девушку. Она читала или делала вид, что читает плакат, прикрепленный к колонне. Опасно было подходить к ней, пока не соберется побольше людей. На всех фасадах висели мониторы. Но в этот момент откуда-то слева послышались крики и шум тяжелых грузовиков. Все побежали через площадь. Девушка, проворно обогнув львов, сидящих у основания колонны, пустилась вслед за толпой. Уинстон рванулся за ней. Из выкриков бегущих людей он понял, что везут евразийских пленных.

Густая толпа запрудила южную сторону площади. Обычно Уинстон старался не лезть в толпу, но сейчас он толкался, пинался, работал локтями и пролез-таки в самую гущу. Девушка была рядом, на расстоянии вытянутой руки, но путь к ней преграждали громадный прол и почти такая же огромная женщина, очевидно его жена. Они образовали живую непроходимую стену между Уинстоном и девушкой. Уинстон с трудом повернулся боком и отчаянным усилием сумел впихнуть свое

плечо между ними. С минуту казалось, что мощными бедрами они перетрут его в порошок, но все же, слегка вспотев, он пробился вперед. Теперь он и девушка стояли рядом, плечом к плечу, стараясь не смотреть друг на друга.

По улице двигалась длинная колонна грузовиков.

В кузове каждой машины с деревянными лицами стояли вооруженные автоматами солдаты. Перед ними, плотно прижавшись друг к другу, сидели на корточках желтокожие люди в потрепанной зеленоватой форме. Их грустные монгольские лица безучастно выглядывали из-за бортов грузовиков. Время от времени, когда машину подбрасывало, слышалось звяканье металла — все военнопленные были закованы в ножные кандалы. Грузовики, полные грустных лиц, один за другим проплывали мимо. Уинстон видел и не видел их. Плечом и рукой девушка прижималась к нему, а щека была так близко, что он ощущал ее тепло. Как и в столовой, она все взяла в свои руки. Она заговорила невыразительным голосом, как и тогда, губы ее едва двигались, тихий шепот тонул в шуме голосов и реве машин.

— Вы меня слышите?

— Да.

— Вы свободны в воскресенье во второй половине дня?

— Да.

— Тогда слушайте внимательно. Все это надо запомнить. Доберитесь до Паддингтонского вокзала…

Она с такой военной точностью изложила маршрут (полчаса на поезде, выйти со станции и повернуть налево, два километра по дороге, ворота без верхней перекладины, тропинка через поле, проселок, заросший травой, узкая тропка в кустах, сухое дерево, поросшее мхом), словно в голове у нее была карта…

— Вы все запомнили? — прошептала она наконец.

— Да.

— Налево, направо, опять налево. И на воротах нет верхней перекладины.

— Да. Во сколько?

— Примерно в пятнадцать. Возможно, вам придется подождать. Я приду туда по другой дороге. Вы уверены, что все запомнили?

— Да.

— Тогда уходите от меня быстрее.

Этого можно было и не говорить. Им не сразу удалось выбраться из толпы. Грузовики все шли и шли, а народ все не мог наглядеться. Вначале были и улюлюканье, и свист, но свистели и улюлюкали лишь члены Партии. Потом и они замолчали. Толпой владело в основном любопытство — иностранцы из Евразии или Востазии были чем-то вроде экзотических зверей. Их видели только плененными, да и то лишь короткие мгновения. Никто не знал, что с ними делают дальше. Кроме тех немногих, кого вешали как военных преступников, все остальные куда-то исчезали, — вероятно, они работали в лагерях. Круглые монгольские лица сменили лица более европейского типа, но такие же грязные, заросшие, утомленные. Глаза поверх небритых скул порой всматривались в Уинстона, но через мгновение исчезали. Колонна машин заканчивалась. В замыкающем грузовике Уинстон разглядел пожилого человека с густыми седыми волосами. Он стоял на ногах со

скрещенными впереди руками, как будто привык, что руки ему связывают. Уинстону и девушке пора было расставаться. Но в последний момент, пока толпа все еще окружала их, ее рука нашла его руку и сжала на прощание.

Рукопожатие продолжалось не более десяти секунд, но казалось, что оно длилось целую вечность. Ему хватило времени, чтобы изучить мельчайшие подробности ее руки: он ощупал длинные пальцы, красивые ногти, натруженную ладонь с мозолями, гладкую кожу запястья… Теперь он может узнать эту руку с первого взгляда. Неожиданно он подумал, что не помнит, — какого цвета у нее глаза. Может быть, карие, но иногда у темноволосых бывают голубые глаза. Повернуть голову и посмотреть на нее — немыслимая глупость. Глядя прямо перед собой, они стояли со сплетенными руками, которые не были видны в сжимавшей их толпе, и вместо девичьих глаз Уинстон видел глаза пожилого пленного, который печально смотрел на него из-под копны седых волос.

## 2

Уинстон шел по проселку через пятна света и тени, а там, где ветви не смыкались, он словно окунался в золотые потоки солнца. Слева под деревьями земля была подернута голубой дымкой колокольчиков. Воздух нежно ласкал кожу. Было второе мая. Где-то в глубине леса запели горлицы.

Он приехал раньше времени. Путешествие проходило без каких-либо приключений, и он так поверил в опытность девушки, что боялся гораздо меньше, чем обычно. Можно не сомневаться, она нашла надежное место. Вообще-то за городом было не безопаснее, чем в Лондоне. Мониторов здесь, правда, не было, но не исключено, что ваш голос могли записать и распознать с помощью спрятанных микрофонов. Кроме того, трудно остаться незамеченным, путешествуя в одиночку. Для поездок на расстояние не более ста километров от Лондона отметки в паспорте не требовалось, но у железнодорожных станций, случалось, дежурили патрули, проверявшие документы у членов Партии и задававшие придирчивые вопросы. К счастью, на этот раз патрулей не встретилось, по пути от станции он несколько раз осторожно оглянулся и убедился, что никто за ним не следит. В поезде, в котором он ехал, было полно пролов. По случаю почти летней погоды у них было прекрасное настроение. Его вагон с деревянными скамейками до отказа забила огромная семья — от беззубой прабабушки до месячного ребенка. Они ехали за город, чтобы провести время с родственниками и, как они откровенно сказали Уинстону, купить немного масла на черном рынке.

Проселок вывел на поляну, и через минуту он подошел к узкой тропке в кустах, о которой говорила девушка. По ней, очевидно, гоняли скот. У него не было часов, но, наверное, еще нет пятнадцати. Под ногами раскинулся такой густой ковер из колокольчиков, что невозможно было не наступить на них. Чтобы как-то скоротать время, он опустился на колени и принялся собирать цветы со смутным желанием подарить букет девушке при встрече. Он уже набрал большой букет колокольчиков и вдыхал их слабый аромат, когда звук за спиной заставил его замереть, —

несомненно, под чьей-то ногой хрустнула сухая ветка. Он продолжал рвать колокольчики. Так будет лучше. Быть может, это девушка, а может, за ним все-таки кто-то следит. Обернуться — значит признать свою вину. Он сорвал цветок, еще один… Чья-то рука легко легла ему на плечо.

Уинстон поднял голову. Это была девушка. Она дала ему понять, что он должен молчать, потом раздвинула кусты и быстро пошла по узкой тропинке через лес. Похоже, эта дорога была ей знакома — так ловко и привычно она обходила непросохшие сырые места. Он шел за ней, сжимая в руках букет, и смотрел на сильное, стройное тело, на алый шарф, повязанный вокруг талии и так хорошо очерчивающий округлые контуры ее бедер. Постепенно им овладевало чувство собственной неполноценности: даже сейчас он боялся, что она передумает и уйдет. Чистый воздух и зелень листвы пугали его. Еще на платформе при ярком майском солнце Уинстон почувствовал себя грязным и болезненным, каким-то комнатным созданием, все поры которого забиты лондонской копотью и пылью. Он подумал и о том, что она еще ни разу не видела его при дневном свете. Они подошли к упавшему сухому дереву, о котором она говорила. Девушка перепрыгнула через него и раздвинула кусты, за которыми вроде бы не было никакого просвета. Но когда Уинстон последовал за ней, он вдруг оказался на поляне, на небольшом, поросшем травою холмике, окруженном со всех сторон высокими молодыми деревцами, надежно укрывавшими его. Девушка остановилась и обернулась.

— Мы пришли, — сказала она.

Он стоял в нескольких шагах от нее и смотрел, не решаясь подойти ближе.

— Я не хотела говорить по дороге, — сказала девушка, — из-за микрофонов. Может быть, их и нет, но все же… Не исключено, что кто-нибудь из этих свиней распознает твой голос. А здесь мы в безопасности.

У него все еще не хватало смелости подойти к ней.

— В безопасности? — повторил он самым глупейшим образом.

— Да. Взгляни на деревья.

Это были ясени — когда-то их спилили, но они пошли от корней снова и теперь вокруг поляны образовали густую маленькую рощу; ствол любого ясеня был не толще руки.

— Здесь негде спрятать микрофон. А потом, я уже бывала здесь…

Ему удалось заставить себя подойти к ней ближе. Девушка стояла перед ним прямо и улыбалась чуть иронически, как будто удивлялась, отчего он медлит. Колокольчики посыпались на землю дождем. Казалось, они упали сами. Он взял ее руку.

— Поверишь ли, — сказал он, — до этой минуты я не знал, какого цвета твои глаза.

Глаза были карие. Светло-карие, с темными ресницами.

— Теперь ты видишь, какой я на самом деле, тебе не противно смотреть на меня?

— Конечно, нет.

— Мне тридцать девять. У меня есть жена, от которой я не могу избавиться, варикозные вены и пять вставных зубов.

— Ну и что? — ответила девушка.

Трудно сказать, кто сделал первый шаг, но в следующую секунду она оказалась в его объятиях. Сначала он не ощутил ничего, кроме полнейшего смятения. Прекрасное юное тело прижималось к нему, его лицо окунулось в волну темных волос, и — да! невероятно — она запрокинула голову, и он целовал ее раскрытые алые губы.

— Милый, единственный, любимый, — прошептала она.

Он увлек ее вниз, на землю, и она не противилась, он мог делать с ней все, что пожелает. Но ему не думалось ни о чем, кроме этого чистого объятия. Он чувствовал лишь смятение и гордость. Происходящее наполняло его радостью, но не было ни малейшего желания физической близости. Все случилось чересчур быстро, ее молодость и красота словно испугали его, он слишком привык жить без женщины — он не знал, в чем причина. Девушка поднялась и вытащила из своих волос запутавшийся колокольчик. Она села рядом с ним и обняла его рукой за талию.

— Ничего, милый. Нам некуда торопиться. У нас полдня впереди. Правда, отличное место? Я нашла его, когда однажды заблудилась во время турпохода. Если кто-нибудь приблизится, мы услышим его шаги за сто метров.

— Как тебя зовут? — спросил Уинстон.

— Джулия. А твое имя я знаю. Уинстон, Уинстон Смит.

— Как ты узнала?

— Боюсь, милый, что я лучше, чем ты, умею узнавать то, что хочу. Скажи, что ты думал обо мне до того дня, когда я передала тебе записку?

Уинстон не хотел лгать ей. Почему бы не начать объяснение в любви с самого плохого?

— Я ненавидел тебя, — сказал он. — Мне хотелось изнасиловать тебя, а потом убить. Две недели назад я всерьез собирался размозжить тебе голову булыжником. Если хочешь знать, я думал, что ты связана с Полицией Мысли.

Девушка рассмеялась, явно довольная. Она восприняла это как комплимент, как похвалу ее умению жить притворяясь.

— Уж и Полиция Мысли! Неужели ты действительно так думал?

— Ну, может быть, не Полиция Мысли. Но весь твой вид, ведь ты юная, чистая, здоровая, ты понимаешь меня, я думал, что, может быть…

— Ты думал, что я добропорядочный член Партии. Что слова у меня не расходятся с делами. Знамена, демонстрации, лозунги, игры, турпоходы — и все такое. И ты думал, что, будь у меня хоть малейший повод, я донесу на тебя как на преступника мысли и добьюсь, чтобы тебя убили?

— Да, примерно так. Ведь многие девушки такие, ты же знаешь.

— А все из-за этой гадости, — сказала Джулия, срывая с себя алый шарф Молодежной Антисексуальной Лиги и бросая его на ветку.

Прикосновение к собственной талии напомнило ей о чем-то, она порылась в кармане комбинезона и вытащила маленькую плитку шоколада. Разломила ее пополам и одну половинку протянула Уинстону. Еще не взяв его, по запаху Уинстон понял, что это не обычный шоколад. Темный, блестящий, он был завернут в серебряную бумагу. Обычный шоколад представлял собой тускло-коричневую рассыпающуюся массу, а по вкусу, если это вообще можно описать, напоминал дым от костра, в котором сжигали мусор. Но когда-то он пробовал и такой шоколад,

каким его угостила девушка. Его запах разбудил в нем какие-то воспоминания, которые он не мог разобрать, но чувство было сильное и не давало ему покоя.

— Где ты это достала? — спросил Уинстон.

— На черном рынке, — спокойно ответила она. — Ты прав. С виду я такая, как ты меня представлял. Я первая в играх. В организации Сыщиков я была командиром отряда. Три вечера в неделю добровольно работаю в Молодежной Антисексуальной Лиге. А сколько часов я потратила, расклеивая их дерьмовые плакаты по всему Лондону! На всех демонстрациях я обязательно тащу с кем-нибудь транспарант. Я всегда выгляжу веселой и никогда ни от чего не уклоняюсь. Я считаю, надо всегда кричать вместе с толпой, — только так можно чувствовать себя в безопасности.

Первый кусочек шоколада растаял на языке Уинстона. Вкус был превосходный. А давнее воспоминание все крутилось у него в голове. Оно не давало покоя, но никак не принимало определенной формы, как что-то увиденное краем глаза. Он отогнал его от себя, отбросил прочь как нечто такое, что хотелось забыть.

— Ты так молода, — сказал он. — Лет на десять — пятнадцать моложе меня. Что могло тебя привлечь во мне?

— Твое лицо. Я решила попробовать. Я хорошо угадываю людей, которые откололись от системы. Как только увидела тебя, я поняла — ты против них.

Под словом них Джулия, как оказалось, подразумевала Партию, и прежде всего Внутреннюю Партию, о которой она говорила с такой неприкрытой презрительной ненавистью, что Уинстону становилось не по себе, хотя он и знал, что здесь они в безопасности, если вообще где-нибудь можно быть в безопасности. Его поразил ее грубый язык. Членам Партии не полагалось ругаться нецензурными словами, сам Уинстон очень редко матерился, во всяком случае вслух. Джулия же не могла говорить о Партии, не употребляя слов, которые пишут мелом на заборах в глухих переулках. И Уинстону это нравилось. В этом проявлялось ее бунтующее сознание, ее внутренний мятеж против Партии и всей партийной политики, поэтому ругань казалась естественной и здоровой, как фырканье лошади, нюхающей гнилое сено.

Они поднялись и снова побрели сквозь пятна света и тени. Там, где тропинка была пошире, шли рядом, обняв друг друга. Без шарфа талия девушки стала нежнее. Говорили они только шепотом. В лесу лучше не шуметь, предупредила Джулия. Вскоре они вышли на опушку леса, и она остановила его:

— Не выходи дальше. Здесь могут следить. Лучше остаться за деревьями.

Они стояли в орешнике, в тени. Горячее солнце пробивалось сквозь густую листву и падало на их лица. Уинстон взглянул на луг за опушкой леса и вдруг, так странно, так замедленно, узнал это место. Все это он уже видел. Старый, выщипанный луг, по лугу петляла тропинка, между маленькими холмиками земли, вырытой кротами. За полуразрушенной изгородью на другой стороне луга ветви вяза едва заметно качались от легкого ветра, и их густая листва тихо-тихо шевелилась, как женские волосы. Конечно, где-то поблизости должен быть ручей с плотвой в зеленых заводях.

— Здесь где-то рядом протекает ручей? — прошептал он.

— Да, ручей есть. Недалеко отсюда. Там водится рыба. Такие большие рыбины. Они лежат на дне заводей, под ивами, и шевелят хвостами.

— Похоже, это и есть Золотая Страна, — прошептал Уинстон.

— Золотая Страна?

— Да нет. Это я просто… Так я называю место, которое часто мне снится.

— Гляди! — прошептала Джулия.

Метрах в пяти, почти на уровне их лиц, на ветку опустился дрозд. Наверное, он их не видел. Он был на солнце, они в тени. Дрозд расправил крылья и снова сложил их, на мгновение наклонил голову, как будто поклонился солнцу, и запел. В полуденной тишине его пение было поразительно громким. Уинстон и Джулия, завороженные, прижались друг к другу. Птица пела и пела, минута за минутой, с бесчисленными вариациями, ни разу не повторяясь, как будто нарочно демонстрировала всю свою виртуозность. Порой дрозд останавливался на секунду-другую, расправлял и складывал крылья, раздувал свою пеструю грудку и снова начинал петь. Уинстон наблюдал за ним со смутным благоговением. Для кого, для чего поет птица? Эту песню не слышали ни подруга, ни соперник. Что вообще заставляет птицу сидеть на ветке на окраине леса и заполнять округу своей музыкой? А вдруг, подумал он, здесь все-таки спрятан микрофон? Они с Джулией говорили только шепотом, микрофон не мог уловить их слова, но песню дрозда он услышит. И может быть, на другом конце провода какой-нибудь маленький, похожий на жука человечек сидит и внимательно слушает — слушает это. Но мало-помалу поток музыки вытеснил подобные мысли. Музыка затопила его, обволокла со всех сторон, перемешиваясь с солнцем, льющимся сквозь листву. Он больше не размышлял, он чувствовал. Рука его обнимала нежную и теплую талию девушки. Он повернул ее лицом к себе. Тела их сливались. Его руки не встречали сопротивления. Его губы нашли ее губы, и это был совсем другой поцелуй, холодность и настороженность остались в прошлом. И когда они оторвались друг от друга, то оба глубоко вздохнули. Их вздох испугал птицу, и она улетела, хлопая крыльями.

— Теперь, — шепнул Уинстон на ухо девушке.

— Не здесь, — ответила она тоже шепотом. — Вернемся в наше укрытие. Там безопаснее.

Они поспешили обратно к своей поляне, порой под их ногами хрустели сухие ветки. Когда они снова оказались в окружении молодых ясеней, Джулия повернулась и взглянула на него. Оба еще тяжело дышали, но в уголках ее рта блуждала все та же улыбка. Мгновение она смотрела на него, а затем потянулась к молнии своего комбинезона. И да, да! Это было почти как в его сновидении. Почти так же быстро, как он воображал себе, она сбросила одежду, а когда она швырнула ее в сторону тем же самым прекрасным жестом, вся цивилизация, казалось, рухнула. Ее белое тело светилось в солнечных лучах. Но он не смотрел на тело, его взгляд был прикован к ее веснушчатому лицу с легкой, смелой улыбкой. Он встал перед ней на колени и взял ее руки в свои.

— Ты делала это раньше?

— Конечно. Сотни раз, во всяком случае, десятки раз.

— С членами Партии?

— Всегда с членами Партии.

— С членами Внутренней Партии?

— Нет, не с этими свиньями, нет. Но многие из них *очень хотели бы,* только намекни. Они вовсе не такие святые. Просто прикидываются.

Сердце его подпрыгнуло. Десятки раз! Было бы еще лучше, если сотни, тысячи раз. От малейшего намека на отсутствие чистоты и добропорядочности сердце его переполнялось безумной надеждой. Кто знает, быть может, Партия сгнила изнутри, и ее проповедь преодоления трудностей и самоотречения всего лишь притворство, скрывающее порок. С каким удовольствием он заразил бы всю эту свору проказой или сифилисом, если бы только мог! Все что угодно, лишь бы сломать, ослабить, подорвать! Он потянул ее к себе, так что они стояли теперь на коленях, лицом друг к другу.

— Слушай. Я люблю тебя тем сильнее, чем больше было у тебя мужчин. Ты понимаешь?

— Да, конечно.

— Я ненавижу чистоту! Я ненавижу добропорядочность! Я не хочу, чтобы где-нибудь существовала непорочность. Я хочу, чтобы все были развращены до мозга костей.

— Что ж, в этом случае я как раз то, что тебе надо. Я порочна до мозга костей.

— А тебе нравится это? Я не о себе говорю… вообще делать это?

— Я обожаю делать это.

Он услышал даже больше, чем хотел. Не просто любовь к конкретному человеку, а слепое, никого не выделяющее животное желание — вот та сила, что разорвет Партию на куски. Он прижал ее к траве, между рассыпавшимися колокольчиками. На этот раз все было просто. Наконец их сильно бьющиеся сердца забились ровно, пришла блаженная беспомощность, и объятия их распались. Солнце припекало. Захотелось спать. Уинстон протянул руку, достал сброшенный комбинезон и укрыл им Джулию. Они сразу же заснули и спали около получаса.

Уинстон проснулся первым. Он сел и стал рассматривать веснушчатое лицо девушки. Она все еще мирно спала, подложив ладошку под голову. Пожалуй, кроме рта, ничего в ее лице нельзя назвать прекрасным. Если внимательно приглядеться, вокруг глаз можно заметить две-три морщинки. Коротко остриженные темные волосы были очень густые и очень мягкие. Он вспомнил, что все еще не знает ее фамилии и где она живет.

Молодое сильное тело, беспомощное во сне, вызывало в нем желание пожалеть, защитить. Но всепоглощающая нежность, которую он ощутил в орешнике, слушая дрозда, полностью уже не возвращалась. Он стянул комбинезон с девушки и рассматривал ее гладкое белое тело, лежавшее на боку. В старину, думал он, когда мужчина смотрел на девичье тело, он просто желал его — и это было целью. Но сегодня нет ни чистой любви, ни чистой страсти. Нет ни одного чистого чувства, потому что все сплелось со страхом и ненавистью. Поэтому их объятия бросали вызов, а триумф любви становился победой над ложью. Это был удар по Партии. Это был политический акт.

## 3

— Мы можем приехать сюда еще раз, — сказала Джулия. — Как правило, можно пользоваться любым укрытием не больше двух раз. Но, конечно, через месяц-другой.

Как только она проснулась, ее поведение изменилось. Она деловито оделась, обмотала вокруг талии свой алый шарф и озабоченно принялась обговаривать возвращение домой. Уинстону казалось естественным, что этим занимается она, а не он. Ясно, что она практичнее Уинстона и, кроме того, по бесчисленным турпоходам отлично знала окрестности Лондона. Она указала Уинстону совсем другой маршрут, не тот, которым он добирался из Лондона, даже железнодорожная станция была на этот раз другая. «Никогда не возвращайся тем же путем, которым пришел», — сформулировала она это важное правило. Джулия должна была уйти первой, Уинстон — через полчаса.

Она сказала, где они могут встретиться через четыре дня вечером, после работы, — на улице в одном из бедных кварталов. Там рынок, обычно много народу и очень шумно. Она будет ходить от прилавка к прилавку и искать шнурки или нитки. Если убедится, что опасности нет, она высморкается, когда Уинстон подойдет к ней, в противном случае он должен пройти мимо, не узнавая ее. Если повезет, они поговорят в толпе минут пятнадцать и условятся о следующей встрече.

— А теперь мне пора, — сказала она, убедившись, что Уинстон усвоил все инструкции. — Я должна вернуться в девятнадцать тридцать. Мне нужно еще часа два потратить на Молодежную Антисексуальную Лигу — буду раздавать листовки или что-нибудь в этом роде. Какая гадость! Отряхни меня, пожалуйста. В волосах нет веточек? Точно? Тогда до свидания, любовь моя, до свидания!

Она бросилась в его объятия, страстно поцеловала его и почти бесшумно исчезла в лесу. Уинстон опять позабыл спросить у нее фамилию и адрес. Впрочем, это неважно, трудно представить, что им удастся когда-нибудь встретиться в помещении или хотя бы обменяться письмами.

На эту лесную поляну они никогда больше не приходили. А в мае им посчастливилось любить друг друга всего лишь раз. Это произошло в другом тайном месте, известном Джулии, — на колокольне полуразрушенной церкви, в почти безлюдной местности, где тридцать лет назад упала атомная бомба. Добираться туда было очень опасно, но зато укрытие оказалось превосходным. Все остальные встречи происходили на улицах, всегда в разных местах, и каждое свидание длилось не больше получаса. На улице можно было разговаривать, приняв некоторые меры предосторожности. Не глядя друг на друга, они шли по запруженным тротуарам, один всегда чуть впереди другого. Разговор меж ними был странным, прерывистым. Он гас и вспыхивал вновь, как огонь маяка, — вдруг замолкал при приближении человека в партийной форме или возле монитора, затем опять начинался через несколько минут с середины фразы и вновь прерывался совершенно внезапно, когда они доходили до заранее оговоренного места и расходились в разные стороны, чтобы затем продолжаться без всяких предисловий на следующий день. Джулия отлично владела искусством такой беседы, шутя называла это «разговор в рассрочку». Она на удивление хорошо умела говорить, не двигая при этом губами. И только раз за месяц вечерних встреч им удалось поцеловаться. Они молча шли по переулку (Джулия никогда не говорила в переулках, только на шумных больших улицах), когда раздался оглушительный грохот, земля покачнулась, небо потемнело,

и Уинстон внезапно оказался лежащим на боку, оглушенный и покрытый ссадинами. Должно быть, ракетная бомба упала где-то совсем рядом. Неожиданно он увидел лицо Джулии буквально в нескольких сантиметрах от себя, смертельно бледное, белое как мел. Даже губы были белые. Она была мертва! Он прижал ее к себе и вдруг обнаружил, что целует живое, теплое лицо. Но на губах был какой-то порошок. Оказалось, их лица запорошила известка.

Были вечера, когда они приходили на место встречи и расходились, даже не обменявшись каким-нибудь знаком, потому что за углом появлялся патруль или над головой зависал вертолет. Но даже если бы свидания были не так опасны, все равно трудно было выкраивать время для встреч. Рабочая неделя у Уинстона длилась шестьдесят часов, у Джулии — еще больше. А выходные дни менялись в зависимости от объема работы и часто не совпадали. У Джулии, во всяком случае, редко выпадали совсем свободные вечера. Она тратила поразительно много времени на лекции и демонстрации, распространение литературы Молодежной Антисексуальной Лиги, изготовление знамен и транспарантов для Недели Ненависти, сбор денег в различных кампаниях экономии и тому подобное. Все это окупается, твердила она. Все это камуфляж. Если соблюдаешь маленькие правила, можно нарушать большие. Она даже уговорила Уинстона пожертвовать еще одним вечером и записаться в бригаду добровольцев по изготовлению оружия, куда вступали наиболее ревностные сторонники Партии. И теперь раз в неделю вечером Уинстон в течение четырех часов, умирая от скуки, свинчивал какие-то металлические детальки, которые, возможно, были частями бомбовых взрывателей. Работать приходилось на сквозняке, в полутемной мастерской, где стук молотков тоскливо сливался с музыкой мониторов.

Когда же они встретились на церковной колокольне, то заполнили наконец пробелы своих фрагментарных бесед. Был ослепительный вечер. В маленьком квадратном помещении над колоколами было жарко и душно и пахло голубиным пометом. Они сидели на пыльном, замусоренном полу и несколько часов подряд не могли наговориться. Лишь время от времени один из них поднимался, подходил к бойницам и выглядывал наружу, чтобы убедиться, что никто не приближается к колокольне.

Джулии было двадцать шесть. Она жила в общежитии, с тридцатью другими девушками («Вечно этот женский запах! О как я ненавижу женщин!» — заметила она мимоходом), а работала, как он правильно угадал, в Художественном Отделе, на машинах, сочиняющих романы. Работа ей очень нравилась, а заключалась она в обслуживании мощного, но капризного электромотора. «Я звезд с неба не хватаю, — сказала Джулия, — но люблю работать руками и люблю машины». Она знала весь процесс изготовления романа — от общей директивы, данной Плановым Комитетом, до окончательной отделки, осуществляемой Группой Переписки. Но ее ничуть не интересовал конечный продукт. «Я не очень люблю читать», — призналась она. Книги, по ее мнению, просто товар, который надо производить, как джем или шнурки для ботинок.

Она не помнила ничего, что происходило до шестидесятых годов. И она знала только одного человека, который часто говорил о дореволюционных временах. Это был ее дедушка, он исчез, когда Джулии было восемь лет. В школе она была

капитаном хоккейной команды и два года подряд завоевывала кубок на соревнованиях по гимнастике. Она была командиром отряда в организации Сыщиков и секретарем отделения в Молодежной Лиге до того, как она вступила в Молодежную Антисексуальную Лигу. У нее всегда была отличная характеристика. Ее даже рекомендовали на работу в отделение Порносека Художественного Отдела, что неоспоримо свидетельствовало о ее безупречной репутации. Но оказалось, что это отделение просто-напросто занято изготовлением примитивной порнографии для пролов. Сотрудники отделения даже прозвали его навозной кучей, заметила Джулия. Она проработала там всего лишь год и участвовала в изготовлении брошюрок в заклеенных конвертах под названием «Рассказы о порке, или Одна ночь в школе для девочек». Брошюрки эти предназначались для пролетарской молодежи, которая, покупая их, полагала, что покупает что-то запрещенное.

— Ну и что это за брошюрки? — поинтересовался Уинстон.

— А-а, страшная чушь. Они в общем-то очень скучные. Там всего шесть сюжетов, которые слегка варьируются. Естественно, я всего лишь работала на калейдоскопах. Меня никогда не включали в Группу Переписки. Никаких литературных способностей, мой милый, даже этого не дано.

Уинстон с удивлением узнал, что, за исключением начальников групп, в Порносеке работают только девушки. Считалось, что сексуальные инстинкты у мужчин труднее контролировать, чем у женщин, и есть опасность, что работа в Порносеке развратит их.

— Они даже стараются не брать туда на работу замужних женщин, — добавила Джулия. — Только девушек. Ведь они такие чистые. Не я, во всяком случае.

В шестнадцать у нее уже был любовник — член Партии лет шестидесяти, который вскоре, чтобы избежать ареста, покончил жизнь самоубийством. «И правильно сделал, — заметила Джулия, — а то бы они узнали и мое имя из его признаний». С той поры было много других любовников. В жизни, по ее мнению, не было ничего сложного. Все очень просто. Вы хотите хорошо проводить время, «они» — то есть Партия — хотят, чтобы у вас ничего не вышло, ну и вы, в меру своих возможностей, нарушаете установленные правила. Она считала совершенно естественным и то, что «они» должны стремиться лишить вас удовольствия, и то, что вы обязаны не попадаться. Она ненавидела Партию и говорила об этом самыми непристойными словами, но она, в сущности, не критиковала ее. Джулию вообще не интересовали партийные доктрины, поскольку они не задевали лично ее. Он отметил, что она никогда не употребляет слов новояза, за исключением тех, что вошли в обыденную речь. Она никогда не слышала о Братстве и отказывалась верить, что оно существует. Она считала, что любое организованное сопротивление Партии обречено на неудачу и, стало быть, это — глупость. Надо по-умному нарушать правила и не попадаться. Интересно, подумал Уинстон, как много таких, как она, среди молодых, выросших в послереволюционном мире, не знающих ничего, принимающих Партию как нечто раз и навсегда данное — как небо надо головой, — не восстающих против ее власти, а просто пытающихся увильнуть, как кролик пытается увильнуть от собаки?

Они никогда не говорили о возможной женитьбе. Это было настолько безнадежно, что и говорить не стоило. Нельзя было представить себе, что комитет

одобрит такой брак, даже если от жены Уинстона, Кэтрин, удастся каким-нибудь образом избавиться. Все это совершенно исключено, нет смысла даже мечтать об этом.

— Какая она, твоя жена? — спросила Джулия.

— Она была… Ты знаешь выражение на новоязе *добродумный?* Это значит благонадежный от природы, неспособный на дурные мысли.

— Нет, такого выражения я не встречала, но я хорошо знаю этот тип людей.

Он стал рассказывать ей о своей женитьбе, но, как ни странно, она многое уже знала. Она описала, как каменело от его прикосновений тело Кэтрин и как Кэтрин удавалось обнимать его, одновременно отталкивая. Казалось, она видела или испытывала все это сама. Ему легко было говорить с Джулией о таких вещах. Тем более что Кэтрин давно уже была не болью, а брезгливым воспоминанием.

— Но я бы вытерпел и это, если бы не одна вещь, — сказал он.

Уинстон рассказал ей о холодном, ничтожном ритуале, который Кэтрин заставляла его соблюдать не реже одного раза в неделю.

— Она терпеть всего этого не могла, но ничто не могло ее заставить отказаться от этой церемонии. И все это она называла… Нет, ты никогда не догадаешься…

— «Наш долг перед Партией», — быстро сказала Джулия.

— Откуда ты знаешь?

— Мой милый, я ведь тоже училась в школе. Раз в месяц беседы по половому воспитанию для девушек старше шестнадцати лет. И то же самое в молодежных организациях. Они вдалбливают тебе это годами. Боюсь, что зачастую это срабатывает. Хотя, конечно, трудно сказать наверняка, — люди такие лицемеры.

И она стала распространяться на эту тему. Джулия любой вопрос переводила в конце концов на собственную сексуальность. А дойдя до этого, она была способна на поразительную проницательность. Уинстон так и не смог, а она постигла глубинный смысл сексуального пуританизма Партии. Дело, оказывается, не только в том, что половой инстинкт создает свой собственный мир, неподвластный Партии, и поэтому его следует, по возможности, уничтожить. Гораздо важнее другое — половое воздержание порождает истерию, и это очень хорошо, потому что истерию можно трансформировать в милитаристский угар, в культ вождя. Она излагала свои мысли так:

— Когда ты занимаешься любовью, ты тратишь энергию. А потом тебе хорошо и на все остальное наплевать. Допустить такое они не могут. Они хотят, чтобы тебя всегда распирало от избытка энергии. Все эти демонстрации, скандирования, размахивание флагами — просто-напросто прокисший секс. Если ты счастлив сам по себе, к чему тебе приходить в экстаз по поводу Большого Брата, Трехлетних Планов, Двухминуток Ненависти и всей их прочей дерьмовой чуши?

Так оно и есть, думал Уинстон. Вот она, глубинная связь между воздержанием и политической благонадежностью. Партии надо загнать могучий инстинкт в бутылку и использовать его как источник энергии. Иначе как еще может она поддерживать на должном уровне столь необходимые ей в членах Партии страх, ненависть и безрассудную преданность? Половой инстинкт опасен для Партии, и она это учла. Такой же трюк они проделали с родительским инстинктом. Отменить семью невозможно, поэтому людей побуждали любить своих детей почти так же, как и

прежде. С другой стороны, детей все время науськивали на родителей и учили шпионить и доносить на них. Фактически семья превратилась в филиал Полиции Мысли. В результате каждого можно было все двадцать четыре часа в сутки держать под контролем отлично знавших его доносчиков.

Он неожиданно снова вспомнил Кэтрин. Конечно, она донесла бы на него в Полицию Мысли, если бы не была слишком тупой, чтобы обнаружить его инакомыслие. Кэтрин всплыла в его памяти не случайно, — такая же влажная духота была в тот вечер одиннадцать лет назад, когда произошло, хотя точнее было бы сказать — не произошло то, о чем он решил рассказать Джулии.

Это случилось через три или четыре месяца после их женитьбы. Во время турпохода в Кенте они заблудились.

Минуты две просто шли позади всех, а затем повернули не в ту сторону и вдруг оказались на краю старого мелового карьера. Это была яма глубиною в десять — двадцать метров, с валунами на дне. Вокруг ни души, и не у кого спросить дорогу. Как только Кэтрин поняла, что они заблудились, она разволновалась. Ей стало казаться, что, оторвавшись на две-три минуты от шумной толпы туристов, они делают что-то нехорошее. Она потребовала немедленно повернуть обратно и искать группу. В этот момент Уинстон заметил пучки вербейника, растущего в расщелинах откоса. Один из пучков был двухцветный — фиолетовый и темно-красный, хотя рос от одного корня. Никогда раньше он такого не видел и позвал Кэтрин полюбоваться на чудо.

— Смотри, Кэтрин, смотри! Вон почти на самом дне цветы. Ты видишь, они разных оттенков?

Кэтрин уже отошла, чтобы идти обратно, но все же вернулась к нему, раздраженная. Она даже нагнулась над откосом и пыталась рассмотреть то, на что он показывал. Уинстон стоял позади нее. Он положил ей руку на талию, чтобы подстраховать. И в эту минуту вдруг сообразил, что они совсем одни. Вокруг ни души, листья не шевелились, не слышно птиц. В таком месте вряд ли есть микрофон, но даже если он и спрятан где-нибудь, то воспринимает лишь звуки. Шел самый жаркий, самый сонный час дня. Над ними сверкало солнце, пот катился по его лицу. И ему пришла в голову мысль…

— Что же ты не дал ей хорошего пинка? — спросила Джулия. — Я бы обязательно спихнула ее.

— Да, дорогая, ты бы спихнула. И я бы тоже, будь я таким, как теперь. Впрочем, не знаю, может быть…

— Ты жалеешь, что не спихнул?

— Да. В общем и целом жалею.

Они сидели бок о бок на пыльном полу. Он притянул ее к себе. Голова ее лежала у него на плече. Желанный запах ее волос перебивал запах голубиного помета. «Она так молода, — подумал он, — она все еще ждет чего-то от жизни, она не понимает, что сбросить со скалы неудобного человека можно, но это ничего не меняет».

— Это ничего бы не изменило, — сказал Уинстон.

— Почему же тогда ты жалеешь, что не сбросил ее вниз?

— Только потому, что предпочитаю хорошее плохому. В игре, которую мы начали, нам не выиграть. Просто из двух зол выбирают меньшее, вот и все.

Он почувствовал, как дернулись плечи девушки, не согласившейся с ним. Она всегда возражала, когда он говорил что-нибудь в этом роде. Она не признавала, что естественный порядок вещей всегда приводит к поражению отдельной личности. В общем-то она понимала, что обречена, что рано или поздно Полиция Мысли схватит и уничтожит ее, но в то же время какой-то частью разума верила, что можно все-таки создать некий тайный мирок и жить в нем, как тебе нравится. Нужны лишь везение, хитрость и смелость. Она не убедилась еще, что нет на свете такой вещи, как счастье, что победа может быть только в будущем, а оно наступит через много лет после твоей смерти, что с момента, как ты начал войну против Партии, лучше всего считать себя трупом.

— Мы мертвецы, — сказал Уинстон.

— Пока еще нет, — возразила Джулия.

— Физически нет. Еще полгода, год, может, даже пять лет. Я боюсь смерти. Ты молода, значит, должна бояться ее еще больше. Конечно, мы попытаемся отсрочить ее. Но пока люди остаются такими, какие они есть, между жизнью и смертью разницы нет…

— Чушь, чушь! С кем ты предпочитаешь спать? Со мной или со скелетом? Разве тебе не нравится быть живым? Разве тебе не нравится ощущать: это — я, это — моя рука, это — моя нога, я существую, я — плоть, я — живой! Разве тебе не нравится вот это!

Она повернулась и прижалась к нему. Он чувствовал под комбинезоном ее груди, зрелые и упругие. Ее тело словно переливало в него часть своей молодости и силы.

— Да, это мне нравится, — сказал он.

— А раз так, прекрати разговоры о смерти. И слушай, милый, нам надо обговорить, где мы встретимся в следующий раз. Можно опять поехать на наше местечко в лес. Мы уже достаточно переждали. Но в этот раз тебе придется поехать другим маршрутом. Я все спланировала. Ты поедешь на поезде, впрочем, смотри, я тебе нарисую.

Она деловито разровняла пыль и прутиком из голубиного гнезда стала чертить на полу план.

## 4

Уинстон оглядел убогую комнатку над лавкой мистера Чаррингтона. Огромная кровать у окна была застелена рваными одеялами, а вместо подушек лежал ничем не прикрытый валик. Старинные часы с двенадцатичасовым циферблатом тикали на камине. В углу, на столике с откидной крышкой, в полутьме поблескивало стеклянное пресс-папье, которое он купил в прошлый раз.

За решеткой камина стояла подержанная жестяная керосинка, кастрюлька и две чашки, одолженные мистером Чаррингтоном. Уинстон зажег фитиль и поставил кастрюлю с водой на огонь. Он принес с собой целый пакет кофе «Победа» и

несколько таблеток сахарина. Часы показывали семь двадцать, то есть девятнадцать двадцать. В девятнадцать тридцать она должна прийти.

«Глупо, глупо», — стучало его сердце; сознательная, добровольная, самоубийственная глупость. Из всех преступлений, в каких можно обвинить члена Партии, такое скрыть почти невозможно. Сама идея впервые пришла ему в голову, когда он вдруг представил себе, как красиво будет блестеть стеклянное пресс-папье на откидном столике. Как он и предполагал, уговорить мистера Чаррингтона сдать комнату было нетрудно. Тот обрадовался, что удастся заработать несколько долларов. Мистер Чаррингтон отнюдь не смутился и не проявил нескромного интереса, когда узнал, что комната нужна Уинстону для любовных свиданий. Напротив, он отвел глаза и деликатно заговорил о чем-то отвлеченном так, будто хотел стать совсем незаметным.

— Уединение, — произнес он, — очень ценная вещь. Каждому хочется иметь место, где иногда можно побыть одному. И если человек находит такое место, то другой, знающий об этом, должен держать язык за зубами — это простая вежливость. — И он исчез, успев добавить, что в доме два входа, второй — через двор, с боковой аллеи.

Под окном кто-то пел. Уинстон выглянул, прикрываясь муслиновой занавеской. Июньское солнце стояло высоко в небе, внизу на залитом светом дворе огромная женщина, крепкая, как норманнская колонна, с мускулистыми красными руками и в холщовом переднике, топталась от корыта к веревке и развешивала на просушку белые прямоугольники — пеленки, понял Уинстон. И, когда ее рот не был занят прищепками, она пела могучим контральто:

Глупо было надеяться даже,
Все прошло, как апрельские дни,
Но слова те, тот взгляд, те мечты все подряд —
Мое сердце украли они!

Эта песня, сделанная для пролов соответствующим отделением Музыкального Отдела, уже несколько недель гуляла по Лондону. Тексты вырабатывались на версификаторе без вмешательства людей. Но женщина пела так мелодично, что и глупые слова было приятно слушать. До Уинстона доносилась не только песня, но и шарканье ее туфель по булыжнику, крики ребят на улице, шум транспорта где-то вдалеке, и тем не менее, странным образом, в комнате было тихо. В ней отсутствовал монитор.

«Глупо, глупо, глупо!» — подумал он снова. Вряд ли им удастся долго пожить в этой комнате до того, как их арестуют. Но соблазн иметь собственное убежище под крышей и сравнительно недалеко был слишком велик и для него, и для нее. После свидания на церковной колокольне им никак не удавалось встретиться. По случаю приближения Недели Ненависти рабочий день резко увеличился. До нее было еще больше месяца, но колоссальная, сложная подготовка заставляла всех работать сверх нормы. Наконец им удалось получить отгул в один и тот же вечер. Они договорились поехать на поляну в лесу. Накануне встретились на несколько минут на улице. Как обычно, Уинстон не смотрел на Джулию, когда они плыли в толпе друг

к другу. Ему удалось лишь бросить на нее мимолетный взгляд, и ему показалось, что она выглядит бледнее, чем обычно.

— Все отменяется, — прошептала она, когда решила, что говорить безопасно. — Все отменяется на завтра.

— Что?

— Завтра вечером я не смогу приехать.

— Почему?

— Все потому же. В этот раз началось слишком рано. Сперва он страшно рассердился. За месяц, прошедший с начала их знакомства, все переменилось, и он желал ее совсем не так, как раньше. Поначалу в их отношениях было мало подлинного чувства, их первая близость была скорее рассудочной. Но уже со второй все пошло иначе. Запах ее волос, вкус губ, нежность кожи будто проникали в него, пропитывали воздух вокруг. Джулия стала физической необходимостью, тем, чего он не только хотел, но и считал, что имеет право хотеть. Когда она сказала, что не сможет приехать, он подумал, что она обманывает его. Но как раз в это мгновение толпа прижала их друг к другу, и руки их случайно встретились. Она быстро сжала кончики его пальцев, и этот жест пробудил не желание, а нежность. Он понял, что, когда ты живешь с женщиной, такое маленькое разочарование следует рассматривать как обычное, преходящее событие. И глубокая нежность, какой он до этого не испытывал по отношению к ней, вдруг охватила его. Ему захотелось, чтобы они были мужем и женой, женатыми уже лет десять. Захотелось пройти с ней рядом по улице, но открыто, не таясь, говорить о разных разностях и покупать всякие мелочи для дома. А больше всего он хотел, чтобы у них было свое пристанище, где они могли бы уединяться, не преследуемые каждый раз чувством, что встретились лишь для того, чтобы торопливо заняться любовью. И на другой день ему пришла в голову мысль снять комнату мистера Чаррингтона. Когда он предложил это Джулии, она удивительно быстро согласилась. Оба знали, что это безумие. Они как бы намеренно *сделали шаг к могиле.* И, сидя теперь на краю кровати, он вновь подумал о подвалах Министерства Любви. Как странно, что этот неотвратимый ужас то проникает в сознание, то покидает его. И этот ужас — его ближайшее будущее, а за ним неизбежно идет смерть, как цифра 100 обязательно следует за цифрой 99. Смерти нельзя избежать, ее можно отодвинуть, и тем не менее снова и снова люди добровольно сокращают интервал между смертью и сегодняшним днем.

Послышались быстрые шаги по ступенькам. В комнату ворвалась Джулия. В руках у нее была сумка для инструментов из грубой коричневой материи. Иногда он видел ее с такой в Министерстве. Уинстон шагнул вперед, чтобы обнять девушку, но она поспешно освободилась из его объятий.

— Минуточку, — сказала она. — Дай покажу, что принесла. Ты приволок этот дряной кофе «Победа»? Я так и думала. Можешь выбросить. Он нам не понадобится. Гляди.

Она встала на колени, открыла сумку и вытряхнула несколько ключей и отверток, находившихся сверху. Внизу лежали аккуратные бумажные пакеты. В первом пакете, который она передала Уинстону, было что-то странное, но все же туманно знакомое. Это был какой-то тяжелый песок, он рассыпался при прикосновении.

— Неужели сахар? — спросил Уинстон.

— Настоящий сахар. Не сахарин, а сахар. А вот буханка хлеба — натуральный белый хлеб, не наша мякина, и маленький горшочек джема. Вот баночка молока. И смотри — этим я действительно горжусь. Мне пришлось завернуть пакет в тряпку, потому что…

Ей не пришлось объяснять Уинстону, зачем надо было заворачивать пакет в тряпку, — аромат заполнил уже всю комнату. Густой, теплый запах, напоминавший раннее детство. И теперь иногда удавалось вдохнуть этот запах — из какого-нибудь коридора, пока не захлопывали дверь, или на оживленной улице, на секунду, пока запах не растаял.

— Кофе, — прошептал Уинстон, — настоящий кофе.

— Это кофе Внутренней Партии. Целый килограмм, — сказала Джулия.

— Как ты все это достала?

— Из запасов Внутренней Партии. У этих свиней есть все. Все. Но, конечно, официанты, слуги крадут…

Уинстон сел возле нее на корточки. Оторвал уголок пачки.

— Это настоящий чай, не листья черной смородины?

— В последнее время чай появился. Наверное, они захватили Индию или что-то в этом роде, — сказала она рассеянно. — Послушай, повернись ко мне спиной на три минутки. Поди сядь на кровать с той стороны. Только не подходи слишком близко к окну. И не оборачивайся, пока я не скажу.

Уинстон бездумно смотрел сквозь муслиновую занавеску. Внизу, во дворе, женщина с красными руками все еще ходила взад и вперед от корыта к веревке. Она вытащила изо рта еще две прищепки и пропела с глубоким чувством:

Говорят, все на свете изменит,
Все сотрет круговерть зим и лет,
Но улыбки и слезы, через годы и грозы,
Мучат сердце, которого нет.

Похоже, она знала всю эту бессмысленную песенку наизусть. Приятный летний ветерок разносил ее мелодичный, с каким-то оттенком счастливой меланхолии, голос. Казалось, она будет счастлива, если этот июньский вечер продлится вечно, запас белья не истощится тысячу лет, а она будет ходить по двору, развешивая пеленки и распевая сентиментальную чепуховину. Он отметил про себя, что ни разу не слышал, чтобы какой-нибудь член Партии пел ради собственного удовольствия или даже под влиянием порыва. Это было бы, пожалуй, не совсем благонадежно, все равно что разговаривать с самим собой. А может быть, когда люди доходят до края нищеты, у них ничего не остается, кроме песен.

— Теперь можешь повернуться, — сказала Джулия. Он повернулся и сперва даже не узнал Джулию. Он-то думал, что она разденется, но она по-прежнему была одета.

С ней произошла совсем иная метаморфоза — она накрасилась.

Очевидно, ей удалось купить полный набор косметики в какой-то лавке в пролетарском квартале. Она подкрасила губы, нарумянила щеки, припудрила нос, даже глаза стали ярче, потому что она немного подвела их. Все было сделано не

очень умело, но ведь и требования Уинстона в этом смысле были невысоки. Никогда раньше он не видел (и не думал, что увидит) партийной женщины с косметикой на лице. Джулия удивительно похорошела. Всего несколько штрихов в нужных местах — и она стала не просто красивее, а гораздо женственней. Короткие волосы и мальчишеский комбинезон даже усиливали эффект. Уинстон обнял ее и почувствовал запах синтетических фиалок, напомнивший ему полутьму подвальной кухни, беззубый рот… Духи были те же, но сейчас это не имело никакого значения.

— И духи! — сказал он.

— Да, милый, и духи. А знаешь, что я собираюсь сделать в следующий раз? Я собираюсь раздобыть настоящее женское платье и буду надевать его вместо этих паршивых брюк. И у меня будут шелковые чулки и туфли на высоких каблуках! В этой комнате я хочу быть женщиной, а не товарищем по Партии.

Они сбросили одежду и забрались в огромную кровать красного дерева. Он впервые разделся при ней. До этого он стыдился своего бледного и худого тела с варикозными венами, вздувшимися на икрах, и пятном на щиколотке. Простынь не было, но одеяло, на котором они лежали, вытерлось до гладкости, а размер кровати и упругость пружин поразили обоих. «Тут, конечно, полно клопов, впрочем, плевать», — сказала Джулия. Двухспальных кроватей давно уже никто не видел, разве что в домах пролов. В детстве Уинстон спал иногда в такой кровати, а Джулия — никогда, во всяком случае, она не помнила.

Вскоре их сморил короткий сон. Когда Уинстон проснулся, стрелки часов подбирались к девяти. Он лежал не шевелясь, потому что голова Джулии покоилась у него на руке. Почти вся косметика перекочевала на его лицо и на валик, но даже остатки румян все равно красиво оттеняли ее скулы. Золотой луч заходящего солнца освещал кровать и камин, где кипела вода в кастрюле. Внизу, во дворе, женщина больше не пела, но с улицы по-прежнему доносились крики играющих детей. Интересно, подумал он рассеянно, было ли в отмененном прошлом естественным для мужчины и женщины лежать обнаженными, вот так в постели прохладным летним вечером, любить друг друга, когда захочется, говорить, о чем хочется, и не думать, что надо вставать, — просто лежать и слушать мирный шум улицы. Неужели было такое время, когда это считалось нормальным? Джулия проснулась, протерла глаза и приподнялась на локте, чтобы посмотреть на керосинку.

— Половина воды выкипела, — сказала она. — Сейчас я встану и заварю кофе. У нас еще час. Когда отключают свет в твоем доме?

— В двадцать три тридцать.

— У нас в общежитии в двадцать три. Но надо возвращаться раньше, потому что… Эй! Убирайся, поди прочь, грязная скотина!

Она вдруг перегнулась, схватила с пола свой ботинок и с силой, по-мальчишески, швырнула его в угол, точно так, как во время Двухминутки Ненависти бросила словарь в лицо Гольдштейна на экране монитора.

— Ты чего? — спросил он удивленно.

— Там крыса. Я увидела, как она высунула свой поганый нос из-за панели. Там дыра. Но я ее хорошо пуганула.

— Крысы! — прошептал Уинстон. — В этой комнате!

— Да они везде, — ответила Джулия равнодушно и снова легла. — У нас в общежитии на кухне завелись. Некоторые районы кишмя кишат крысами. Знаешь ли ты, что они нападают на маленьких детей? Да-да. На некоторых улицах матери боятся оставить ребенка одного даже на пару минут. Нападают такие огромные, бурые. А самое паршивое, что крысы всегда…

— *Замолчи!* — крикнул Уинстон, крепко зажмурившись.

— Миленький, да ты совсем белый! Что случилось? Тебя от них тошнит?

— Самое отвратительное на свете — крыса!

Джулия прижалась к нему, обняла, будто хотела теплом своего тела успокоить его. Но он не сразу открыл глаза. На несколько мгновений ему почудилось, что он видит тот самый кошмарный сон, который его преследует всю жизнь. Всегда один и тот же: он стоит перед стеной мрака, а за ней нечто невыносимое, нечто такое жуткое, на что невозможно даже взглянуть. В этом сне его больше всего поражало то, как он всегда обманывал себя, потому что, в сущности, знал, что скрывается за стеной мрака. Да, он всегда просыпался, так и не поняв, что это было, но каким-то образом все было связано с тем, о чем говорила сейчас Джулия.

— Прости меня, — сказал он, — ничего страшного. Просто я не люблю крыс, и все.

— Не бойся, дорогой, у нас здесь этих грязных тварей не будет. Сегодня перед уходом я заткну дыру тряпкой, а в следующий раз принесу немного алебастра и заделаю ее как следует.

Панический ужас проходил. Чувствуя себя пристыженным, Уинстон сел, прислонясь к изголовью кровати. Джулия встала, натянула свой комбинезон и заварила кофе. От кастрюли пошел такой запах, что они закрыли окно: вдруг кто-нибудь на улице унюхает и заинтересуется, откуда он взялся. Вкусный кофе стал еще вкуснее от сахара, о котором Уинстон почти забыл за долгие годы употребления сахарина. Засунув одну руку в карман, а в другой держа кусок хлеба, намазанный джемом, Джулия бродила по комнате. Она безразлично взглянула на книжный шкаф, прикинула, как лучше починить откидной столик, посидела в кресле, чтобы посмотреть, насколько оно удобное, со снисходительной улыбкой поглядела на нелепые часы с двенадцатичасовым циферблатом. Потом поднесла стеклянное пресс-папье к окну, чтобы получше рассмотреть его. Он взял пресс-папье у нее из рук, завороженный, как всегда, чистым, как дождевая капля, стеклом.

— Как ты думаешь, что это такое? — спросила Джулия.

— Да ничего, безделушка. Поэтому она мне и нравится. Это кусочек истории, который они забыли изменить. Это письмо из прошлого века. Но некому его прочесть.

— А эта картина, — она показала на офорт, — ей тоже лет сто?

— Больше. Вероятно, лет двести. Впрочем, трудно сказать. Сегодня невозможно определить возраст чего бы то ни было.

Она подошла поближе к гравюре.

— Отсюда высунулась крыса, — сказала она, ткнув ногой в переборку под картиной. — Что это за место? Я где-то его видела.

— Это церковь, во всяком случае, раньше это была церковь. Она называлась церковь Святого Клементина Датского. — Он вспомнил обрывок стихотворения,

которое прочел ему мистер Чаррингтон, и добавил ностальгически: — «Лимоны и мандарины, лимоны и мандарины, поют колокола Святого Клементина!»

К его изумлению, она подхватила:

Вы должны нам три фартинга, вы должны нам три фартинга,
говорят колокола Святого Мартина.
Когда вы отдадите, когда вы отдадите? — спрашивают колокола
Оулд Бейли из Сити…

— Я не помню, как дальше. Но я помню конец: *«Вот свечка вам на ночь — давайте зажжем. А вот и палач ваш, палач с топором!»*

Это походило на две половинки пароля. Но должна быть еще строчка после «колоколов Оулд Бейли из Сити». Быть может, ее удастся выудить из памяти мистера Чаррингтона, если помочь ему вспомнить.

— Кто научил тебя этим стихам? — спросил Уинстон.

— Мой дедушка. Он читал их мне, когда я была маленькой девочкой. Его испарили, когда мне было восемь. Во всяком случае, он исчез. Интересно, что такое лимон? — добавила она совершенно без связи. — Апельсины и мандарины я видела. Это такие круглые желтые фрукты с толстой кожей.

— Я помню лимоны, — сказал Уинстон. — В пятидесятых они еще были. Такие кислые, что зубы сводило от одного их запаха.

— За картиной, наверное, полно клопов, — сказала Джулия. — Я как-нибудь сниму ее и хорошенько почищу. По-моему, нам пора идти. Надо стереть косметику. А жаль! Я проверю потом, чтобы и на тебе не осталась помада.

Еще несколько минут Уинстон лежал в кровати. Сумерки сгущались. Он повернулся к свету и рассматривал пресс-папье. Магически притягательным в этой вещице был не коралл, а само стекло. В нем была удивительная глубина, и в то же время оно было почти таким же прозрачным, как воздух. Стекло напоминало небосвод, заключающий крошечный мир. Ему грезилось, что он может оказаться в этом мире или уже оказался там вместе с этой кроватью красного дерева, с этим раскладным столиком, с часами, и офортом, и самим стеклянным пресс-папье. Пресс-папье — это комната, в которой он находился, а коралл — жизнь Джулии и его самого, сохраненная навечно в центре прозрачного кристалла.

## 5

Сайм исчез. Однажды утром он не вышел на работу, и все. Несколько неосторожных людей заметили это. Но на следующий день никто уже не вспоминал о Сайме. На третий день Уинстон спустился в вестибюль Исторического Отдела взглянуть на доску объявлений. В одном из объявлений был список членов Шахматного Комитета. Сайм состоял в этом Комитете. Список почти не отличался от того, каким он был раньше, ничего не было зачеркнуто, но он стал на одну фамилию

короче. И этого было довольно. Сайма больше не существовало — его не существовало никогда.

Стояла жаркая погода. В лабиринте Министерства, в комнатах без окон, кондиционер поддерживал нормальную температуру, но на улице асфальтовые тротуары обжигали ноги, а вонь в метро в часы «пик» была нестерпимой. Подготовка к Неделе Ненависти шла полным ходом, и сотрудники всех Министерств работали сверхурочно. Надо было организовать манифестации, митинги, военные парады, лекции, выставки восковых фигур, кинофестивали, программы монитора. Надо было сколотить трибуны, нарисовать портреты, сформулировать лозунги, написать песни, распространить слухи, подделать фотографии. Бригада Художественного Отдела, в которой работала Джулия, была переброшена с романов на производство памфлетов о жестокостях противника. Уинстон в дополнение к своей основной работе тратил ежедневно много часов на просмотр старых подшивок «Таймс». Он подбирал, менял и подгонял факты, которые понадобятся для цитирования в различных речах во время Недели Ненависти. Поздними вечерами, когда шумные толпы пролов заполняли улицы, город жил лихорадочной жизнью. Чаще, чем обычно, падали ракетные бомбы, а порой где-то вдалеке раздавались очень сильные взрывы, причину которых никто не мог объяснить, что порождало дикие слухи.

Уже сочинили песню, которая должна стать главной песней Недели Ненависти (ее назвали Песня Ненависти). Ее без конца гоняли по монитору. Лающий, варварский ритм песни вряд ли можно было назвать музыкой, но, когда ее орали сотни глоток под топот марширующих ног, становилось страшно. Пролам она очень понравилась, и на полуночных улицах ее пели наравне со все еще популярной «Глупо было надеяться даже». Дети Парсонсов днем и ночью наигрывали Песню Ненависти на расческе, и это было невыносимо. Все вечера Уинстона оказались теперь заняты. Бригады добровольцев, организованные Парсонсом, готовили улицу к Неделе Ненависти. Они шили знамена, рисовали плакаты, укрепляли флагштоки на крышах и, рискуя жизнью, натягивали проволоку через улицу для подвешивания вымпелов. Парсонс хвастался, что только на флаги и транспаранты для Дома Победы пошло четыреста метров материи. Он попал в свою стихию и был счастлив, как жаворонок. Под предлогом жары и физической работы он опять стал щеголять по вечерам в шортах и рубашке с короткими рукавами. Парсонс сновал повсюду — что-то толкал, что-то тянул, пилил, приколачивал, импровизировал, пытался развеселить всех и каждого, дружески подбадривал, и все поры его тела, казалось, источали нескончаемые запасы острого, едкого пота.

Неожиданно по всему Лондону расклеили новый плакат. Никаких надписей, лишь гигантская чудовищная фигура евразийского солдата, высотой три-четыре метра. Солдат с непроницаемым монгольским лицом, в огромных сапогах, шагал впереди с автоматом наперевес. Откуда бы вы ни смотрели на плакат, дуло автомата всегда было направлено прямо на вас. Плакаты развесили везде, где только можно, их оказалось даже больше, чем портретов Большого Брата. Пролов, обычно равнодушных к войне, пытались довести до очередного припадка патриотизма. И, будто в унисон общему настроению, ракетные бомбы убивали теперь больше людей, чем раньше. Одна из них попала в переполненный кинотеатр в Степни, похоронив в

руинах несколько сотен человек. Все население прилегающих кварталов вышло на похороны, которые продолжались несколько часов и переросли в митинг негодования. Другая бомба разорвалась на пустыре, где играли дети, и несколько десятков детей были разорваны в клочья. Последовали новые гневные демонстрации, было сожжено чучело Гольдштейна, сорваны со стен и также сожжены сотни плакатов с изображением евразийского солдата, в общей суматохе разграбили несколько магазинов. Потом распространился слух, что это шпионы наводят ракетные бомбы радиосигналами на цели. Дом четы стариков, которых заподозрили в том, что они иностранцы, подожгли, и оба задохнулись в дыму.

Джулия и Уинстон, когда им удавалось попасть в комнату над лавкой мистера Чаррингтона, раздевались из-за жары догола и лежали на кровати у распахнутого окна. Крыса больше не появлялась, однако клопы страшно расплодились. Но это не имело значения. Грязная или чистая, комната все равно была для них раем. Приходя, они первым делом посыпали все вокруг перцем, купленным на черном рынке, срывали одежду, занимались любовью, а после, изнемогшие, обливаясь потом, проваливались в сон.

Увы, проснувшись, они обнаруживали, что клопы, собрав подкрепление, вновь готовятся к контратаке.

Четыре, пять, шесть или семь свиданий было у них в июне. Уинстон перестал пить джин в любое время дня — его больше не тянуло. Он пополнел, варикозная язва почти зарубцевалась, остался лишь коричневатый шрамик на щиколотке, приступы кашля по утрам больше не мучили его. Жизнь уже не казалась невыносимой, его уже не подмывало, как раньше, скорчить рожу монитору или громко выругаться. Теперь, когда у них появилось надежное пристанище, почти дом, редкие и недолгие встречи не казались таким уж трудным испытанием. Главное, есть комната над лавкой старьевщика. Знать, что она все еще существует, было почти то же, что находиться в ней. Комната стала их миром, заповедником прошлого, где сохранились вымершие животные. И мистер Чаррингтон, думал Уинстон, тоже вымершее животное. Обычно по дороге наверх он останавливался, чтобы поболтать с ним пару минут. Казалось, что старик очень редко выходит на улицу, а может, и вовсе не выходит. Практически покупатели к нему не заглядывали. Он жил как призрак, проводя время то в маленькой темной лавке, то в еще более маленькой кухоньке, где он готовил себе еду и где помимо всего прочего стоял невероятно древний граммофон с огромной трубой. Мистер Чаррингтон всегда был рад поболтать. Он бродил меж своих никому не нужных вещей, с длинным носом, в очках с толстыми стеклами, с опущенными плечами, в вельветовом пиджаке, и напоминал скорее коллекционера, чем продавца. С угасающим энтузиазмом он показывал что-нибудь из своего хлама — фарфоровую пробку для сосуда, расписную крышку сломанной табакерки, латунный медальон с прядью волос давным-давно умершего младенца… Мистер Чаррингтон никогда не предлагал Уинстону что-нибудь купить, он просто хотел, чтобы его вещами кто-нибудь любовался. Его речь напоминала звон колокольчиков допотопного музыкального ящика. Из закоулков своей памяти он извлек еще несколько строк забытых стихов. Про двадцать четыре дрозда, про корову с кривым рогом, про смерть бедной малиновки. «Я подумал, вам

будет интересно», — говорил он, как бы посмеиваясь над собой, и читал новый отрывок. К сожалению, он никогда не помнил более двух-трех строчек.

И Уинстон, и Джулия знали — вернее, это никогда не выходило у них из головы, — что так долго продолжаться не может. Бывали минуты, когда грозящая им смерть казалась такой же осязаемой, как кровать, на которой они лежали, и они прижимались друг к другу в отчаянии, подобно грешнику, который жадно хватает последнюю кроху наслаждения за пять минут до рокового удара часов. Но иногда им казалось, что они в безопасности и это продлится вечно, что с ними не случится ничего плохого, пока они в этой комнате. Сюда было трудно и опасно добираться, но сама комната — надежное убежище. Это было примерно такое же ощущение, которое испытал Уинстон, когда, разглядывая свое пресс-папье, думал, что можно войти в тот стеклянный мир и остановить время. Иногда они грезили, что им будет везти всегда и они смогут жить этой двойной жизнью до конца своих дней; или умрет Кэтрин, и с помощью различных хитрых уловок Уинстон и Джулия смогут пожениться; или они вместе покончат с собой; или же скроются, изменят внешность, научатся говорить, как пролы, найдут себе работу на фабрике и проживут оставшиеся годы где-нибудь в глухом переулке, где их никогда не найдут. Но все это было, конечно, несерьезно, и оба это понимали. Выхода не было, но им не очень хотелось приводить в исполнение единственный осуществимый план — самоубийство. День за днем, неделю за неделей они раскручивали настоящее, у которого нет будущего, потому что их толкал вперед непреодолимый инстинкт: ведь жить — это так же естественно, как вдыхать легкими воздух до тех пор, пока он есть на свете.

А иногда они говорили о том, что надо включиться в активную борьбу против Партии, но у них не было ни малейшего понятия о том, как сделать первый шаг. Даже если легендарное Братство действительно существует, как найти к нему дорогу? Уинстон рассказал Джулии о странных отношениях, которые установились (или казалось, что установились) между ним и О’Брайеном, о том, что иногда его просто тянет пойти к О’Брайену, признаться, что он враг Партии, и попросить о помощи. Как ни странно, Джулии это не казалось невозможной глупостью. Она привыкла судить о людях по выражению их лиц, и ей казалось естественным, что по мимолетному взгляду О’Брайена Уинстон мог понять, что тот заслуживает доверия. Более того, она считала само собой разумеющимся, что втайне все или почти все ненавидят Партию и не будут следовать ее правилам, если, с их точки зрения, это не сопряжено с опасностью. Но она не верила, что существует или может существовать широкая и организованная оппозиция. Россказни о Гольдштейне и целой подпольной армии, говорила она, просто чушь, все это придумала сама Партия в собственных интересах, и всем приходится притворяться, что они верят в эту чушь. Бесконечное число раз на партийных собраниях и стихийных демонстрациях она что было силы кричала и требовала смертной казни для людей, чьих имен никогда раньше не слышала, в чьи преступления нисколько не верила. Когда шли публичные процессы, она всегда стояла в отрядах Молодежной Лиги, с утра до ночи окружавших здание суда и скандировавших: «Смерть предателям!» Во время Двухминуток Ненависти она громче всех кричала разные оскорбления в адрес Гольдштейна. И тем не менее у нее было весьма смутное представление о том, кто такой Гольдштейн и в

чем суть его учения. Она выросла после Революции и не могла помнить идеологических баталий пятидесятых и шестидесятых годов. Поэтому она не могла даже вообразить, что может быть независимое политическое движение. Партию победить невозможно. Партия всегда будет на свете и никогда не изменится. И восставать против Партии можно лишь тайным неповиновением, самое большее — путем отдельных актов террора и саботажа.

В каком-то отношении она была гораздо проницательнее Уинстона и гораздо меньше восприимчива к партийной пропаганде. Однажды, когда Уинстон походя упомянул войну с Евразией, Джулия небрежно заметила, крайне удивив его, что, по ее мнению, никакой войны не было и нет. А ракетные бомбы, которые каждый день падают на Лондон, скорее всего, запускаются по приказу правительства самой Океании, «чтобы держать людей в страхе». Уинстону подобная мысль никогда не приходила в голову. И он даже позавидовал Джулии, когда она призналась, что во время Двухминуток Ненависти ей стоит больших усилий не расхохотаться. Впрочем, она ставила под сомнение учение Партии лишь в тех случаях, когда оно так или иначе задевало ее интересы. Очень часто она была готова поверить официальной мифологии просто потому, что разница между правдой и ложью не казалась ей существенной. Например, она верила, что Партия, как учили ее в школе, изобрела самолеты. (Уинстон помнил, что в его бытность в школе говорилось, что Партия изобрела лишь вертолеты; через десяток лет, в школьные годы Джулии, стали уже говорить о самолетах; еще через поколение, подумал Уинстон, Партии припишут изобретение паровоза.) Но когда он сказал Джулии, что самолеты были изобретены еще до его рождения и задолго до Революции, Джулию это совершенно не заинтересовало. В конце концов, какая разница, кто изобрел самолет? Гораздо больше его задело, что Джулия совершенно не помнила, как четыре года назад Океания воевала против Востазии и была в мире с Евразией. Войну она считала придуманной, но все-таки как можно не заметить подмены противника? «Я думала, мы всегда воевали с Евразией», — рассеянно сказала она. Это немного напугало Уинстона. В конце концов, самолеты изобрели за много лет до ее рождения, а смена противника в войне произошла всего четыре года назад, когда она была уже взрослой. Он проспорил с ней по этому поводу около четверти часа. С трудом она припомнила, что вроде бы когда-то врагом действительно была Востазия, а не Евразия. Но это по-прежнему казалось ей несущественным. «Ну и что? — сказала она раздраженно. — Все время одна паршивая война за другой, и все, что о них говорят, — ложь».

Иногда он рассказывал ей об Историческом Отделе и о фальсификациях, которыми он занимается. Увы, это ничуть не пугало ее. И земля не покачнулась под ногами при мысли о том, что ложь выдают за правду. Он рассказал ей также о Джонсе, Аронсоне, Рузерфорде и о клочке газеты, который минуту держал в руках. Но и это не произвело на нее впечатления. Сначала она даже не поняла, что он хочет сказать.

— Они были твоими друзьями? — спросила она.

— Нет. Мы не были знакомы. Они были членами Внутренней Партии. Кроме того, они были намного старше меня. Они были из дореволюционного поколения. Я и узнал-то их с трудом.

— Тогда что же ты переживаешь? Людей все время убивают. Разве не так?

Он постарался объяснить ей:

— Это особый случай. Главное не в том, что кого-то убили. Разве ты не понимаешь, что все прошлое, начиная со вчерашнего дня, фактически уничтожено? А если и сохранилось где-то, то лишь в немногих материальных предметах вроде этого стеклянного пресс-папье. Но предметы бессловесны. Уже теперь мы практически ничего не знаем о Революции. Все документы уничтожены или подделаны, все книги и картины переписаны, все памятники, улицы, здания переименованы, все даты изменены. И это делается ежедневно, ежеминутно. История остановилась. Нет ничего, кроме бесконечного настоящего, где Партия всегда права. Конечно, я *знаю,* что прошлое подделано, но у меня никогда не будет возможности доказать это, хотя я сам участвую в фальсификации. После подделки не остается никаких вещественных доказательств. Доказательства есть только в моем мозгу, но я не знаю наверняка, что кто-нибудь еще запомнил то же самое, что известно мне. Только однажды, единственный раз в жизни, я держал в руках вещественное доказательство подлога *после* того, как произошло событие, много лет спустя после события.

— И что это дало?

— Ничего, потому что я через несколько минут уничтожил тот клочок газеты. Но если бы такое случилось сегодня, я сохранил бы его.

— А я нет, — сказала Джулия. — Я готова рисковать, но ради чего-то действительно стоящего, а не из-за обрывка старой газеты. Ну, сохранил бы ты его, и что ты мог с ним сделать?

— Вероятно, немного. Но это было вещественное доказательство. Оно могло бы посеять сомнения, если бы я решился кому-нибудь его показать. Я не думаю, что мы можем что-то изменить в нашей собственной судьбе. Но можно представить себе возникновение хотя бы отдельных очагов сопротивления — небольших групп людей, которые сплотятся вместе, будут расти, оставят какие-то свидетельства своей деятельности, а следующее поколение начнет там, где мы кончили.

— Милый мой, меня совершенно не интересует следующее поколение. Мне важно, что будет *с нами.*

— Ты мятежница только ниже пояса, — бросил ей Уинстон.

Джулия нашла эти слова чрезвычайно остроумными и в восторге бросилась в его объятия.

К партийным доктринам она не испытывала ни малейшего интереса. Как только он принимался говорить о принципах Ангсоца, двоемыслии, изменяемости прошлого или отрицании объективной реальности и переходил на новояз, ей сразу же становилось скучно, она смущалась и говорила, что никогда этим не занималась. Ведь всем известно, что все это чушь, — так зачем терзать себя этим? Она хорошо знала, когда нужно кричать «ура», а когда улюлюкать, и этого вполне достаточно. А если Уинстон продолжал говорить на эти заумные темы, Джулия просто-напросто засыпала. Она была из тех, кто может заснуть в любое время и в любом положении. В разговорах с ней Уинстон понял, как легко изображать правоверность, не имея ни малейшего понятия о том, что значит быть правоверным.

В каком-то смысле мировоззрение Партии лучше всего усваивают люди, неспособные понять его. Их можно заставить принять самые вопиющие искажения реальной действительности, потому что они не осознают чудовищности того, что от них требуют, и никогда всерьез не интересуются событиями общественной жизни, не замечают, что творится вокруг. Они не сходят с ума именно потому, что ничего не понимают. Они просто все проглатывают, но проглоченное не приносит им вреда, скользя бесследно сквозь сознание, как не оставляет следа в желудке птицы заглоченное и непереваренное зернышко.

## 6

Наконец-то это случилось. Вот он, долгожданный знак. Он ждал его, кажется, всю жизнь.

Уинстон шел по длинному коридору Министерства и примерно в том месте, где Джулия сунула ему в руку записку, почувствовал по грузным шагам за спиной, что кто-то нагоняет его. Человек тихо кашлянул, словно приглашая к разговору. Уинстон резко остановился и обернулся. Перед ним был О'Брайен.

Наконец-то они стояли лицом к лицу, хотя единственным желанием Уинстона было пуститься наутек. Сердце гулко стучало в груди. Он не мог говорить. О'Брайен, не останавливаясь, дружески тронул Уинстона за руку, и теперь они шли рядом. Он заговорил с той особенной серьезностью и учтивостью, которая отличала его от большинства членов Внутренней Партии.

— Я давно искал случая поговорить с вами, — начал он. — Позавчера я читал в «Таймс» одну из ваших статей на новоязе. У меня впечатление, что вы проявляете к новоязу научный интерес.

Уинстон постепенно приходил в себя.

— Вряд ли можно говорить о научном интересе, — ответил он. — Я всего лишь любитель и никогда не занимался новоязом.

— Вы очень изящно пишете на новоязе, — сказал О'Брайен. — И это не только мое мнение. Недавно я говорил с вашим другом, который, безусловно, специалист в этой области. К сожалению, я не могу сейчас припомнить его имени.

Сердце Уинстона снова ёкнуло. Эти слова могли относиться только к Сайму. Но Сайм не просто умер, он был отменен, такого человека не было. И любое, конкретное упоминание о нем смертельно опасно. Конечно, замечание О'Брайёна — сигнал, пароль. И теперь они соучастники, оба повинны в преступном мышлении. Они все еще медленно шли по коридору. Наконец О'Брайен остановился. Он поправил очки на носу своим забавным обезоруживающим жестом и сказал:

— Я хотел вам сказать, что в той статье, на которую я обратил внимание, вы употребили два слова, которые устарели. Правда, устарели недавно. Вы видели десятое издание словаря новояза?

— Нет, — ответил Уинстон. — Я полагал, что оно еще не вышло. В Историческом Отделе мы все пока пользуемся девятым.

— Десятое издание появится еще через несколько месяцев. Но несколько сигнальных экземпляров уже есть. Один из них — мой. Возможно, вам будет интересно взглянуть на него?

— Да, очень интересно, — ответил Уинстон, сразу сообразив, куда клонит О'Брайен.

Там есть любопытные вещи, например сокращение числа глаголов. Минуточку, не прислать ли мне вам словарь с посыльным? Впрочем, я всегда забываю о таких вещах. Быть может, вы зайдете ко мне на квартиру за ним? Да? Тогда я напишу вам мой адрес.

Они стояли напротив монитора. Рассеянным жестом О'Брайен похлопал себя по карманам, достал записную книжку в кожаной обложке и ручку с золотым пером. Прямо под экраном, повернувшись так, что любой, кто наблюдал за ними, мог даже прочесть написанное, О'Брайен начертал на листке адрес, вырвал его из книжки и протянул Уинстону.

— Обычно я вечерами дома, — сказал он. — А если меня не будет, словарь даст слуга.

Он ушел, а Уинстон остался с бумагой в руке, но на этот раз листок не нужно было прятать. Тем не менее Уинстон заучил адрес наизусть, а через несколько часов выбросил листок в дыру памяти вместе с другими ненужными бумагами.

Разговор длился минуты две, не больше. Истолковать его можно однозначно: все это придумано для того, чтобы Уинстон узнал адрес О'Брайена. Только так и можно узнать, кто где живет. Никаких адресных книг не было и в помине. «Если захочешь увидеть меня, приходи по этому адресу» — вот что сказал ему О'Брайен. Возможно, в словаре будет спрятана записка. Одно, во всяком случае, ясно: тайная организация, о которой мечтал Уинстон, существует и он подошел к ней вплотную.

Он знал, что рано или поздно откликнется на призыв О'Брайена. Может, сделает это завтра, может быть, неизвестно когда, сейчас трудно сказать. Это лишь логическое завершение процесса, начавшегося давным-давно. Первым шагом была тайная неотступная мысль, вторым — дневник. Он двигался от мысли к словам, а теперь от слов — к делу. Последний шаг — то, что произойдет в Министерстве Любви. Он готов к этому. Начало заключало в себе конец. Но все-таки страшно — он ощутил привкус смерти, почувствовал, что жизнь ускользает. Уже во время разговора с О'Брайеном, когда до него медленно доходил смысл слов, его тело охватила холодная дрожь — как будто он ступил в сырую могилу. И не легче было от того, что он всегда знал: могила рядом, она ждет его.

## 7

Уинстон проснулся в слезах. Джулия сонно повернулась к нему, невнятно пробормотала:

— Что случилось?

— Мне снилось… — начал он и остановился. Словами это трудно выразить. Был сон, и были воспоминания, возникшие сразу же после пробуждения.

Он лежал с закрытыми глазами все еще во власти видений. В этом длинном и светлом сне его жизнь, казалось, развернулась перед ним так явственно, будто ландшафт в летний вечер после дождя. И все происходило внутри стеклянного пресс-папье: поверхность стекла превратилась в небосвод, а под куполом его разливался ясный, мягкий свет, и было видно далеко-далеко. Сон как-то связан был с одним движением руки его матери, точно таким же, какое он увидел в кино через тридцать лет; таким же движением еврейка защищала от пуль маленького мальчика, прежде чем вертолеты разнесли обоих на куски.

— Ты знаешь, — сказал Уинстон, — до этой минуты я думал, что убил свою мать.

— Разве ты убил ее? — сонно спросила Джулия.

— Да нет. Ты не поняла…

Во сне он вспомнил мать, какой видел ее в последний раз, а проснувшись, вдруг ясно увидел мельчайшие подробности того дня. Все, что многие годы старался не вспоминать. Трудно сказать, когда это случилось. Ему было лет десять, самое большее — двенадцать.

Отец его исчез чуть раньше, он точно не помнил когда. Гораздо ярче врезались в память паника от воздушных налетов, бомбоубежища в метро, груды руин, невразумительные объявления, расклеенные на перекрестках, отряды молодых людей в одноцветных рубашках, огромные очереди у булочных, отдаленная непрекращающаяся пулеметная стрельба. А главное — вечное чувство голода. Он помнил, как длинными вечерами вместе с другими мальчишками рылся в мусорных баках и на помойках. Они собирали капустные листья, картофельную шелуху, иногда попадались даже черствые хлебные корки, с которых они тщательно соскребали золу. Мальчишки подкарауливали грузовики, перевозившие корм для скота. Когда грузовики подбрасывало на выбоинах, на землю падали иногда кусочки жмыха.

Когда исчез отец, мать не удивилась, не было и бурных проявлений горя, просто вся она как-то переменилась. Казалось, жизнь ушла из нее. Даже Уинстону было ясно: она ждет чего-то, что неминуемо случится. Как и раньше, мать стряпала, стирала, штопала, стелила постель, мела полы, чистила камин — только все очень медленно, без лишних движений, как заводная кукла. Ее большое красивое тело как будто застыло. Часами она неподвижно сидела на кровати и нянчила сестренку Уинстона — крошечного, болезненно-тихого ребенка двух-трех лет, с таким худеньким лицом, что оно смахивало на мордочку обезьянки. Изредка она молча обнимала Уинстона и надолго прижимала к себе. Несмотря на свою молодость и эгоизм, он понимал ее невысказанное предчувствие чего-то надвигающегося.

Он помнил комнату, в которой они жили, темную, душную. Почти половину ее занимала кровать, покрытая белым стеганым одеялом. В камине на решетке стояла газовая горелка, а над камином — полка для хранения еды. На лестничной площадке была коричневая фаянсовая раковина на несколько семей. Он помнил, как мать, склонившись над газовой горелкой, помешивала что-то в кастрюле. Но еще сильнее запомнился вечный голод, яростные стычки из-за какой-то еды. Он без конца изводил мать вопросами, почему так мало пищи, плакал и скандалил (Уинстон помнил даже интонации своего голоса, который начал ломаться раньше времени и порой давал петуха) или принимался хныкать, чтобы выклянчить побольше.

Мать и так считала естественным, что он, «мальчик», должен получать самую большую порцию. Но сколько бы она ему ни положила на тарелку, он требовал еще. Каждый раз она умоляла его не быть эгоистом и помнить, что его сестренка больна и ей тоже нужна еда, но эти мольбы на него не действовали. Как только она заканчивала раскладывать еду, он начинал яростно кричать, пытался вырвать из ее рук ложку и кастрюлю, хватал куски с тарелки сестры. Он понимал, что заставляет голодать мать и сестру, но ничего не мог поделать с собой. Он даже считал, что имеет право так поступать. Казалось, голодные спазмы оправдывали все. И если матери не было поблизости, он воровал съестное из скудных запасов на полке.

Однажды выдали шоколад, впервые за несколько недель или даже месяцев. Он хорошо запомнил тот драгоценный маленький кусочек шоколада — плитку в две унции (в то время еще меряли унциями). Было совершенно очевидно: ее надо делить на три части. И вдруг Уинстон будто со стороны услышал свой собственный крик, требующий, чтобы ему отдали всю плитку. «Нельзя быть таким жадным», — сказала мать. Дальше вспоминать ужасно: ругань, крики, хныканье, слезы, увещевания, попытки торговаться. Его маленькая сестренка, совсем как обезьянка, прижалась к матери, обхватила ее и смотрела на Уинстона из-за материнского плеча большими печальными глазами. В конце концов мать отломила три четверти плитки и протянула Уинстону, а оставшийся кусочек дала сестре. Малышка взяла свою дольку и послушно разглядывала ее, наверное даже не зная, что это такое. С минуту Уинстон стоял и наблюдал за ней. Затем одним прыжком он подлетел к сестре, выхватил из ручонки шоколад и побежал к дверям. «Уинстон, Уинстон! — кричала мать ему вслед. — Вернись! Отдай шоколад сестре!» Он остановился, но не вернулся. Тревожные и молящие глаза матери смотрели в его лицо. Сестренка, поняв, что ее обидели, тихо заплакала. Мать обняла девочку и прижала к груди. Что-то в этом жесте матери подсказало ему, что сестра умирает. Он развернулся и бросился вниз по лестнице с липким шоколадом в руке.

Никогда больше Уинстон не видел матери. Проглотив шоколад, стыдясь себя, он несколько часов слонялся по улицам, пока голод не погнал его домой. Когда он вернулся, матери не было, она исчезла. В то время подобные исчезновения становились уже нормой. В комнате все оставалось на своих местах, но матери и сестры не было.

Они не взяли одежды, даже пальто мамы висело на месте. И до сегодняшнего дня он не знал наверняка, умерла ли его мать. Вполне вероятно, что ее сослали в лагерь. А что касается сестры, то, возможно, как и самого Уинстона, ее поместили в колонию для бездомных детей (их называли Исправительные Центры), которых в результате гражданской войны стало так много. А может быть, ее вместе с матерью отправили в лагерь или просто бросили где-нибудь умирать.

Сон все еще жил в памяти, особенно — прикрывающий, защищавший жизнь жест руки, в котором и заключалось все. Он напомнил другой сон, который привиделся месяца два назад. Точно так же сидела мать с прильнувшим к ней ребенком на руках, только не на кровати, а на тонущем корабле, где-то далеко внизу, и, погружаясь все глубже и глубже, она неотрывно смотрела на него сквозь сгущающийся сумрак водяной толщи.

Уинстон все рассказал Джулии: и про шоколад, и про исчезновение матери. Не открывая глаз, она повернулась на другой бок и устроилась поудобнее.

— Я думаю, что ты был маленькой, отвратительной свиньей, — невнятно пробормотала она. — Все дети — свиньи.

— Да, но в действительности история…

Увы, по дыханию он понял: она опять заснула. А Уинстону хотелось поговорить о матери. Насколько он помнил, его мать была обыкновенной, не очень образованной женщиной. Но в ней было какое-то благородство, нравственная чистота, просто потому что она имела свое представление о нормах поведения. Ее чувства были неподвластны чужому влиянию. Ей даже не приходило в голову, что дело, бесполезность которого кажется очевидной, лишено смысла. Такие если любят кого, значит, любят, и даже когда ничем не могут помочь, у них есть последнее средство — любовь. Когда исчез остаток шоколада, мать прижала ребенка к груди. Безнадежная, ничего не дающая ласка — она не могла заменить шоколад, отвратить гибель ребенка или ее собственную смерть, но мать сделала то, что было естественным для нее. И женщина-беженка в лодке поступила так же, хотя ее рука способна защитить ребенка от пуль не больше, чем бумажный лист. Да, партии удалось добиться ужасного: она вдолбила в твое сознание, что простые человеческие чувства, душевные порывы сами по себе ничего не значат, и в то же время лишила тебя всякой власти и влияния в мире материальном. С того самого момента, когда Партия подчиняет тебя, уже неважно, чувствуешь ты что-нибудь или нет, делаешь что-либо или не хочешь делать. Что бы там ни было, ты становишься величиной бесконечно малой, и ни ты сам, ни твои деяния никто и никогда не услышит и не увидит. Ты просто изъят из потока истории. И ведь лишь каких-то два поколения назад людям это не показалось бы таким уж сверхважным, потому что они и не ставили перед собой цели изменить историю. Они руководствовались личной привязанностью, не ставя ее под сомнение. Для них были важны отношения между людьми, поэтому и ободряющий жест, и объятие, и слезы, и прощальное слово умирающему были самоценны. Пролы, вдруг дошло до него, остались такими. Они хранили не преданность Партии, стране или идее, а верность друг другу. Впервые в жизни он думал о пролах без презрения, не просто как об инертной силе, которая когда-нибудь воспрянет и возродит мир. Пролы остались людьми. Они не ожесточились. Они сохранили исконные человеческие чувства, возвращение которых дается ему огромным усилием. И, размышляя так, вроде бы без всякой связи он вспомнил, как несколько недель назад, увидев оторванную руку на тротуаре, столкнул ее ногой на мостовую, как капустную кочерыжку.

— Пролы — люди, — сказал он вслух. — А мы не люди.

— Почему же? — спросила Джулия, которая снова проснулась.

Уинстон немного подумал.

— Тебе никогда не приходило в голову, что самое лучшее для нас было бы уйти отсюда, пока не поздно, и никогда больше не встречаться?

— Да, милый, я думала об этом не раз. Но я все равно не сделаю этого.

— Пока нам везет, — сказал он, — но долго так продолжаться не может. Ты молода. Выглядишь благонадежной, и по тебе не скажешь, что ты в чем-нибудь

виновата. Если будешь держаться подальше от людей вроде меня, проживешь еще лет пятьдесят.

— Нет. Я уже все решила. Я не оставлю тебя и буду делать то же, что и ты. И не падай духом. Я сумею выжить.

— Возможно, мы будем вместе еще полгода, ну год… Но в конце концов нас обязательно разлучат. Ты понимаешь, как мы станем тогда одиноки? Когда они до нас доберутся, мы не сможем сделать ничего, совсем ничего друг для друга. Сознаюсь я или не сознаюсь, они тебя все равно расстреляют. Все, что я сделаю или скажу, и все, о чем я сумею промолчать, не отсрочит твоей смерти и на пять минут. Ни ты, ни я даже не узнаем о судьбе друг друга. Полная беспомощность. Нам останется одно — не предать друг друга. Хотя и это ничего не изменит.

— Если ты говоришь о признаниях, — сказала Джулия, — то и нас заставят. Все всегда признаются. На то и пытки. От этого не уйти.

— Я не о признаниях. Признания еще не предательство. Слова и поступки значения не имеют. Имеет значение только наша душа. Если им удастся меня заставить разлюбить тебя — это будет действительно предательство.

Она задумалась над этим.

— Они не добьются этого, — сказала она наконец. — Это единственное, что они не смогут сделать. Они могут заставить тебя говорить все, что захотят, — *все, что они захотят,* но они не могут заставить тебя поверить в это. Они не могут влезть тебе в душу.

— Не могут, — подтвердил он с надеждой, — не могут, ты права. Они не в силах влезть к тебе в душу. И до тех пор пока ты *чувствуешь,* как важно оставаться человеком, хотя это ничего не изменит в итоге, ты — победитель.

Он подумал о мониторе и его всегда чутком ухе. Днем и ночью они могут следить за тобой, но, если не терять головы, их можно перехитрить. При всем их уме они так и не научились залезать в мысли людей. Впрочем, возможно, все окажется иначе, когда ты попадешь к ним в руки. Ведь никто не знает, что именно происходит в Министерстве Любви. Конечно, можно догадываться — пытки, наркотики, чувствительные приборы, регистрирующие нервную реакцию, постепенная потеря сил и самообладания от одиночества, беспрерывных допросов и лишения сна. Факты, во всяком случае, не скрыть. Их ведь можно восстановить, можно вытянуть из тебя пыткой. Но если твоя цель не в том, чтобы выжить, а в том, чтобы остаться человеком, какая разница, как это в конце концов делается? Они не смогут изменить твоих чувств, ведь ты и сам изменить их не можешь, даже если захочешь. Они могут узнать все, что ты сделал, что сказал и о чем думал, — до мельчайших деталей, но душа, чье устройство — загадка даже для тебя самого, душа останется неприступной.

## 8

Наконец-то, наконец-то они решились!

Они стояли в продолговатой, мягко освещенной комнате. Монитор едва шептал. Темно-синий ковер на полу создавал впечатление, что вы идете по бархату. В дальнем конце комнаты за столом под лампой с зеленым абажуром, обложившись бумагами, сидел О'Брайен. Он даже не поднял головы, когда слуга ввел в комнату Джулию и Уинстона.

Сердце Уинстона колотилось так, что он сомневался, сможет ли заговорить. «Наконец-то, наконец-то мы решились», — стучала в голове единственная мысль. Безрассудно было вообще приходить сюда, еще безумнее — вместе, хотя они и пришли разными путями и встретились только у дома О'Брайена. Уже для того, чтобы войти в этот дом, надо было напрячь нервы. Очень редко посторонние бывали не только в домах членов Внутренней Партии, но даже в тех кварталах Лондона, где они жили. Уинстона и Джулию все здесь пугало — простор и богатая обстановка, непривычные запахи хорошей кухни и дорогого табака, бесшумные и очень быстрые лифты, скользящие вверх и вниз, слуги в белых фраках, снующие там и сям. И хотя у Уинстона был отличный предлог прийти сюда, на каждом шагу его преследовала мысль, что вот сейчас из-за угла появится охранник в черной форме, потребует документы и прикажет убираться прочь. Однако слуга О'Брайена — маленький, темноволосый человек в белом фраке — впустил их без возражений. Его ромбовидное.лицо было совершенно бесстрастным, такое могло быть у китайца. Он провел их по коридору, устланному мягкими коврами, оклеенному кремовыми обоями и белыми панелями. Везде было очень чисто. И это тоже пугало. Уинстон даже не мог припомнить, видел ли он когда-нибудь коридор, стены которого не лоснились бы от прикосновений человеческих тел.

О'Брайен держал в руках небольшой листочек и внимательно изучал его. Его лицо, опущенное так, что был виден только нос, производило одновременно грозное и интеллигентное впечатление. Секунд двадцать он сидел молча, не шевелясь. Затем подвинул к себе диктограф и наговорил записку на гибридном жаргоне Министерства:

*Пункты один запятая пять запятая семь полностью одобрены точка предложение содержащееся пункте шесть плюсплюс нелепое граничит преступмыслью снять точка не продолжать разработку до получения плюсполных оценок вышестоящего аппарата точка конец записки.*

С подчеркнутой вежливостью он вышел из-за стола и по бесшумному ковру подошел к гостям. Казалось, с последним словом новояза его официальность чуть смягчилась, но лицо было мрачнее обычного, как будто ему не нравилось, что его прервали. Ужас, который уже испытывал Уинстон, перешел в панику. Вполне возможно, он сделал глупейшую ошибку. С чего он вообразил, что О'Брайен подпольщик? Ведь не было ничего, за исключением мимолетного взгляда и двусмысленного разговора. Все остальное его собственные домыслы. Теперь же нельзя даже сослаться на то, что он пришел за словарем. Как в этом случае объяснить присутствие Джулии? Когда О'Брайен проходил мимо монитора, он вдруг

о чем-то задумался, остановился, свернул в сторону и нажал какую-то кнопку на стене. Раздался резкий щелчок. Голос монитора замолк.

Джулия тихо ойкнула от удивления. Несмотря на полнейшее смятение, Уинстон был так изумлен, что не сумел сдержаться.

— Вы можете его выключать?! — воскликнул он.

— Да, — ответил О'Брайен, — мы можем его выключать. Мы имеем такую привилегию.

Теперь он стоял рядом с ними. Его мощная фигура возвышалась над Уинстоном и Джулией, а выражение лица все еще нельзя было разгадать. Он упорно выжидал, что скажет Уинстон. Но о чем говорить? Теперь уже ясно, они оторвали занятого человека от дела, и, конечно, он удивлен и раздражен. Все трое молчали. Поскольку монитор не работал, в комнате стояла мертвая тишина. Секунды шли бесконечно. С трудом Уинстон продолжал смотреть прямо в глаза О'Брайена. Неожиданно суровое лицо О'Брайена чуть потеплело. Своим характерным жестом он поправил очки на носу.

— Мне сказать или вы сами начнете? — проговорил он.

— Я скажу, — быстро отреагировал Уинстон. — Эта штука действительно выключена?

— Да, все отключено. Мы одни.

— Мы пришли сюда потому…

Он остановился, впервые осознавая неопределенность своих намерений. В сущности, он не знал, какой помощи можно ждать от О'Брайена. Не так-то просто сказать, зачем он явился сюда. Но он продолжил, понимая — все, что он говорит, звучит одновременно претенциозно и неубедительно:

— Мы думаем, что есть заговор, есть тайная организация, работающая против Партии, и что вы принадлежите к этой организации. Мы хотим вступить в эту организацию и работать в ней. Мы враги Партии. Мы не верим в принципы Ангсоца. Мы преступники мысли. Вдобавок мы незаконно любим друг друга. Я говорю вам это потому, что мы хотели бы отдать себя в ваше распоряжение. Если вы хотите, чтобы мы признались в других своих преступлениях, — мы готовы.

Ему показалось, что открылась дверь. Он замолчал и оглянулся. Так и есть, маленький желтолицый слуга, не постучавшись, внес поднос с графином и бокалами.

— Мартин — наш человек, — сказал О'Брайен бесстрастно. — Сюда, Мартин. Поставь бокалы на круглый столик. Стульев достаточно? Тогда сядем и поговорим спокойно. Принеси себе стул, Мартин. Есть дело. Минут на десять можно перестать быть слугой.

Человечек невозмутимо сел за стол, но все же чувствовалось, что это лакей, допущенный в компанию господ. Уинстон искоса оглядел его. Ему подумалось, что вся жизнь этого человека — игра и он опасается снять личину даже на минуту. О'Брайен взял графин за горлышко и наполнил бокалы темно-красной жидкостью. В памяти Уинстона мелькнуло увиденное когда-то давным-давно то ли на стене здания, то ли на рекламном щите: огромная бутылка из электрических лампочек наклонялась, и ее содержимое красиво переливалось в бокал. При взгляде сверху жидкость казалась почти черной, в графине же она сверкала, как рубин. Запах был

кисло-сладким. Джулия подняла свой бокал и с откровенным любопытством понюхала.

— Это вино, — сказал О'Брайен с легкой усмешкой. — Вы, конечно, читали о нем в книгах. Боюсь, оно практически не попадает к членам Внешней Партии. — Его лицо вновь приняло серьезное выражение, и он поднял бокал. — Я думаю, мы должны выпить за здоровье. За нашего вождя Эммануэля Гольдштейна!!

Уинстон с энтузиазмом взял свой бокал. Он читал о вине и мечтал попробовать его. Как стеклянное пресс-папье и полузабытые стихи мистера Чаррингтона, вино принадлежало к исчезнувшему, романтическому прошлому, к старым временам, как он любил называть его в своих тайных мыслях. Он думал почему-то, что вино очень сладкое, как варенье из черной смородины, и что оно моментально опьяняет. Но когда он выпил его, то разочаровался. Правда, после джина, который употребляешь много лет, трудно различить вкус вина. Он поставил пустой бокал на стол.

— Значит, Гольдштейн существует? — спросил он.

— Да, он жив. Но я не знаю, где он находится.

— А тайная организация? Она существует? Это не выдумка Полиции Мысли?

— Она существует. Мы зовем ее Братство. Но вы никогда не узнаете о Братстве больше этого. Только то, что оно существует и что вы принадлежите к нему. Я вернусь к этому вопросу. — Он посмотрел на свои наручные часы. — Даже для членов Внутренней Партии неразумно отключать монитор больше чем на полчаса. Вам не следовало приходить сюда вдвоем: уйти придется порознь. Вы, товарищ, — он наклонился к Джулии, — уйдете первой. В нашем распоряжении примерно двадцать минут. Вы понимаете, что я должен начать с вопросов к вам. Вообще, что вы готовы делать?

— Все, что сможем, — ответил Уинстон.

О'Брайен чуть повернулся на своем стуле и посмотрел Уинстону прямо в лицо. Он почти не обращал внимания на Джулию, видимо полагая, что Уинстон говорит и от ее имени. На мгновение он закрыл глаза и начал задавать свои вопросы тихим, невыразительным голосом, как будто это была привычная процедура, положенный набор вопросов, как будто все ответы на них он давно знает.

— Вы готовы пожертвовать жизнью?

— Да.

— Вы готовы убивать?

— Да.

— Заниматься саботажем, который может стоить жизни сотням невинных людей?

— Да.

— Предавать свою страну и работать на иностранные державы?

— Да.

— Вы готовы обманывать, лгать, шантажировать, развращать сознание детей, распространять наркотики, поощрять проституцию, способствовать заражению людей венерическими болезнями — короче, делать все, что может разрушить мораль и ослабить Партию?

— Да.

— Если, к примеру, ради нашего дела нужно будет плеснуть серную кислоту в лицо ребенку — вы готовы сделать это?

— Да.

— Вы готовы отречься от самого себя и всю оставшуюся жизнь быть официантом или рабочим в доке?

— Да.

— Вы готовы покончить жизнь самоубийством, если вам прикажут?

— Да.

— Вы готовы расстаться и никогда больше не видеть друг друга?

— Нет! — вырвалось у Джулии.

Уинстону показалось, что прошло очень много времени, прежде чем он тоже ответил. Несколько секунд он вообще не мог говорить. Его язык пытался произнести то одно, то другое слово. И он так и не знал до конца, какое слово произнесет.

— Нет, — сказал он наконец.

— Хорошо, что вы предупредили меня, — заметил О'Брайен. — Мы должны знать все.

Он повернулся к Джулии и добавил с особой значительностью:

— Вы понимаете, что, даже если он и выживет, он может стать совсем другим человеком? Быть может, нам придется переменить его внешность. Его лицо, походка, форма рук, цвет волос, даже голос будут другими. И вы тоже можете стать другой женщиной. Наши хирурги способны неузнаваемо менять облик людей. Иногда это необходимо. Иногда даже приходится ампутировать конечности.

Уинстон не смог удержаться и искоса взглянул еще раз на монгольское лицо Мартина. Никаких шрамов не было. видно. Джулия побледнела, так что ярче выступили ее веснушки, но тем не менее смело смотрела в лицо О'Брайену. Она прошептала что-то, что можно было принять за согласие.

— Ладно. Значит, это решено.

На столе лежала серебряная коробочка с сигаретами. Машинально О'Брайен взял сигарету, пододвинул коробку гостям, встал и принялся прохаживаться по комнате, как будто ему лучше думалось стоя. Сигареты были очень хорошие, туго набитые, отлично упакованные, с непривычной шелковистой бумагой. О'Брайен снова посмотрел на часы.

— Тебе лучше вернуться на кухню, Мартин, — сказал он. — Через четверть часа я включу монитор. Прежде чем уйти, запомни их лица. Ты будешь встречаться с ними. Я — вряд ли.

Темные глаза маленького слуги скользнули по их лицам точно так, как полчаса назад на пороге квартиры. В его взгляде не было и следа дружеского расположения. Он запоминал, как они выглядят, но сами они его не интересовали, и он этого не пытался скрыть. Возможно, искусственное лицо и не может менять свое выражение. Не говоря ни слова, не попрощавшись, Мартин вышел и бесшумно закрыл за собою дверь. О'Брайен продолжал прохаживаться взад и вперед. В одной руке он держал сигарету, другая была опущена в карман черного комбинезона.

— Вы должны понимать, — сказал он, — что вам придется сражаться во тьме. Всегда во тьме. Вы будете получать приказы и выполнять их, не задавая при этом вопросов. Чуть позже я перешлю вам книгу, из которой вы узнаете правду о природе

нашего общества и стратегию, с помощью которой мы уничтожим его. Когда прочтете книгу, вы станете полноправными членами Братства. Но, кроме наших конечных целей и наших сиюминутных задач, вы не будете знать ничего. Я сказал вам, что Братство существует, но я не могу сказать, какова его численность — сто человек или десять миллионов. Вы лично не будете знать даже десятка. Вы получите три или четыре связи, которые будут заменены, если кто-то исчезнет. Поскольку это ваш первый контакт с организацией, мы его сохраним. Получая приказы, знайте: они от меня. Но связь будет через Мартина. Когда вас схватят, вы признаетесь. Этого не избежать. Но признаваться вам будет практически не в чем, кроме того, что вы сделали сами. Вы предадите лишь горстку не очень важных людей. Возможно, вы не предадите даже меня. К тому времени я могу погибнуть или превратиться в другого человека, с другим лицом…

Он по-прежнему расхаживал по мягкому ковру. Несмотря на массивную фигуру, его движения были удивительно грациозны — даже жест, которым он сунул руку в карман, и манера держать сигарету. Кроме силы в нем чувствовались уверенность и чуть ироничный ум. При всей его серьезности в нем совершенно отсутствовала узколобость, присущая фанатику. И когда он говорил об убийствах, самоубийствах, венерических болезнях, ампутированных конечностях и измененных лицах, в его тоне была едва заметная усмешка. «Так надо, — казалось, хотел он сказать, — так нам придется поступать. Но это вовсе не то, что мы будем делать, когда жизнь опять станет человеческой». Волна восхищения, чуть ли не поклонения затопила Уинстона. На минуту он позабыл о призраке Гольдштейна. Глядя на мощные плечи и грубое лицо О’Брайена, такое уродливое и такое интеллигентное, не верилось, что такой может потерпеть поражение. Нет хитрости, которой он не смог бы противостоять, нет опасности, которую он не мог бы предвидеть. Даже на Джулию он произвел сильное впечатление. Сигарета ее погасла, она внимательно слушала. О’Брайен продолжал:

— До вас доходили слухи о Братстве, и вы, конечно, составили о нем свое представление. Вы, может быть, вообразили себе целый подпольный мир заговорщиков, которые тайно встречаются в подвалах, пишут на стенах, узнают друг друга с помощью пароля или, условного знака рукой. Ничего подобного нет. Члены нашего Братства не могут опознавать друг друга, ни один из членов организации не знает и десятка других. Сам Гольдштейн, попади он в руки Полиции Мысли, не сможет представить им список членов организации или какую-нибудь информацию о том, где искать такой список. Потому что такого списка просто нет. Наше Братство нельзя уничтожить, это вовсе не организация в обычном смысле. Ее скрепляет только идея, которая несокрушима. И у вас не будет никакой поддержки, кроме этой идеи, — ни товарищества ни ободрения. И наконец, если вас схватят, вам никто не поможет. Мы никогда не помогаем. В крайних случаях, когда абсолютно необходимо, чтобы арестованный замолчал, мы можем попытаться передать ему в камеру лезвие бритвы. Вам придется научиться жить без надежды, жить, не видя результатов своих трудов. Вы просто будете делать дело, затем вас схватят, вы признаетесь, а потом умрете. Вот и все, что вам предстоит. На протяжении нашей жизни каких-либо существенных перемен достичь невозможно. Мы — мертвецы. Смысл нашей жизни — в будущем. Мы предназначены стать горстью пыли и обломков костей. А как

далеко до этого будущего, никто не знает. Быть может, тысяча лет. А пока у нас нет другой возможности, как постепенно открывать людям глаза. Мы не можем действовать коллективно. Мы можем лишь передавать наши знания от человека к человеку, от поколения к поколению. Полиция Мысли сильна, и другого пути нет.

Он остановился и в третий раз посмотрел на свои наручные часы.

— Вам пора идти, товарищ, — сказал он Джулии. — Минуточку. У нас еще полграфина вина.

Он долил бокалы и поднял свой.

— За что теперь? — сказал он опять чуть иронически. — За то, чтобы обмануть Полицию Мысли? За то, чтобы умер Большой Брат? За человечество? За будущее?

— За прошлое, — сказал Уинстон.

— Да, прошлое важнее, — отозвался О'Брайен совершенно серьезно.

Они выпили до дна, и Джулия встала из-за стола. О'Брайен взял со шкафа маленькую коробочку и протянул: Джулии плоскую белую таблетку.

— Положите ее на язык, — сказал он. — Не надо, чтобы от вас пахло вином. Лифтеры очень наблюдательны.

Как только дверь за ней закрылась, О'Брайен, казалось, совершенно забыл о ее существовании. Сделав еще несколько шагов, он остановился.

— Надо обговорить еще некоторые детали, — сказал он. — Я полагаю, у вас есть какое-нибудь надежное пристанище?

Уинстон рассказал о комнате, что они сняли у мистера Чаррингтона.

— На первое, время сойдет. Потом мы подыщем что-нибудь еще. Надо почаще менять укрытия. Я хочу поскорее переслать вам *книгу* (даже О'Брайен, заметил Уинстон, выделяет это слово так, будто оно напечатано курсивом), вы понимаете, книгу Гольдштейна, как можно скорее. Возможно, через несколько дней я получу ее. Экземпляров, как вы понимаете, существует не так много. Полиция Мысли охотится за ними и уничтожает почти с той же скоростью, с какой мы печатаем их. Но это не имеет серьезного значения. Книгу нельзя истребить. И если даже они уничтожат наш последний экземпляр, мы сможем воссоздать ее почти слово в слово. Вы ходите на работу с портфелем?

— Как правило, да.

— Как он выглядит?

— Черный, очень потрепанный. С двумя застежками.

— Черный, две застежки, очень потрепанный — отлично. В ближайшем будущем — точнее сказать не могу — одно из заданий в вашей обычной утренней почте будет с опечаткой, и вы попросите повторить его. На следующий день пойдете на работу без портфеля. На улице вас остановит человек и скажет: «Мне кажется, вы уронили ваш портфель». В портфеле, который он вам передаст, будет экземпляр книги Гольдштейна. Вернете через две недели.

Наступила короткая пауза.

— У нас еще пара минут, — сказал О'Брайен. — Мы увидимся, если мы еще увидимся…

Уинстон посмотрел на О'Брайена.

— Там, где будет светло? — сказал он неуверенно. О'Брайен кивнул, ничуть не удивившись.

— Там, где будет светло, — повторил он, как будто подтверждая скрытый смысл этих слов. — Хотите что-нибудь сказать на прощание? Пожелания? Вопросы?

Уинстон подумал. Вопросов как будто не было, и тем более ему не хотелось говорить высокопарно, общими фразами. Ничего связанного с О'Брайеном или Братством в голову не приходило, вместо этого он вспомнил темную спальню, где его мать провела последние дни, маленькую комнатку над лавкой мистера Чаррингтона, стеклянное пресс-папье, офорт в палисандровой раме. Почти наугад он спросил:

— Вы никогда не слышали старый стишок с таким началом: «Лимоны и мандарины, лимоны и мандарины, поют колокола Святого Клементина»?

О'Брайен кивнул. Вежливо и серьезно он прочел все стихотворение:

Лимоны и мандарины, лимоны и мандарины, поют колокола Святого Клементина.
Вы должны нам три фартинга, вы должны нам три фартинга, говорят колокола Святого Мартина.
Когда вы отдадите, когда вы отдадите? — спрашивают колокола Оулд Бейли из Сити.
Как наладятся дела, как наладятся дела, отвечают Шордича колокола.

— Вы знаете последнюю строчку! — воскликнул Уинстон.

— Да, я знаю последнюю строчку. А теперь, боюсь, вам пора идти. Постойте. Будет лучше, если я и вам дам таблетку.

Уинстон встал, и О'Брайен протянул ему руку. Крепкое рукопожатие сдавило кости Уинстона. У дверей Уинстон обернулся, но О'Брайен, по-видимому, торопился уже вычеркнуть его из своей памяти. Он ждал ухода Уинстона, рука его лежала на кнопке выключателя монитора. А в конце комнаты стоял письменный стол, лампа с зеленым абажуром, диктограф и плетеная корзина, доверху заполненная бумагами. Случайный эпизод закончился, через минуту О'Брайен снова сядет за стол и продолжит прерванную важную работу на благо Партии.

## 9

От усталости Уинстон был весь как желе. Это слово точно выражало его состояние. Оно пришло ему в голову внезапно. Тело его стало не только вялым, но и полупрозрачным, действительно как желе. Ему казалось, что если поднять руку, то сквозь нее можно будет смотреть. Всю кровь, все соки высосала безумная работа, остался лишь бесплотный каркас из костей и нервов, обтянутый кожей. Все чувства резко обострились. Комбинезон тер плечи, камни тротуара царапали ступни, руки едва сгибались, и суставы при этом скрипели.

За пять дней он отработал более девяноста часов, как и все в Министерстве. Но теперь все позади, у него нет буквально никаких дел, никаких партийных поручений, до завтрашнего утра он свободен. Можно провести часов шесть в их убежище и еще девять — в собственной постели. Близился вечер, жара начала

спадать, и Уинстон медленно шел по пыльной улице к лавке мистера Чаррингтона. Глаза слипались, но он все же старался наблюдать, не появится ли патруль, хотя почему-то был убежден, что в этот вечер ему никто не помешает. Он нес тяжелый портфель, который при каждом шаге ударял его по колену и терся об ногу, раздражая воспаленную кожу. В портфеле лежала книга, она была у него уже шесть дней, но он до сих пор еще ни разу не открывал ее.

На шестой день Недели Ненависти, после бесчисленных демонстраций, речей, выкриков, песен, знамен, плакатов, кинофильмов, восковых фигур, барабанного боя и пронзительного визга труб, топота марширующих ног, лязга танковых гусениц, рева самолетов и грома пушек — после шести дней этого безумия, которое приближалось к своей кульминации, когда всеобщая ненависть к Евразии была доведена до такого исступления, что толпа готова была разорвать на куски 2000 евразийских военных преступников, которых обещали публично повесить в последний день Недели Ненависти, если бы только удалось добраться до них, — именно в этот самый момент объявили, что Океания не воюет с Евразией. Океания воюет с Востазией, а Евразия — союзник.

Конечно же, о переменах прямо не объявлялось. Просто везде и вдруг стало известно, что враг — Востазия, а не Евразия. В момент, когда это произошло, Уинстон принимал участие в манифестации на одной из центральных площадей Лондона. Был вечер, бледные лица и алые знамена зловеще освещали прожектора. Площадь была забита громадной толпой, включая тысячный отряд школьников в форме Сыщиков. На трибуне, задрапированной алой материей, стоял оратор Внутренней Партии, худощавый, невысокий человек с непропорционально длинными руками и большим лысым черепом, на котором болталось несколько прямых невьющихся волосинок, и разглагольствовал перед толпой. Маленький, перекошенный от ненависти карлик, сжимая в одной руке микрофон, другой огромной костлявой рукой угрожающе рвал когтями воздух. Голосом, в котором благодаря усилителям звучал металл, он кричал о бесчисленных фактах зверств, убийств, депортаций, грабежей, изнасилований, пыток военнопленных, бомбардировок гражданских объектов, о лживых пропагандистских трюках, неспровоцированных актах агрессии и нарушенных соглашениях. Надо было сначала убедить себя во всем этом, потом сойти с ума и только после этого слушать его речь. Поминутно ярость толпы нарастала, и голос оратора тонул в реве, напоминавшем рев дикого зверя, который вырывался непроизвольно из тысяч и тысяч глоток. Самые дикие вопли доносились из группы детей. Оратор говорил уже минут двадцать, когда на трибуну поспешно поднялся посыльный и сунул ему в руку листок. Карлик развернул и прочел его, не прерывая речи. Ни голос, ни манера говорить не изменились, не изменилось и содержание речи, но все имена и названия неожиданно стали другими. Словно беззвучный сигнал волной прокатился по рядам. Океания воевала с Востазией! Спустя мгновение толпа бушевала. Плакаты и транспаранты, украшавшие площадь, оказались неверными! Это саботаж! Здесь поработали агенты Гольдштейна! Без команды толпа бросилась срывать со стен плакаты, рвать и топтать транспаранты. Чудеса смелости и отваги явили юные Сыщики: они карабкались по крышам и срезали с труб развевающиеся вымпелы. Через две-три минуты все было в порядке. Оратор, по-прежнему сжимая одной

рукой микрофон и чуть наклонившись вперед, рвал воздух свободной рукой и как ни в чем не бывало продолжал свою речь. Еще через минуту возобновились дикие крики толпы. Ненависть кипела, как и раньше, просто изменилась мишень.

Вспоминая об этом, Уинстон поражался, как оратор переключился фактически в середине фразы, без какой-либо паузы, не нарушив при этом грамматического строя предложения. И как раз в момент всеобщего беспорядка, когда энтузиасты срывали плакаты со стен, незнакомый человек похлопал его по плечу и сказал: «Прошу прощения, мне кажется, вы уронили портфель». Уинстон рассеянно, ни слова не говоря, взял портфель. Он знал, что сможет заглянуть в него лишь через несколько дней. Сразу после демонстрации он вернулся в Министерство Правды, хотя было уже почти двадцать три часа. Так поступили все служащие Министерства. Не нужно было даже приказов по монитору.

Океания воевала с Востазией: Океания всегда воевала с Востазией. В мгновение ока значительная часть политической литературы последних пяти лет разом устарела. Всевозможные доклады и сообщения, газеты, книги, памфлеты, кинофильмы, звукозаписи, фотографии — все это требовалось моментально исправить. Не было никаких указаний, но все знали: руководство Отдела решило — через неделю не должно остаться никаких упоминаний о войне с Евразией или союзе с Востазией. Это была огромная работа, тем более трудная, что приходилось делать вещи, которые нельзя было назвать своими именами. Все в Историческом Отделе трудились по восемнадцать часов в сутки с двумя трехчасовыми перерывами на сон. Из подвалов Министерства принесли матрацы и разложили их в коридорах на полу. Официанты доставляли на тележках прямо в Отдел сандвичи и кофе «Победа». Каждый раз, получив три часа на сон, Уинстон старался очистить стол от бумаг и каждый раз, возвращаясь назад со слипающими глазами, неотдохнувшим телом, обнаруживал, что его стол снова завален бумажными цилиндрами, как будто здесь бушевала метель и намела сугробы, засыпав и его стол, и диктограф, и даже часть пола. Поэтому сначала он укладывал бумажные цилиндры в более или менее аккуратную кучу, чтобы освободить место для работы. Хуже всего, что работа вовсе не была чисто механической. Конечно, иногда было вполне достаточно заменить одно название другим, но гораздо чаще приходилось составлять подробные сообщения, что требовало внимания и воображения. Понадобилось также знание географии, чтобы перенести военные действия из одной части света в другую.

На третий день глаза его мучительно болели, и поминутно приходилось протирать очки. Все это походило на попытку выполнить очень тяжелую физическую работу, от которой вообще-то можно отказаться и в то же время ужасно хочется завершить. Насколько он помнил, его ни разу не беспокоила мысль, что сделанное — каждое слово, сказанное в диктограф, каждая строка — откровенная ложь. Как и всех в Отделе, его волновало только одно — подделка должна быть первосортной. Утром шестого дня поток бумажных цилиндров замедлился. С полчаса из пневматической трубы не поступало ни одного задания, потом пришло одно, потом вообще ничего. Примерно в это же время работа прекратилась во всех кабинках. Глубокий, но затаенный вздох облегчения прошел по Отделу. Совершен подвиг, о котором, правда, нельзя говорить. Никто теперь не мог документально доказать, что Океания когда-нибудь воевала с Евразией. В двенадцать часов было

неожиданно объявлено, что все служащие Министерства свободны до следующего утра. Уинстон отправился домой. В руках у него по-прежнему был портфель с книгой. Все эти дни во время работы он ставил его у ног, а когда спал, клал под голову. Дома он побрился и чуть не заснул в ванной, хотя вода была едва теплой.

Со сладостным чувством в отяжелевших ногах Уинстон поднимался по лестнице в лавке мистера Чаррингтона. Он очень устал, но спать уже не хотелось. Он открыл окно, зажег грязную керосинку и поставил на нее кастрюлю с водой для кофе. Джулия вот-вот должна подойти. А пока у него есть книга. Он сел в замызганное кресло и расстегнул застежки портфеля.

Тяжелый черный том, самодельный переплет, без имени автора и названия на обложке. Шрифт тоже не совсем стандартный. Страницы обтрепаны по краям и выпадают. Очевидно, книга прошла через многие руки. На титульном листе Уинстон прочел:

***Эммануэль Гольдштейн***

***ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОЛИГАРХИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВИЗМА.***

Он перевернул страницу и углубился в чтение.

**Глава I**
**Незнание — это сила**

Сколько человечество помнит себя, возможно с конца неолита, в мире всегда было три группы людей: Высшие, Средние и Низшие. В разные века они делились на разные подгруппы, их по-разному называли, изменялись их численность и отношение одной группы к другой, но принципиальная структура общества оставалась при этом неизменной. Даже после колоссальных потрясений и, казалось бы, необратимых перемен эта структура вновь утверждала себя, как гироскоп всегда возвращается к равновесию, как бы он ни отклонился. Цели этих трех групп непримиримы…

Уинстон остановился: хотелось оценить сам факт, что он читает, находясь при этом в безопасности и удобно устроившись. Он один: нет монитора, никто не подслушивает через замочную скважину, нервы спокойны, и не надо оглядываться или прикрывать текст рукой. Нежный летний воздух касался щек. Откуда-то

издалека доносились голоса детей. В самой комнате тихо, лишь тикают часы. Он получше устроился в кресле и положил ноги на решетку камина. О блаженство! О вечность! И неожиданно, зная, что будет еще много раз читать и перечитывать каждое слово этой книги, он открыл ее наугад на другой странице. Это была глава III. Он стал читать.

## Глава III
## Война — это мир

Раскол мира на три сверхдержавы мог и был предсказан еще до середины двадцатого столетия. После поглощения Европы Россией, а Британской империи — Соединенными Штатами образовались две из существующих сегодня сверхдержав — Евразия и Океания. Третья сверхдержава — Востазия — окончательно сформировалась еще через десяток лет беспорядочных войн. Границы между тремя сверхдержавами во многих местах произвольны, кое-где они зависят от успехов или поражений в войнах, но в большинстве случаев они определяются географическими факторами. Евразия охватывает всю северную часть Евразийского континента, от Португалии до Берингова пролива. Океания занимает Северную и Южную Америку, острова Атлантического океана, в том числе Британские острова, Австралию и южную оконечность Африки. Востазия меньше этих двух сверхдержав, и ее западная граница определена нечетко. Она включает в себя Китай, все азиатские страны южнее Китая, Японские острова, а также значительные части Маньчжурии, Монголии и Тибета, которые, впрочем, постоянно переходят из рук в руки.

Уже четверть века все эти три сверхдержавы непрерывно воюют друг с другом в тех или иных комбинациях. Но война перестала быть той отчаянной, разрушительной борьбой, какой она была в начале двадцатого века. Это локальные войны между противниками, неспособными уничтожить друг друга, не имеющими каких-нибудь материальных причин для войны и не разделенными подлинными идеологическими противоречиями. Однако это не означает, что война или же отношение к ней стали менее кровавыми или более рыцарскими. Напротив, военная истерия никогда не утихает во всех трех сверхдержавах, а такие вещи, как изнасилование, грабеж, убийство детей, обращение населения оккупированных территорий в рабство, репрессалии по отношению к военнопленным, доходящие до того, что их варят в котлах или хоронят живьем, считаются вполне нормальными, а когда они совершаются своими, а не противником — даже похвальными. Однако в сегодняшних войнах участвует ограниченное число людей, в основном хорошо обученные специалисты, и потери в живой силе невелики. Бои, если они вообще происходят, идут на отдаленных границах, в местах, о которых мало кто знает, или у Плавающих Крепостей, обороняющих стратегические пункты морских коммуникаций. В центрах цивилизации война сводится к постоянной нехватке продуктов и промтоваров и к эпизодическим взрывам ракетных бомб, отчего погибают несколько десятков людей. Характер войны по существу изменился. Точнее, изменилась иерархия причин, вызывающих войну. Причины, которые уже,

пусть в незначительной степени, проявлялись в великих войнах начала века, стали главными, их сознательно выделяют и действуют в соответствии с ними.

Чтобы понять природу современной войны — а это всегда одна и та же война, несмотря на постоянные перегруппировки, — нужно прежде всего уяснить, что она никогда не носит решающего характера. Ни одну из трех сверхдержав нельзя окончательно разгромить, даже если против нее объединяются две другие, поскольку все они обладают примерно равной силой и их естественная оборона достаточно надежна. Евразия защищена своей колоссальной территорией, Океания — просторами Атлантического и Тихого океанов, Востазия — плодовитостью и трудолюбием своих народов. Кроме того, с материальной точки зрения, им не за что воевать. С появлением замкнутых экономических систем, в которых производство и потребление сбалансированы, прекратилась грызня за рынки сбыта, служившая одной из главных причин всех прошлых войн; погоня за источниками сырья также не является уже вопросом жизни и смерти. Все три сверхдержавы настолько обширны, что могут вполне получить практически все необходимое в пределах своих собственных границ. Непосредственной экономической причиной войны может считаться война за трудовые ресурсы. Между тремя сверхдержавами лежит громадный неправильный четырехугольник с углами в Танжере, Браззавиле, Дарвине и Гонконге. Здесь проживает примерно пятая часть населения Земли, но эта территория не принадлежит постоянно ни одной из сверхдержав; они все время ведут борьбу за обладание теми или иными частями этого густонаселенного четырехугольника, а также района Северного полюса. Ни одной из сверхдержав не удалось пока захватить сразу все спорные территории. Они все время переходят из рук в руки, а бесконечная перемена союзников объясняется тем, что каждая из держав надеется неожиданным предательством захватить какой-нибудь кусок.

В спорных районах есть ценное минеральное или растительное сырье, например каучук, который в странах холодного климата приходится синтезировать, что обходится недешево. Но самое главное, в этих районах очень много дешевой рабочей силы. Страна, захватившая Экваториальную Африку, Средний Восток, Южную Индию или острова Индонезии, получает десятки или сотни миллионов трудолюбивых кули, которым почти ничего не надо платить. Жителей этих районов практически низвели до положения рабов. Они постоянно переходят от победителя к победителю и расходуются, как уголь или нефть, в вечной гонке вооружений, в захвате новых территорий и новых трудовых ресурсов для того, чтобы произвести еще больше вооружения, захватить еще больше пространства и еще больше трудовых ресурсов, и так до бесконечности. Следует отметить, что война никогда не выходит за пределы спорных территорий. Границы Евразии колеблются от бассейна реки Конго до северного побережья Средиземного моря; острова Тихого и Индийского океанов все время переходят то к Океании, то к Востазии; в Монголии нет постоянной границы между Востазией и Евразией; и наконец, все три державы претендуют на огромные необитаемые и неисследованные территории вокруг Северного полюса, но при этом основные территории трех сверхдержав никогда не подвергаются нападению и примерное равновесие сил никогда не нарушается. Более того, труд эксплуатируемых народов экваториального пояса в принципе не нужен мировой экономике. Они ничего не добавляют для благосостояния народов

мира, так как все, что там производится, уходит на войну, а цель войны всегда одна — улучшение позиций для развязывания следующей войны. Рабский труд народов этих районов дает возможность наращивать темпы нескончаемых войн. Но если бы этого труда не стало, структура мирового сообщества и идущие в нем процессы изменились бы незначительно.

Главной целью современной войны (в соответствии с принципами двоемыслия эта цель одновременно признается и не признается руководящей верхушкой Внутренней Партии) является использование промышленной продукции без повышения жизненного уровня народа. Начиная с конца девятнадцатого столетия в промышленных странах всегда стояла проблема, что делать с излишками потребительских товаров. В наши дни, когда лишь немногие едят досыта, эта проблема, очевидно, снята с повестки дня, и она, видимо, не возникнет, даже если прекратится искусственное уничтожение продуктов труда. По сравнению с 1914 годом мы имеем сегодня голый, голодный, разваливающийся мир, тем более если сравнить его с воображаемым будущим, о котором мечтали люди того времени. В начале двадцатого столетия едва ли не каждый грамотный человек представлял себе будущее общество сказочно богатым, праздным, упорядоченным и эффективным — этакий сияющий, чистенький мир стекла, стали и белоснежного бетона. Наука и технология развивались семимильными шагами, и казалось естественным, что и дальше они будут развиваться столь же быстро. Но этого не произошло. Отчасти из-за обнищания, вызванного целым рядом войн и революций, отчасти оттого, что научный и технический прогресс зависят от неуправляемого эмпирического мышления, которое не в состоянии выжить в строго регламентированном обществе. В целом сегодняшний мир гораздо примитивнее, чем пятьдесят лет назад. Конечно, некоторые прежде отсталые территории добились определенных успехов, появился ряд технических новинок, как правило связанных с войной или полицейским шпионажем, но в целом эксперименты и изобретательство прекратились, и до сих пор не преодолено до конца разрушительное, воздействие атомной войны пятидесятых годов. Однако опасности, связанные с машинным производством, никуда не ушли. С появлением первой машины каждому думающему человеку стало ясно, что приходит конец нудной и монотонной работе, а следовательно, и человеческому неравенству. Если бы машинное производство использовалось именно для достижения этих целей, голод, изнурительная работа, грязь, неграмотность и болезни можно было бы изжить за несколько поколений. И в самом деле, хотя никто и не ставил подобных целей, машины просто автоматически, производя богатство, которое иногда невозможно было не распределять, очень сильно повысили средний жизненный уровень людей примерно за пятьдесят лет — в конце девятнадцатого и начале двадцатого века.

Но стало ясно, что всеобщее повышение благосостояния угрожает разрушить (в определенном смысле уже разрушает) иерархическое общество. В мире, где у всех короткий рабочий день, никто не голодает, у каждого квартира с ванной и холодильником и каждый имеет автомобиль или даже самолет, в таком мире наиболее очевидные и наиболее важные черты неравенства уже исчезли. Если богатство есть у всех, оно не ведет к разделению общества. И конечно, нетрудно придумать такую модель общества, в котором богатство, в смысле личного

имущества и предметов роскоши, будет распределяться поровну, в то время как власть останется в руках небольшой привилегированной касты. Но на практике такое общество не может быть стабильным очень долго. Ведь если каждый будет чувствовать себя в безопасности и иметь достаточно свободного времени, большинство людей, которых отупляет нищета, станут грамотными и научатся думать сами, а когда это произойдет, большинство рано или поздно поймет, что привилегированное меньшинство ничего не делает и вообще не нужно, и это меньшинство будет сметено. Проще говоря, иерархическое общество может существовать лишь на базе нищеты и невежества. Не решает проблемы и возврат к аграрному прошлому, как предполагали некоторые мыслители в начале двадцатого столетия. Этот путь противоречит техническому продвижению вперед, и любая страна, отстающая в индустриальном отношении, становится беспомощной в военном отношении и обязательно попадает в прямую или косвенную зависимость от более развитых соперников.

Не решает вопроса и искусственное ограничение выпуска товаров ради сохранения нищеты. Оно широко практиковалось на последних стадиях развития капитализма между 1920 и 1940 годами. Экономика многих стран в тот период загнивала, земля не обрабатывалась, основной капитал не обновлялся, массы людей не могли найти работы и жили на пособия по безработице. Но это ослабляло и военную мощь, к тому же нарастала оппозиция, поскольку всем было ясно, что эти лишения искусственны. Надо было сделать так, чтобы колеса индустрии продолжали вертеться, но при этом мир оставался бы бедным. Пусть производятся товары, но не надо их распределять. Единственным решением этого вопроса на практике стала война, непрекращающаяся война.

На войне прежде всего идет процесс уничтожения, но уничтожения не только людей, а и продуктов их труда. Война есть способ разнести в щепки, выстрелить в стратосферу, утопить в морских глубинах материальные ценности, которые, если их распределить между людьми, улучшат жизнь многих и в конечном счете сделают многих слишком умными. Даже когда военная техника и вооружение не уничтожаются, все равно производство их — удобный способ поглощения человеческого труда без удовлетворения потребностей людей. Постройка Плавающей Крепости, например, требует столько труда, сколько хватило бы на постройку нескольких сотен грузовых кораблей. А через какое-то время Плавающую Крепость списывают как устаревшую и вновь затрачивают колоссальный труд, чтобы построить новую, и все это не приносит никому никакой материальной выгоды. В принципе военные расходы всегда планируются так, чтобы истратить излишки произведенного продукта, остающиеся после удовлетворения минимальных потребностей населения. На практике эти потребности всегда занижаются, в результате чего образуется хронический дефицит едва ли не половины жизненно необходимого, но это представляют как большое достижение. Привилегированные группы населения тоже преднамеренно держат на грани лишений, поскольку всеобщая нехватка повышает значение маленьких привилегий и таким образом увеличивает различия между отдельными группами. По меркам начала двадцатого столетия даже член Внутренней Партии ведет аскетическую трудовую жизнь. И тем не менее та роскошь, которую он все же имеет, — хорошо

обставленная квартира, одежда из хорошего материала, еда, вино и табак более высокого качества, двое или трое слуг, личный автомобиль или вертолет — все это отличает его мир от мира, в котором живет член Внешней Партии, а члены Внешней Партии точно так же имеют ряд преимуществ по сравнению с угнетенным большинством, которое мы называем «пролами». Мы живем в социальной атмосфере осажденного города, когда граница между бедностью и богатством определяется тем, достался тебе или нет кусок конины. И в то же время военная обстановка и чувство опасности делают в наших глазах естественным сосредоточение власти в руках маленькой группки людей; это, считаем мы, необходимое условие победы.

Война, как мы видим, не только обеспечивает разрушение материальных ценностей, но и достигает это психологически приемлемым способом. В принципе можно истратить лишний труд и иначе — строить храмы и пирамиды, рыть шахты и снова засыпать их или даже производить большое количество товаров, а после сжигать их. Но все это обеспечит лишь экономическую, а не эмоциональную основу иерархического общества. Имеется в виду вовсе не мораль народных масс, их настроение не имеет значения, пока их удается заставлять работать, а мораль самой Партии. Самый простой член Партии должен быть компетентным, трудолюбивым и даже умным в узких рамках своей специальности, но в то же время необходимо, чтобы он был доверчивым и невежественным фанатиком, чтобы его поведение определяли страх, ненависть, угодничество, восторженная признательность. Другими словами, его умонастроение должно соответствовать состоянию войны. И не имеет никакого значения, идет в данный момент война или нет, а поскольку окончательная победа вообще невозможна, нет разницы — выигрываем мы эту войну или проигрываем. Необходимо лишь состояние войны. Партия требует от своих членов раздвоения сознания, а его легче достичь в атмосфере войны. Раздвоение сознания уже стало практически всеобщим, но оно становится особенно характерным в высших слоях общества. Именно среди членов Внутренней Партии сильнее всего развита военная истерия и ненависть к противнику. Член Внутренней Партии, как функционер, нередко знает, что некоторые сообщения о войне лживы, нередко ему хорошо известно, что никакой войны нет вообще или же она ведется совсем не с теми целями, о которых объявлено, но такое знание легко нейтрализуется с помощью двоемыслия. Поэтому каждый член Внутренней Партии искренне верит, что война действительно идет, она окончится победой и Океания станет полновластной хозяйкой мира.

Все члены Внутренней Партии свято верят в эту грядущую победу над миром — это их символ веры. Победа может быть достигнута либо захватом все новых и новых территорий, в результате чего будет создан решающий перевес сил, либо с помощью изобретения какого-нибудь нового оружия, которого нет у противника. Поиски новых видов оружия не прекращаются ни на минуту, и, пожалуй, только здесь еще может найти себе применение изобретательный и изощренный ум. Сегодня в Океании наука, в прежнем смысле этого слова, почти прекратила существование. Характерно, что на новоязе нет слова для обозначения понятия «наука». Эмпирическое мышление, на котором основаны все прошлые научные достижения, не согласуется с фундаментальными принципами Ангсоца. Даже

технологический прогресс есть лишь там, где его плоды могут быть использованы для дальнейшего ограничения свободы человека. Ремесла или не развиваются дальше, или утрачиваются. Поля обрабатывают конными плугами, в то время как книги пишут машинами. Но в жизненно важных областях — военной и полицейской — эмпирическое мышление поощряют или по меньшей мере терпят. У Партии две цели: завоевание всего мира и полное уничтожение независимого мышления. Отсюда две задачи, которые постоянно решает Партия. Первая — как против воли человека узнать, что он думает, и вторая — как внезапно убить несколько сотен миллионов людей за несколько секунд. Именно эти проблемы составляют предмет существующих еще научных исследований. Сегодняшний ученый — смесь психолога и инквизитора, который скрупулезно изучает подлинное значение выражения лица, жеста, интонаций, проводит опыты с наркотиками, заставляющими говорить правду, экспериментирует с шоковой терапией, гипнозом и физическими пытками, либо это химик, физик или биолог, который интересуется лишь теми отраслями своих специальных знаний, которые имеют отношение к уничтожению всего живого. В просторных лабораториях Министерства Мира, на опытных станциях и полигонах, затерянных в бразильских джунглях, в австралийской пустыне или на отдаленных островах Антарктики, день и ночь трудятся коллективы исследователей. Некоторые из них просто планируют будущие войны; другие изобретают все более мощные ракеты, взрывчатые вещества, все более крепкую броню; третьи ищут новые смертельные газы, сверхрастворимые яды, которые можно производить в таких количествах, чтобы уничтожить растительность целых континентов, или такие разновидности вирусов, с которыми нельзя бороться; четвертые стараются создать машину, способную передвигаться под землей, как подводная лодка, или самолет, который был бы независим от своей базы, как парусник; пятые занимаются перспективными исследованиями — возможностью фокусировать солнечные лучи через линзы, установленные в космическом пространстве за тысячи километров от Земли, а также способом искусственно вызывать землетрясения или приливные волны за счет высвобождения тепла земных недр.

Но ни один из этих проектов не удалось пока реализовать, и ни одной из трех сверхдержав не удается вырваться вперед. Удивительно, правда, что все три государства уже имеют атомную бомбу — оружие более мощное, чем то, что сулят им любые теперешние исследования. Хотя Партия, по привычке, приписывает изобретение атомной бомбы себе, следует отметить, что она появилась еще в сороковых годах и была применена в широких масштабах примерно через десятилетие. Тогда было сброшено несколько сотен атомных бомб на промышленные центры мира, главным образом в Европейской России, Западной Европе и в Северной Америке. Эффект был такой, что правящие группы во всех странах убедились: дальнейшие атомные бомбардировки приведут к уничтожению всякого организованного общества, а следовательно, и их власти. С тех пор атомные бомбы больше не сбрасывают, хотя никакого формального соглашения об этом не было и нет. Все три державы просто продолжают производить и складировать атомные бомбы до лучших времен, которые, как им кажется, рано или поздно наступят. А пока, вот уже тридцать или сорок лет, способы ведения войны почти не

изменились. Вертолеты используются шире, чем прежде, ракеты в основном вытеснили бомбардировщики, а уязвимые маневренные военные корабли уступили место Плавающим Крепостям, которые практически нельзя потопить. Но во всем остальном почти ничего не изменилось. Танки, подводные лодки, торпеды, пулеметы, даже винтовки и ручные гранаты все еще находятся на вооружении. И, несмотря на бесконечные сообщения в прессе и по мониторам о происходящей бойне, кровопролитные сражения прошлых лет, в которых гибли сотни тысяч или даже миллионы людей, больше не повторяются.

Ни одна из трех сверхдержав ни разу не предпринимала таких действий, которые могли бы окончиться серьезным поражением. Любая нынешняя крупная операция — это, как правило, неожиданное нападение на своего же союзника. Стратегия, которой придерживаются или делают вид, что придерживаются, все три сверхдержавы, одинакова. Идея ее заключается в том, чтобы, сочетая боевые действия, дипломатические переговоры и точно рассчитанные предательские удары, окружить кольцом своих баз одного из противников и, подписав с ним договор о дружбе, поддерживать мирные отношения до тех пор, пока он не потеряет бдительность. Тем временем во всех стратегически важных точках можно сосредоточить атомные бомбы и в нужный момент запустить их одновременно, причинить такие разрушения, что ответный удар не будет возможным. После этого можно подписать договор о дружбе с оставшимся соперником и готовиться к новому нападению. Стоит ли говорить, что это — просто иллюзия, которую невозможно претворить в жизнь? Больше того, ведь бои идут лишь в экваториальной и приполярной зонах, и войска ни разу не вторгались на собственную территорию противника. Именно поэтому границы между сверхдержавами в ряде районов неопределенны. Евразия, скажем, легко может захватить Британские острова, которые являются частью Европы, а с другой стороны, Океания может раздвинуть свои границы до Рейна или даже до Вислы. Но это нарушит неписаный, но соблюдаемый всеми державами принцип культурной целостности. Если Океания присоединит районы, которые когда-то назывались Францией и Германией, то придется либо истребить население этих районов, что достаточно трудно, либо ассимилировать около ста миллионов людей, которые находятся примерно на том же уровне технического развития, что и жители Океании. Перед всеми сверхдержавами одна и та же проблема. Их устройство ни при каких обстоятельствах не терпит контактов с иностранцами, за исключением (в ограниченных масштабах) военнопленных и цветных рабов. Даже на официального союзника смотрят с самыми глубокими подозрениями. Если не считать военнопленных, обыкновенный гражданин Океании никогда не видел ни евразийцев, ни востазийцев, ему запрещено изучать иностранные языки. Если разрешить общение с иностранцами, то любой обнаружит: они такие же люди, а почти все, что говорится о них, — ложь. Замкнутый мир, в котором человек живет, рухнет, а страх, ненависть и самодовольство, на которых держится его мораль, испаряется. Поэтому все воюющие стороны понимают, что, как бы часто Персия, Египет, Ява и Цейлон ни переходили из рук в руки, ничто, кроме бомб, не должно пересекать основные границы.

За этим скрывается факт, о котором не говорят вслух, но который все признают и, соответственно, учитывают в делах, — условия жизни во всех трех сверхдержавах очень похожи. В Океании государственная философия называется Ангсоц, в Евразии — Необольшевизм, а в Востазии носит китайское имя, которое переводят обычно как «Поклонение смерти», но точнее говорить «Уничтожение личности». Гражданину Океании не разрешается знать принципы двух других философий, он научен питать к ним отвращение, как к варварскому надругательству над моралью и здравым смыслом. На самом деле все три идеологии мало отличаются друг от друга, а социальные системы, возведенные на их базе, не отличаются вовсе. Это все та же пирамидальная структура общества, тот же культ полубожественного вождя, та же экономика, существующая для постоянной войны и благодаря ей. Отсюда следует, что три сверхдержавы не только не могут победить друг друга, но и ничего бы не выиграли от этого. Наоборот, пока они воюют, они подпирают друг друга, словно снопы пшеницы. И, как всегда, правящие группировки всех трех держав одновременно и понимают и не понимают, что они действительно делают. Они посвятили себя завоеванию мира, но вместе с тем прекрасно знают, что война должна быть без конца и без победы. И тот факт, что победа никому не грозит, делает возможным отрицание реальной действительности, что является характерной чертой как Ангсоца, так и соперничающих философских систем. Здесь надо повторить уже сказанное выше: став постоянной, война изменила свой характер.

В прошлом война, по самой сути этого понятия, должна была рано или поздно оканчиваться либо безусловной победой, либо поражением. Кроме того, в прошлом война была одним из главных инструментов соответствия того или иного общества реальной действительности. Все правители во все времена навязывали своим подданным ложный взгляд на мир, но они не могли позволить себе иллюзий, которые подрывали бы военную мощь. До тех пор, пока поражение означало потерю независимости или же вело к любым другим нежелательным результатам, нужны были серьезные меры для его предотвращения. Объективную реальность игнорировать было нельзя. В философии, религии, этике или политике дважды два могло равняться пяти, но когда вы создаете винтовку или самолет, дважды два должно быть четыре. Страны, которые не могли обеспечить эффективной организации производства, рано или поздно теряли независимость, а борьба за эффективность несовместима с иллюзиями. Более того, чтобы обеспечить такую эффективность, нужно было извлекать уроки из прошлого, а значит, знать подлинную его картину. Конечно, и газеты, и учебники истории и тогда грешили тенденциозностью, но фальсификация в сегодняшних масштабах была немыслима. Война оберегала от безумия, а если говорить о правящих классах, была для них самой надежной гарантией здравого мышления. Другими словами, пока войну можно было выиграть или проиграть, ни один правящий класс не мог позволить себе скатиться в безответственность.

Но когда война становится буквально непрерывной, она теряет какую бы то ни было опасность. Если война не кончается никогда, нет и такой вещи, как военная необходимость. Может остановиться технический прогресс, можно отрицать самые очевидные факты или не принимать их во внимание. Как мы уже видели,

исследования, которые можно назвать научными, еще ведутся в военных целях, но по существу они тоже в значительной степени фантастичны, и то, что они не дают результатов, уже значения не имеет. Эффективность, даже военно-промышленная эффективность, больше не нужна. В Океании ничто, кроме Полиции Мысли, не работает эффективно. Так как ни одну из сверхдержав завоевать нельзя, каждая превратилась в замкнутый мир, где возможно любое извращение мысли. Только обычные нужды — необходимость есть и пить, иметь кров и одежду, не проглотить яд, не выйти на улицу через окна верхних этажей и тому подобное — заставляют считаться с действительностью. Безусловно, еще сохранилась разница между жизнью и смертью, между наслаждением и болью, но ведь и только. Отрезанный от внешнего мира и от прошлого, житель Океании походит на человека в межзвездном пространстве, который не знает, где верх, а где низ. А правители подобного государства обладают такой властью, какой не было ни у фараонов, ни у цезарей. Они не должны позволять своим подданным умирать от голода в таких количествах, что это становится известным неудобством и для них, и они обязаны поддерживать военную технику на том же не слишком уж высоком уровне, что и их противники; соблюдая эти минимальные требования, они могут извращать реальную действительность как им вздумается.

Таким образом, сегодняшняя война, если судить по меркам предыдущих войн, просто жульничество. Она напоминает битву между жвачными животными с подрезанными рогами. Но хотя война ирреальна, она не бессмысленна. Она поглощает излишки производства и поддерживает ту особую атмосферу духа, в которой и нуждается иерархическое общество. Ныне, как нетрудно понять, война — всего лишь внутреннее дело страны. В прошлом правители всех стран хотя и понимали общность своих интересов и стремились ограничить разрушительную силу войны, но все же по-настоящему воевали друг с другом, и победитель всегда грабил побежденного. В наши дни они не воюют друг с другом. Каждая правящая группировка ведет войну с собственными подданными, и целью такой войны является не захват или удержание чужой территории, а сохранение в неприкосновенности своего общественного строя. Поэтому само слово «война» сегодня заводит в тупик. Правильней было бы сказать, что, став постоянной, война перестала быть войной. Та особая тяжесть, какую война накладывала на людей с неолита и до начала двадцатого столетия, исчезла и заменена чем-то совсем иным. И если бы три сверхдержавы договорились никогда не воевать друг с другом, жить в постоянном мире и не нарушать границ, результат был бы тот же самый, потому что в этом случае каждая осталась бы замкнутым миром, раз и навсегда освободившимся от отрезвляющего влияния внешней опасности. Подлинно постоянный мир был бы тем же, что и постоянная война. Это и есть глубинный смысл партийного лозунга: «Война — это мир», хотя большинство членов Партии понимает его поверхностно.

Уинстон оторвался от книги. Где-то далеко рванула упавшая ракета. Но блаженное чувство уединения с запретной книгой в комнате без монитора не исчезло. Одиночество и безопасность он ощущал физически, это смешивалось с

усталостью в теле, мягкостью кресла и нежностью легкого ветерка из окна. Книга заворожила его, вернее, вселила в него уверенность. В каком-то смысле она не сказала ему ничего такого, чего бы он не знал, но в этом и была своя прелесть. В книге говорилось то, что он и сам мог сказать, если бы привел в порядок свои разрозненные мысли. Книга — продукт такого же ума, только более сильного, систематического и лишенного страха. Вообще, лучшие книги те, подумал он, которые сообщают все, что ты сам уже знаешь. Ему захотелось вернуться к первой главе, но в этот момент он услышал на лестнице шаги Джулии и встал, чтобы встретить ее. Она бросила на пол коричневую сумку с инструментами и кинулась в его объятия. Они не виделись больше недели.

— Я получил книгу, — сообщил Уинстон, когда они оторвались наконец друг от друга.

— Получил? Прекрасно, — отозвалась она без особого интереса и почти сразу присела перед камином, чтобы заварить кофе.

К разговору о книге они вернулись лишь после того, как полчаса провели в постели. Вечер был довольно прохладный, и они укрылись одеялом. Со двора доносилось знакомое пение и шарканье ботинок по булыжнику. Могучая женщина с красными руками, которую Уинстон видел и в прошлый раз, словно не покидала двора. Дни напролет сновала она от корыта к веревке, развешивая белье, и когда рот ее был свободен от прищепок — пела. Джулия, свернувшись на своем краю постели, казалось, вот-вот заснет. Уинстон дотянулся до книги, лежавшей на полу, и сел, прислонившись к спинке кровати.

— Мы должны прочитать ее, — сказал он. — Ты тоже. Ее должны прочесть все члены Братства.

— Читай, — пробормотала она с закрытыми глазами. — Читай вслух. Так будет лучше. И объяснишь мне, что непонятно.

Часы показывали шесть, то есть восемнадцать. У них было еще часа три-четыре. Уинстон положил книгу на колени и стал читать.

## Глава I
## Незнание — это сила

Сколько человечество помнит себя, возможно с конца неолита, в мире всегда было три группы людей: Высшие, Средние и Низшие. В разные века они делились на разные подгруппы, их по-разному называли, изменялись их численность и отношение одной группы к другой, но принципиальная структура общества оставалась при этом неизменной. Даже после колоссальных потрясений и, казалось бы, необратимых перемен эта структура вновь утверждала себя, как гироскоп всегда возвращается к равновесию, как бы он ни отклонился.

— Джулия, ты спишь? — спросил Уинстон.

— Нет, любовь моя, я слушаю. Читай дальше. Это прекрасно.

Уинстон продолжил чтение.

Цели этих трех групп непримиримы. Высшие стремятся остаться наверху. Средние стараются поменяться местами с Высшими и занять их место. А Низшие, если у них вообще есть цель — ибо они, как правило, так задавлены тяжелой и нудной работой, что их редко волнует что-либо, кроме будничных забот, — Низшие стремятся уничтожить все различия между группами и создать общество, где все будут равны. Таким образом, на протяжении всей истории человечества идет непрерывная борьба среди трех групп, которая в общих ее чертах одинакова. Высшие порой подолгу удерживали власть в своих руках, но рано или поздно всегда наступает момент, когда они теряют либо веру в себя, либо способность управлять достаточно эффективно, либо и то и другое сразу. В такие периоды их власть опрокидывают Средние, которые призывают под свои знамена Низших, заверив их, что борьба идет за свободу и справедливость. Но, победив, Средние немедленно возвращают Низших на положение рабов, а сами становятся Высшими. И все начинается сначала: из части бывших Высших и бывших Низших вновь формируются новые Средние. Только Низшим из всех трех групп никогда, даже на короткий период, не удавалось достичь своих целей. Было бы преувеличением утверждать, что развитие истории не сопровождалось материальным прогрессом. Даже ныне, в период упадка, обыкновенный человек в материальном отношении живет безусловно лучше, чем несколько веков назад. Но ни материальное благо, ни смягчение нравов, ни реформы и революции не приблизили человеческое равенство и на миллиметр. С точки зрения Низших, любая историческая перемена сводилась в конце концов лишь к перемене имен их хозяев. К концу девятнадцатого столетия эта закономерность стала очевидной для многих. Возникли философские учения, которые утверждали, что история развивается циклически, а неравенство — неизбежный закон человеческого бытия, который отменить невозможно. Разумеется, сторонники этой доктрины были и раньше, но теперь ее формулировали несколько иначе. В прошлом идею неизбежности иерархического общества обычно проповедывали Высшие. Ее придерживались короли и аристократы, а также зависевшие от них священники и адвокаты, чьи проповеди и призывы сулили обещания воздаяния и награды в воображаемом загробном мире. Средние, пока шла борьба за власть, обычно прибегали к таким понятиям, как «свобода», «справедливость» и «братство». Но теперь на идею человеческого братства ополчились люди, которые не имели пока никакой власти, но надеялись захватить ее в ближайшем будущем. В прошлом Средние совершали революции под лозунгами равенства, а потом, сбросив старую тиранию, немедленно устанавливали новую. Нынешние новые Средние фактически заранее провозглашали свою тиранию. Появившиеся в начале девятнадцатого столетия социалистические учения, ставшие последним звеном в цепи философской мысли, рожденной воссстаниями рабов едва ли не с античных времен, несли в себе немало утопических идей прошлых веков. Однако все социалистические школы, сложившиеся после 1900 года, так или иначе, но все более откровенно отказывались считать своей целью и свободу, и равенство. А новые достижения, возникшие в середине двадцатого века, такие, как Ангсоц в

Океании, Необольшевизм в Евразии и Поклонение Смерти, как его принято называть, в Востазии, уже стремились увековечить несвободу и неравенство. Эти новейшие учения тоже выросли из старых. Они старались сохранить прежние названия и якобы верность предыдущим идеологиям. Но на самом деле целью всех новых учений было улучить момент, остановить историческое развитие и затормозить прогресс. Словно маятник должен был качнуться еще раз и навсегда застыть. Высших, как и прежде, должны были свергнуть Средние, но, став Высшими, они на этот раз благодаря новой стратегии должны были закрепить свое положение навечно.

Эти новейшие учения отчасти и возникли в силу накопления исторического знания, роста исторического мышления, чего не было до девятнадцатого столетия. Циклическое развитие истории стало понятным, или казалось, что оно понято. А раз его можно понять — значит, можно и изменить. Но главной, фундаментальной предпосылкой появления новейших учений стало то, что равенство в начале двадцатого столетия, чисто технически, оказалось вполне возможным. Нет, люди, разумеется, не сравнялись в природных способностях, и разделение труда, ставившее одних в лучшее, а других — в худшее положение, не исчезло, но отпала нужда в классовых различиях и заметном имущественном неравенстве. В прежние времена существование классов было не только неизбежно, но желательно. За цивилизацию как бы платили неравенством. Но с развитием машинного производства ситуация изменилась. И хотя люди, как и раньше, должны были использовать принцип разделения труда, им больше не надо было жить при этом на разных социальных и экономических уровнях. Поэтому с точки зрения новейших групп, собравшихся захватить власть, равенство людей стало уже не идеалом, к которому надо стремиться, а опасностью, которую следует предотвратить. В примитивные эпохи, когда справедливое и мирное общество было фактически невозможно, верить в него было довольно легко. Тысячелетиями человеческое воображение преследовала мечта о земном рае, где все будут жить как братья и где не будет законов и тяжкого труда. Такой взгляд в известной степени разделяли и те, кто выигрывал от каждого очередного исторического переворота. Наследники французской, английской и американской революций отчасти верили в собственные фразы о правах человека, свободе слова, равенстве перед законом и тому подобном и в каком-то смысле даже подчиняли им свое поведение. Но к сороковым годам нынешнего столетия все основные течения политической мысли оказались уже авторитарными. В земном рае разуверились именно тогда, когда он стал осуществим. Каждая новая политическая теория, как бы она ни звалась теперь, вела назад — к иерархии и регламентации. И по мере всеобщего ужесточения взглядов, которое сложилось примерно к 1930 году, вновь возродилось то, от чего в некоторых странах отказались сотни лет назад: тюремное заключение без суда, рабский труд военнопленных, публичные казни, пытки для выбивания нужных показаний, взятие заложников, выселение целых народов. Более того, все это терпели и даже оправдывали люди, считавшие себя и просвещенными, и прогрессивными.

Надо было, чтобы прошло еще десятилетие войн, гражданских битв, революций и контрреволюций в разных частях света, прежде чем Ангсоц и соперничающие с

ним политические течения сформировались окончательно. Впрочем, все это тоже выросло из различных политических систем, которые обычно называли тоталитарными, то есть черты того мира, что придет на смену всеобщему хаосу, отчетливо вырисовывались уже тогда. Не менее очевидным было и то, что за люди придут к власти в этом новом мире. Новую аристократию должны были составить бюрократы, ученые, инженеры, профсоюзные деятели, специалисты по общественному мнению, социологи, преподаватели, журналисты и профессиональные политики. Этих людей, выходцев из служащих или рабочей элиты, сформировал и объединил бездуховный мир монополизированной промышленности и централизованной власти. По сравнению с аристократическими слоями прошлых веков новейшая верхушка была менее алчна и склонна к роскоши, но зато гораздо больше стремилась к чистой власти, а главное, четко осознавала, чего хочет и как сокрушить любую оппозицию. Это последнее различие оказалось решающим. По сравнению с существующими ныне все тирании прошлого были неэффективными и вялыми. Правящие группы их в той или иной мере всегда были заражены либеральными идеями, допускали различные послабления, реагировали лишь на открытое неповиновение и совсем не интересовались тем, о чем думают их подданные. Даже католическая церковь в средние века, если мерить ее сегодняшними мерками, была вполне терпимой. А объяснялось это тем отчасти, что ни у одного прошлого правительства не было возможности держать под постоянным контролем своих граждан. Когда изобрели печатный станок, он облегчил управление общественным мнением, кино и радио позволили шагнуть в этом направлении еще дальше. А с развитием телевизионной техники, с изобретением монитора, который мог и передавать и принимать звуки и изображение, личной жизни пришел конец. За каждым гражданином, во всяком случае за каждым, кто заслуживает наблюдения, можно следить отныне двадцать четыре часа в сутки и весь день, лишив его доступа к другим каналам связи, кормить официальной пропагандой. Так впервые появилась возможность не только полностью подчинить человека воле государства, но и навязать единство мнений по всем вопросам.

После революционного периода пятидесятых и шестидесятых годов общество вновь разделилось на Высших, Средних и Низших. Но новые Высшие, в отличие от своих предшественников, руководствовались не интуицией, они знали, как сохранить свое положение. Уже давно стало ясно: единственной надежной основой олигархии может быть только коллективизм. Богатство и привилегии легче всего защитить, когда ими владеют сообща. Так называемая «ликвидация частной собственности», имевшая место в середине века, на самом деле означала концентрацию собственности в руках более узкого круга лиц. Разница состояла в том, что новые собственники были теперь сплоченной группой, а не отдельными индивидуумами. Ни один член Партии сам ничем не владеет, за исключением немногих личных вещей. Но коллективно Партия владеет в Океании всем, потому что она все держит под контролем и всеми продуктами труда распоряжается так, как пожелает. В пореволюционные годы нетрудно было занять это господствующее положение, потому что сам процесс шел под флагом обобществления собственности. Считалось доказанным, что, если класс капиталистов лишить собственности,

наступит социализм, собственность капиталистов без колебаний была экспроприирована. У них отняли все — заводы, шахты, землю, дома, транспорт. А раз все это перестало быть частной собственностью, значит, естественно, стало собственностью общественной. Ангсоц, выросший из старого социалистического учения и унаследовавший его фразеологию, на деле выполнил главный пункт, социалистической программы. В результате этого наступило то, что предвидели и к чему стремились, — экономическое неравенство было закреплено навсегда.

Впрочем, проблемы увековечивания иерархического общества этим не заканчивались. Правящая группа, как известно, может лишиться власти только в силу четырех причин. Ее либо сбрасывает внешний враг, либо правящая группа управляет столь неумело, что народ восстает, либо она дает возможность сформироваться сильному и недовольному Среднему слою, либо, наконец, теряет уверенность в себе и желание властвовать. Эти четыре причины не проявляются по отдельности; как правило, в той или иной степени они сказываются все сразу. Но если правящему классу удастся удержать их под своим контролем, он останется у кормила власти навечно. В конечном счете решающим фактором является психологическое состояние самого правящего класса.

В середине нынешнего века первая опасность фактически исчезла. Ни одна из трех сверхдержав, которые сегодня поделили мир, не может быть завоевана. Ослабить их могут лишь медленные демографические изменения, хотя правительству, обладающему столь широкими полномочиями, нетрудно их предотвратить. Вторая опасность также чисто теоретическая. Массы никогда не восстают сами по себе и никогда из-за того, что их угнетают. Более того, они даже не знают, что угнетены, пока им не дадут возможность сравнивать. Периодически повторявшиеся в прошлом экономические кризисы больше не нужны, и их не допускают, все прочие значительные неувязки могут происходить и происходят, но не приводят уже к политическим последствиям, поскольку нет просто-напросто никаких возможностей ясно выразить недовольство. Что касается проблемы перепроизводства, созревшей внутри общества с развитием машинной техники, то ее разрешают при помощи постоянной войны (см. главу III), которая к тому же помогает поддерживать моральный дух масс в нужном ключе. Таким образом, с точки зрения наших сегодняшних правительств, следует опасаться лишь двух вещей: появления новой группы способных, не очень занятых и рвущихся к власти людей, роста либерализма и скептицизма в их собственных рядах. А это уже проблема воспитательная. Она сводится к формированию сознания как правящего класса, так и занимающей следующую ступеньку обширной прослойки исполнителей. На сознание же народных масс следует воздействовать лишь в запретительном, негативном плане.

Отталкиваясь от этого, нетрудно представить себе всю общественную структуру Океании. На верху пирамиды находится Большой Брат. Большой Брат непогрешим и всемогущ. Все успехи, все достижения, все победы, любое научное открытие и познание, вся мудрость, все счастье, вся добродетель не только вдохновляются им, но и прямо, как утверждается, вытекают из его мудрого руководства. Никто никогда не видел Большого Брата. Он лишь лицо на плакатах и голос монитора. Мы не ошибемся, если скажем, что он никогда не умрет, и уже ныне

нет единого мнения о том, когда он родился. Большой Брат — это образ, в котором Партия желает предстать перед миром. На этой фигуре должны фокусироваться любовь, страх, благоговение, поскольку все эти чувства легче испытывать по отношению к личности, чем по отношению к организации. Вслед за Большим Братом идет Внутренняя Партия; она насчитывает примерно шесть миллионов человек, то есть не более двух процентов населения Океании. Дальше Следует Внешняя Партия, и если о Внутренней Партии говорят как о мозге государства, то Внешнюю можно уподобить рукам. Еще ниже — бессловесная масса, которую мы обычно называем «пролы». Они составляют, наверное, не менее восьмидесяти пяти процентов населения страны. Если пользоваться терминологией нашей начальной классификации, то пролы и есть Низшие, ибо население экваториального пояса, переходящее от поработителя к поработителю, не составляет сколько-нибудь постоянной или необходимой части общественной структуры.

В принципе принадлежность к любой из этих трех групп не является наследственной. Теоретически дитя членов Внутренней Партии не принадлежит к ней по рождению. Вступление во Внутреннюю или Внешнюю Партию лежит через экзамены в шестнадцатилетнем возрасте. При этом нет ни расовых предпочтений, ни географических. На самых высших постах в Партии вы найдете и еврея, и негра, и чистокровного индейца из Южной Америки, хотя администраторов любой провинции всегда подыскивают из жителей этого региона. Нигде в Океании люди не ощущают себя жителями колонии, которой управляют из отдаленной столицы. В Океании вообще нет столицы, и никто не знает, где находится номинальный глава государства. И если не считать, что английский язык — общий для Океании, а новояз — это официальная речь, никакой другой централизации в Океании нет. Правителей Океании связывают не кровные узы, а преданность ее общей идее. Разумеется, общество расслоено, причем весьма четко расслоено, и на первый взгляд расслоение это носит наследственный характер. Переход из одной общественной группы в другую случается в нем гораздо реже, чем при капитализме или даже в предындустриальный период. Между двумя частями Партии происходит определенный взаимный обмен людьми, но такие переходы лишь удаляют слабовольных из Внутренней Партии и нейтрализуют наиболее честолюбивых из Внешней Партии, давая им шанс продвинуться по служебной лестнице. На практике пролетариям дорога в Партию почти всегда закрыта. Самых способных из них, тех, кто может стать возмутителями спокойствия, выявляет Полиция Мысли, и они уничтожаются. Но такое положение дел совсем необязательно будет сохраняться всегда, во всяком случае, принципиальным оно не является. Партия — не класс в прежнем смысле этого слова. Она не ставит целью передачу власти именно своим детям. И если не найдется другого способа сконцентрировать наверху самых способных, она без колебаний наберет новое поколение руководителей даже из среды пролетариата. В критические годы тот факт, что Партия не является наследственным институтом, значительно помог в нейтрализации оппозиции. Социалисты старой формации, приученные бороться с тем, что они называли «классовые привилегии», полагали: все ненаследственное не может быть постоянным. Они не понимали, что преемственность олигархии не обязательно реализуется через материальное, им и в голову не приходило, что наследственная

аристократия недолговечна, в то время как организации, основанные на расширении своего круга, например католическая церковь, держались сотни, а то и тысячи лет. Суть олигархического правления не в наследовании власти от отца к сыну, а в непоколебимости определенного мировоззрения и образа жизни, которые мертвые диктуют живым. Правящий класс до тех пор правящий, пока он может назначить своих наследников. Партия заботится не о том, чтобы увековечить свою кровь, а о том, как увековечить себя. Кто держит в своих руках власть — неважно, лишь бы иерархический строй оставался неизменным.

Все наши убеждения, привычки, вкусы, эмоции, духовные взаимоотношения служат на деле тому, чтобы поддерживать возвышенный ореол партии и скрывать истинную природу сегодняшнего общества. Сегодня невозможны мятеж или даже самая предварительная подготовка к нему. Восстания пролетариев бояться не приходится. Предоставленные самим себе, они будут и дальше, из поколения в поколение, от века к веку, работать, плодиться и умирать, не только не пытаясь возмущаться, даже не представляя, что мир может быть иным. Опасными они могут стать лишь тогда, когда технический прогресс заставит давать им более серьезное образование, но поскольку военное и торговое соперничество не имеет уже сколько-нибудь серьезного значения, уровень образования всех слоев населения в настоящее время фактически снижается. Вот почему никого не интересует, каких мнений придерживаются или не придерживаются народные массы. Им можно вообще предоставить интеллектуальную свободу, поскольку у них интеллекта нет. Но члену Партии непростительно малейшее отклонение от общепринятых взглядов даже по самым незначительным вопросам.

Член Партии от рождения и до смерти живет под неусыпным оком Полиции Мысли. Даже оставшись один, он не может быть уверен, что действительно один. Где бы он ни был — спит он или бодрствует, работает или отдыхает, в ванной комнате или в постели, — за ним могут следить, а он даже и не будет знать об этом. Ничто в его жизни не безразлично наблюдателям. Ревностно фиксируется все — его знакомства, манера отдыхать, обращение с женой и детьми, выражение лица, когда он остается один, слова, которые он шепчет во сне, даже характерные движения тела. Заметят, безусловно, не только поступок, но малейшее отклонение от привычного поведения, новую манеру, нервный жест, ибо это может быть признаком какой-то тайной внутренней борьбы. Ведь свободы выбора у члена Партии нет ни в чем. С другой стороны, его поведение не ограничивается каким-либо законом или четкими правилами. В Океании нет законов. Мысли или действия, наказуемые (если они как-то проявятся) смертью, формально не запрещены, а бесконечные чистки, аресты, пытки, тюремные заключения и испарения применяются не как наказания за совершенные преступления, а как способ устранить тех, кто может совершить преступление когда-нибудь. У члена Партии должны быть не только правильные мнения, но и правильные инстинкты. Многое из того, во что ему предписано верить и перед чем преклоняться, никогда четко не формулировалось, да и не может быть сформулировано, ибо подобные попытки обнажили бы противоречия, присущие Ангсоцу. Если ты от природы благонадежен («добродум» на новоязе), ты в любом случае будешь интуитивно знать, какое убеждение верное и какое чувство желательно. А кроме того, тщательная

умственная тренировка в детстве, которая в целом определяется тремя словами новояза: «преступстоп», «чернобелый» и «двоемыслие», лишает тебя воли и способности слишком серьезно задумываться о чем бы то ни было.

Члену Партии не положено иметь личных чувств, он всегда должен быть готов выражать энтузиазм. Он должен всегда захлебываться от ненависти к внешним врагам и внутренним предателям, ликовать по поводу одержанных побед и преклоняться перед могуществом и мудростью Партии. Недовольство, рожденное скудной и безрадостной жизнью, преднамеренно направляют на внешние объекты и дают ему выход во время, например, Двухминуток Ненависти, а мысли, которые могли бы вызвать скептическое или мятежное настроение, заблаговременно подавляются воспитанной с детства внутренней дисциплиной партийца. Сперва учат самому простому, тому, что могут усвоить даже дети, — преступстопу. Преступстоп означает умение пресечь, едва ли не инстинктивно, любую опасную мысль. Сюда входит способность не видеть аналогий, не замечать логических ошибок, не принимать самых простых аргументов, если они враждебны Ангсоцу, и испытывать невыносимую скуку или отвращение к такому ходу рассуждений, который может привести к ереси. Говоря коротко, преступстоп означает защитную тупость. Но одной тупости мало. Напротив, благонадежность в полном смысле слова требует, чтобы ты владел своими мыслями и чувствами так же хорошо, как акробат владеет своим телом. В конечном счете общество Океании стоит на вере во всемогущество Большого Брата и непогрешимость Партии. Но поскольку в действительности Большой Брат не может быть всемогущим, а Партия совершает ошибки, нужна неустанная, поминутная гибкость в обращении с фактами. И здесь на передний план выходит слово чернобелый. Как и многие слова новояза, оно имеет два взаимоисключающих значения. По отношению к противнику им обозначают его привычку бесстыдно называть черное белым вопреки очевидным фактам. По отношению к члену Партии это слово означает его готовность назвать, когда того требует партийная дисциплина, черное белым. Но не только назвать — верить, что черное есть белое, более того, знать, что черное есть белое, и напрочь забывать, что когда-то ты верил в обратное. Для этого требуется постоянное изменение прошлого, которое возможно лишь при такой системе мышления, охватывающей, по сути, все и называемой на новоязе двоемыслием.

Переделка прошлого необходима по двум причинам, причем одна из них как бы второстепенная, профилактическая. Она заключается в том, что член Партии, как и пролетарий, смиряется с условиями жизни потому, что ему не с чем сравнивать. Он должен быть отгорожен как от прошлого, так и от зарубежных стран, ибо ему надо верить, что он живет лучше предков и что уровень материального благосостояния в стране постоянно растет. Но гораздо более важная причина постоянной фальсификации истории состоит в том, чтобы обеспечить дальнейшее пребывание Партии у власти, обеспечить ту самую непогрешимость ее. И здесь фальсификация не сводится к подгонке под требования сегодняшнего дня всевозможных речей, статистики и отчетов, с тем чтобы продемонстрировать, что все предсказания Партии сбываются. Она осуществляется и потому еще, что ни при каких обстоятельствах нельзя признать, что в партийной доктрине или политической линии Партии происходят хоть какие-то изменения. Признать это значило бы

признать свою слабость. Если, например, Евразия или Востазия (неважно, кто из них) враг сегодня, следовательно, эта страна врагом была всегда. А если факты говорят обратное, тогда надо изменить факты. Вот почему история постоянно переписывается. И эта не прекращающаяся ни на день подчистка прошлого, осуществляемая Министерством Правды, в такой же мере необходима для стабильности режима, как репрессии и шпионаж, проводимые Министерством Любви.

Изменчивость прошлого — главный догмат Ангсоца. Утверждается, что события прошлого объективно не существуют, они остаются лишь в письменных документах и в памяти людей. Поэтому прошлое — это то, на чем сходятся и документы, и человеческие воспоминания. А поскольку Партия полностью контролирует все документы и одновременно разум всех своих членов, то отсюда следует: прошлое становится таким, каким желает видеть его Партия. Отсюда вытекает, что, хотя прошлое и меняется, его никто никогда не меняет. Ведь когда оно сфальсифицировано в той нужной на сегодня форме, оно и есть прошлое, и никакого другого прошлого в природе быть не могло. И это справедливо даже тогда, когда (как это нередко бывает) одно и то же событие меняется до неузнаваемости по нескольку раз в год. Партия всегда обладает абсолютной истиной, а абсолютная истина не может быть иной, чем в данный момент. Контроль над прошлым — и это понятно — зависит прежде всего от тренировки памяти. Убедиться, что все документальные свидетельства полностью согласуются с принятой на сегодня точкой зрения, — задача чисто механическая. Но ведь необходимо помнить, что события происходили именно так. И раз нужно изменить воспоминания и подделать документы, значит, необходимо и забывать, что ты это совершал. Научиться этому трюку не труднее, чем любому другому. И большинством членов Партии, во всяком случае теми, кто не только благонадежен, но и умен, этот трюк усваивается. На староязе это называлось прямо — «контроль над действительностью». На новоязе это зовется двоемыслием, хотя двоемыслие включает в себя и многое другое.

Двоемыслие — это способность придерживаться одновременно двух взаимоисключающих убеждений и верить в оба. Партийный интеллектуал знает, в каком направлении он должен менять свои воспоминания, а поэтому не может не знать, что пытается обмануть реальную действительность, хотя, прибегнув к двоемыслию, тут же утешает себя тем, что реальная действительность не пострадала. Весь этот процесс должен быть осознанным, в противном случае его не осуществишь достаточно четко, и в то же время процесс должен быть бессознательным, ибо иначе останется ощущение лжи, а значит, и вины. Двоемыслие — самая сердцевина Ангсоца, поскольку Партия намеренно использует сознательный обман и при этом твердо и честно следует своим целям. Следовательно, необходимо твердить сознательную ложь и искренне верить в нее, забывать любой неудобный факт, а потом, когда понадобится, извлекать его из забвения на какое-то время, отрицать объективную реальность и в то же время учитывать ее, несмотря на отрицание, и принимать в расчет. Даже употребляя слово «двоемыслие», необходимо применять двоемыслие. Ибо, употребляя это слово, вы признаете, что искажаете реальную действительность, но, прибегнув к двоемыслию, вы стираете в памяти это признание. И так без конца, ложь всегда должна на один

прыжок опережать правду. В конце концов, именно с помощью двоемыслия Партия сумела остановить историю и, насколько можно судить, сможет делать это еще хоть тысячелетия.

Все прошлые олигархии пали либо потому, что костенели, либо потому, что чересчур размягчались. Или они становились тупыми и самоуверенными, не умели приспособиться к меняющимся обстоятельствам, и их свергали, или, напротив, превращались в либеральные и трусливые, шли на уступки, когда следовало применить силу, и опять же их свергали. Их, что называется, губили либо сознательность, либо отсутствие ее. И достижением Партии стала выработка такой системы мышления, при которой оба состояния могут существовать одновременно. Ни на какой другой базис власть Партии, если она хочет быть вечной, опираться не может. Вы должны уметь искажать чувство реальности, чтобы править и править. Ибо секрет власти заключается в умении соединять веру в собственную непогрешимость со способностью учиться на ошибках прошлого.

Естественно, искуснее всех двоемыслием владеют те, кто его изобрел, кто хорошо знает, что двоемыслие — это целая система интеллектуального надувательства. В нашем обществе те, кто лучше всех знает, что происходит на самом деле, хуже всех видят мир таким, какой он есть на самом деле. В общем, чем больше понимания — тем больше самообмана, чем больше интеллекта — тем меньше здравого смысла. Яркий пример тому — военный психоз, который тем сильнее, чем выше мы поднимаемся по ступенькам иерархической структуры. Самое разумное отношение к войне проявляют народы спорных территорий. Для них война просто бесконечное бедствие, которое, как приливная волна, перекатывается по их телам. И им совершенно безразлично, кто побеждает в этих войнах. Ведь перемена хозяев (они хорошо это знают) означает лишь то, что им, как и раньше, придется работать, но только на новых господ, которые будут обращаться с ними, как и прежние. Рабочие, находящиеся в несколько лучшем положении, те, кого мы называем «пролами», думают о войне лишь время от времени. Когда необходимо, в них можно возбудить истерию страха и ненависти, но стоит их оставить в покое, как они надолго забывают о войне. Но подлинный военный энтузиазм мы найдем лишь в рядах членов Партии, и прежде всего — Внутренней Партии. В завоевание мира больше всего верят те, кто хорошо знает, что оно невозможно. Это, казалось бы, странное соединение противоположностей — знания и незнания, цинизма и фанатизма — одна из самых характерных черт общества Океании. Официальная идеология изобилует противоречиями даже там, где для этого нет никакой практической нужды. Так, например, Партия отрицает и поносит все основополагающие принципы, за которые когда-то боролись социалисты, и делает она это именем социализма. Она проповедует такое презрение к рабочему классу, какого не было даже в предыдущие века, но в то же время одевает своих членов в форму, которая когда-то была традиционной для людей, занимавшихся физическим трудом, и именно для них и была придумана. Она систематически разрывает связи между членами семьи и в то же время дает вождю имя, которым пытается играть на чувстве семейной сплоченности. Даже названия четырех Министерств, управляющих страной, — это бесстыдное и преднамеренное искажение фактов. Министерство Мира занимается войной, Министерство Правды — ложью,

Министерство Любви — пытками, а Министерство Изобилия — голодом. Это вовсе не случайные противоречия и не результат обычного лицемерия. Это двоемыслие на деле. Потому что, лишь примиряя противоречия, можно вечно удерживать власть. Никаким другим способом извечный цикл разорвать нельзя. Если мы хотим навсегда избежать равенства людей, если Высшие, как мы их назвали, хотят навеки занимать свое место, то доминирующим состоянием духа людей должно стать организованное безумие.

Но есть еще один вопрос, который мы пока почти не затрагивали: почему равенство людей недопустимо? Предположим, что сущность происходящих процессов описана верно, но что все-таки лежит за этой масштабной, тщательно планируемой попыткой остановить, пресечь историю в конкретной временной точке?

И здесь мы подходим к главному секрету. Как мы уже видели, тайна Партии, прежде всего Внутренней Партии, зависит от двоемыслия. Но еще глубже лежит первопричина, инстинкт, не берущийся под сомнение, который когда-то побудил Партию сперва захватить власть, а потом вызвать к жизни и двоемыслие, и Полицию Мысли, и бесконечную войну, и все остальное. Эта первопричина заключается…

Уинстон слышал тишину, как новый звук. Ему показалось, что Джулия слишком долго молчит. Она лежала на боку, обнаженная до пояса, подложив руку под голову. Темная прядь волос упала ей на глаза. Грудь вздымалась медленно и покойно.

— Джулия.

Ответа не последовало.

— Джулия, ты спишь?

Ответа опять не последовало. Она спала. Уинстон закрыл книгу, аккуратно положил ее на пол, вытянулся и накрыл одеялом себя и Джулию.

Он так и не узнал о главном секрете, подумал он. Он понимал — как, он не понимал — зачем. Первая глава, как и третья, в общем-то не сказала ему в сущности ничего нового, она лишь привела в систему его знания. Но, прочитав эту главу, он, по крайней мере, убедился, что не сошел с ума. Даже если ты в меньшинстве, даже если все меньшинство — ты один, это не значит еще, что ты сумасшедший. Есть правда, и есть неправда, и, если ты придерживаешься правды, а весь мир против нее, это не значит еще, что ты сошел с ума. Луч заходящего солнца пробился сквозь занавеску и упал на подушку. Уинстон закрыл глаза. Тепло солнца, прикосновение к гладкому телу девушки вселили в него сонное, надежное ощущение уверенности в себе. Он в безопасности, все будет хорошо. Он засыпал, прошептав: «Здравый смысл — это не статистика», чувствуя, что в этих словах заключен глубокий смысл.

## 10

Проснулся он с чувством, что спал долго, но, взглянув на старинные часы, увидел, что еще двадцать тридцать. Он немного полежал в полудреме, пока не услышал во дворе знакомый сильный голос:

Глупо было надеяться даже.
Все прошло, как апрельские дни,
Но слова те, тот взгляд, те мечты, все подряд, —
Мое сердце украли они!

Глупая песенка все еще была популярна. Ее еще пели повсюду. Она пережила «Песню Ненависти». Пение разбудило Джулию, она сладко потянулась и выскользнула из постели.

— Хочу есть, — сказала она. — Давай заварим кофе. Черт побери! Керосинка погасла, и вода холодная. — Она подняла ее и встряхнула. — Весь керосин выгорел.

— Думаю, старик Чаррингтон одолжит нам немного.

— Занятно, я вроде проверяла — была полная. Я оденусь, — добавила она. — Что-то похолодало.

Уинстон тоже встал и оделся. А голос без устали пел:

Говорят, все на свете изменит,
Все сотрет круговерть зим и лет,
Но улыбки и слезы через годы и грозы
Мучат сердце, которого нет.

Затягивая ремень комбинезона, Уинстон подошел к окну. Солнце ушло за дома, лучи его не заливали двор. Каменные плиты были мокрыми, как будто их только что вымыли, и небо, казалось, вымыли тоже — такой чистой и бледной была голубизна в просветах между дымовыми трубами. Женщина во дворе без устали сновала взад и вперед, зажав во рту прищепки и вытаскивая их по одной; она то принималась петь, то умолкала, вновь и вновь развешивая пеленки. Интересно, она берет в стирку чье-то белье и живет этим или же у нее двадцать или тридцать внучат, которых она обстирывает?

Джулия подошла к нему и встала рядом — теперь оба с восторгом смотрели на мощную фигуру внизу. Наблюдая за работой женщины, глядя, как ее большие сильные руки тянутся к веревкам, как выступают мощные, словно у кобылицы, ягодицы, Уинстон вдруг подумал, что она прекрасна. Ему никогда не приходило в голову, что прекрасным может быть тело пятидесятилетней женщины, раздавшееся после многочисленных родов до чудовищных размеров, огрубевшее от работы настолько, что теперь оно стало жестким, как кочерыжка перезревшего турнепса. Но женщина была прекрасна, почему бы и нет? — подумал Уинстон. Мощное тело, потерявшее свои очертания, будто гранитная глыба, красная обветренная кожа — все это имело такое же отношение к фигуре юной девушки, как ягоды шиповника к его цветам. Но почему плод хуже цветка?

— Нет, она прекрасна, — пробормотал Уинстон.

— У нее бедра, наверное, с метр, — отозвалась Джулия.

— Такая красота, — ответил Уинстон.

Рукой он обнимал гибкую талию Джулии. Они прижимались друг к другу, бедро к бедру. У них никогда не будет ребенка. Это невозможно. И свою тайну они могут передавать лишь словами, от разума к разуму. У женщины во дворе нет разума — лишь сильные руки, горячее сердце да плодоносное чрево. Интересно, сколько детей она родила? Может, даже пятнадцать. Ее расцвет был недолгим, распустилась на год, как дикая роза, а потом разбухла, как плод, и стала крепкой, краснокожей и грубой, а вся ее жизнь на протяжении лет тридцати заключалась в вечной стирке, мытье полов, штопке, приготовлении еды, вытирании пыли, чистке обуви и починке, сначала для детей, затем — для внуков. И через три десятка таких вот лет она еще и поет. Тайное благоговение, которое Уинстон испытывал по отношению к этой женщине, словно окрашивалось бледным безоблачным небом в просветах между дымовыми трубами, которое уводило взгляд куда-то далеко-далеко. Странно думать, что небо на всех одно — и в Евразии, и в Востазии, и здесь. И люди под этим небом везде одинаковые, везде, во всем мире, сотни, тысячи, миллионы таких, как эти, которые даже не знают, что есть подобные им, что они разделены стенами лжи и ненависти, что они одинаково не научились мыслить, но хранят в своих сердцах, животах и мускулах ту силу, которая когда-нибудь перевернет мир. Если есть надежда, то она в пролах! Он еще не дочитал книгу, но знал, что Гольдштейн придет к этому выводу. Будущее принадлежит пролам. Но можно ли быть уверенным, что, когда придет их время, мир, построенный ими, не станет враждебен ему, Уинстону Смиту, как сегодняшний мир Партии? Да, можно, во всяком случае, это будет не мир безумия. Там, где есть равенство, можно мыслить здраво. Рано или поздно это произойдет, сила станет разумом. Пролы бессмертны, в этом нельзя сомневаться, глядя на богатырскую фигуру во дворе. В конце концов они пробудятся от спячки. А пока это случится, пусть даже через тысячу лет, они будут жить, преодолевая все, и останутся живы, как птицы, передающие жизнеспособность от поколения к поколению, жизнеспособность, которой нет у Партии и которую она не в силах убить.

— Ты помнишь, — спросил он, — дрозда, что пел для нас в тот первый день в лесу, на опушке?

— Он пел не для нас, — ответила Джулия. — Он пел для себя. Нет, и это неверно. Он просто пел.

Птицы поют, пролы поют, не поет только Партия. Во всех концах мира, в Лондоне и Нью-Йорке, в Африке и Бразилии, в загадочных запретных землях за границей, на улицах Парижа и Берлина, в деревнях безбрежных равнин России, на базарах Китая и Японии — всюду стоит эта сильная, непобедимая женщина, изуродованная трудом и родами, работающая от рождения до смерти и все еще поющая. Из этого мощного чрева выйдет когда-нибудь порода думающих, сознательных людей. Мы мертвецы, будущее принадлежит им. Но мы можем войти в то будущее, если сохраним живой разум, как они сохраняют живое тело, и будем передавать из поколения в поколение тайное учение о том, что дважды два — четыре.

— Мы мертвецы, — сказал Уинстон.

— Мы мертвецы, — послушно повторила Джулия.

— Вы мертвецы, — сказал железный голос сзади. Они отскочили друг от друга. Все внутри Уинстона оледенело. Он видел, как расширились глаза Джулии. Она стала молочно-желтой. Нестертые румяна выделялись на ее щеках, будто отклеивались от кожи.

— Вы мертвецы, — повторил железный голос.

— Это за картиной, — выдохнула Джулия.

— Это за картиной, — сказал голос. — Стоять на месте. Не двигаться, пока не прикажут.

До них добрались, добрались в конце концов! Они ничего не могли поделать, только стояли и смотрели друг другу в глаза. Бежать, выбраться из дома, пока не поздно, — эта мысль даже не пришла им в голову. Немыслимо не подчиниться железному голосу из-за картины. Что-то щелкнуло, как будто повернули шпингалет, послышался звон разбивающегося стекла. Офорт упал на пол, за ним был монитор.

— Теперь они видят нас, — сказала Джулия.

— Теперь мы видим вас, — подтвердил голос. — Встаньте посередине комнаты. Спиной к спине. Руки за голову. Не прикасаться друг к другу.

Они не прикасались друг к другу, но Уинстону казалось, что он чувствует, как Джулия дрожит всем телом. А может быть, это дрожал он. Уинстон сжал зубы, чтобы они не стучали, но не смог сдержать дрожь в коленях. Топот сапог был слышен внизу, в доме и во дворе. Похоже, там было уже полно людей. Что-то тащили по булыжникам. Пение женщины оборвалось. Кто-то пнул корыто, и оно, грохоча, полетело по камням. Потом понеслась ругань, которая прервалась криком боли.

— Дом окружен, — сказал Уинстон.

— Дом окружен, — подтвердил голос. Уинстон слышал, как стучат зубы Джулии.

— Я думаю, нам надо попрощаться, — сказала она.

— Вам надо попрощаться, — сказал голос. А вслед за этим совсем другой — высокий, интеллигентный — голос, который показался Уинстону знакомым: — Кстати, пока мы не ушли от темы: «Вот свечка вам на ночь, давайте зажжем, а вот и палач ваш — палач с топором!»

Что-то со звоном посыпалось на кровать. В окно втолкнули лестницу, которая выбила стекла. Кто-то лез по ней со двора, но и в доме уже слышался топот ног. Комнату заполнили крепкие парни в черной форме, в кованых сапогах и с дубинками в руках.

Уинстон больше не дрожал. Даже взгляд застыл. Сейчас главное — не двигаться, не двигаться и не давать повода ударить себя. Человек с литой челюстью боксера и щелью вместо рта остановился напротив Уинстона, поигрывая дубинкой. Глаза их встретились. Ощущение наготы, когда руки за головой, а лицо и тело ничем не защищены, стало невыносимым. Кончиком белого языка человек с дубинкой облизал то место, где должны быть губы, и отошел. Раздался треск. Кто-то схватил пресс-папье и разнес его вдребезги о каминную полку.

Кусочек коралла, крошечная красноватая звездочка, словно сахарная розочка с торта, покатился по половику. Какой маленький, подумал Уинстон, какой же он маленький! Глухой удар и судорожный всхлип послышался сзади, что-то сильно толкнуло Уинстона по ноге, от чего он чуть не потерял равновесие. Один из вошедших ударил Джулию в солнечное сплетение, и она согнулась от боли, как

складная линейка. Она билась на полу, пытаясь вдохнуть. Уинстон не осмелился повернуть голову и на миллиметр, но пару раз краем глаза видел посиневшее, задыхающееся лицо. К собственному ужасу прибавилась ее боль, словно это он не мог дышать и бился в судорогах на полу. Он знал, что это такое — страшное, агонизирующее страдание и всеохватное, непереносимое удушье. Потом двое подхватили ее за колени и плечи и вынесли из комнаты, как мешок. Промелькнуло ее запрокинутое лицо, желтое, искаженное от боли, с закрытыми глазами и следами румян на щеках. Он видел ее в последний раз.

Его, замершего на месте, еще ни разу не ударили. А мысли, приходившие в голову, как бы не касались его. Взяли ли они мистера Чаррингтона? Что они сделали с женщиной во дворе? Он подумал, что надо бы пойти в туалет и помочиться, слегка удивился, потому что был в уборной два-три часа назад. Часы на камине показывали девять, то есть двадцать один час. Но почему-то было светло. Разве не темнеет в двадцать один час? В августе? А вдруг они с Джулией все-таки ошиблись и проспали аж двенадцать часов и теперь было не двадцать тридцать, как они думали, а восемь тридцать утра? Но развивать эту мысль он не стал. Теперь это было неважно.

В коридоре послышались легкие шаги. В комнату вошел мистер Чаррингтон. Поведение людей в черном мгновенно изменилось. Но что-то изменилось и в самой внешности мистера Чаррингтона. Взгляд его упал на пресс-папье.

— Уберите это, — резко приказал он.

Один из охранников послушно нагнулся. Странно, но в речи мистера Чаррингтона больше не слышался характерный акцент кокни; Уинстон вдруг узнал, чей голос только что звучал по монитору. Мистер Чаррингтон по-прежнему был в старом вельветовом пиджаке, но волосы его, почти седые, стали черными. Не было и очков. Он кинул на Уинстона цепкий взгляд, словно проверил, он ли это, и уже не обращал на него никакого внимания. Чаррингтон был похож на себя, но перемена в нем все равно была разительной. Фигура его распрямилась, казалось, он стал выше ростом. Неуловимо изменилось лицо, оно стало другим. Черные брови оказались уже не густыми, исчезли морщины, изменился овал лица, даже нос стал как будто короче. Теперь это было холодное, настороженное лицо человека лет тридцати пяти. Впервые в жизни Уинстон видел перед собой, точно зная это, сотрудника Полиции Мысли.

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## 1

Он не знал, где он. Вероятно, в Министерстве Любви, хотя проверить это невозможно.

Камера с высоким потолком и без окон была отделана белой изразцовой плиткой. Холодным светом горели скрытые лампы, и откуда-то доносился низкий гудящий звук — очевидно, работала вентиляция. Вдоль стены шла узкая скамья,

похожая на полку, на которой можно было только сидеть. Она прерывалась лишь у двери и параши без стульчака. В камере было четыре монитора — по одному на каждой стене.

Тупо ныл живот. Боль не проходила с тех пор, как его швырнули в полицейскую машину и повезли. А еще хотелось есть, это было какое-то грызущее нездоровое чувство. Он не ел, наверное, уже сутки, а может быть, и больше. И по-прежнему не знал, а возможно, и никогда теперь не узнает, когда был арестован — утром или вечером. И с момента ареста ему не давали есть.

Он сидел не шевелясь на узкой скамье, сложив руки на коленях. Уинстон хорошо усвоил: сидеть надо не шевелясь. Стоило сделать резкое движение, как из монитора раздавался окрик. Но есть хотелось все сильней. Хоть бы кусочек хлеба. Он вдруг решил, что в кармане комбинезона завалялись хлебные крошки. А может, там даже целая корка, подумал он, потому что иногда что-то царапало по ноге. В конце концов желание проверить догадку перебороло страх, и он сунул руку в карман.

— Смит! — заорал монитор. — Номер 6079, Смит У.! Руки из карманов! Вы — в камере!

Он снова скрестил руки на коленях и замер. Прежде чем привезти сюда, его держали в другом месте. Не то в полицейском участке, не то в камере предварительного заключения, которую используют патрули. Сколько он пробыл там — неизвестно. По крайней мере, несколько часов. Трудно определить время, когда не видишь ни циферблата, ни окон. Та камера была шумной и зловонной. Она напоминала эту, но была отвратительно грязной и битком набитой людьми. В большинстве своем — уголовниками, среди которых было несколько политических. Стиснутый со всех сторон грязными телами, он сидел, прислонившись к стене, и от страха и боли в животе не замечал ничего. И тем не менее ему бросалась в глаза удивившая его разница в поведении членов Партии и других арестантов. Первые были запуганы и молчаливы, а уголовники, казалось, плевали на все. Они громко орали и оскорбляли охрану, лезли в драку, когда пытались конфисковать их вещи, малевали ругательства на полу, жевали принесенную контрабандой и припрятанную в складках одежды еду, а когда монитор пытался установить порядок, поднимали такой крик, что он умолкал. С другой стороны, кое-кто из них был, казалось, в приятельских отношениях с охранниками, знал их прозвища, клянчил у них сигареты через «глазок». Стража, в свою очередь, тоже обходилась с уголовниками снисходительно, даже тогда, когда приходилось применять силу. Чаще всего в камере говорили о лагерях, куда, ожидалось, попадут все. В лагере, понял Уинстон, «жить можно», но нужно иметь связи и друзей. Там процветают взятки, блат, вымогательство, гомосексуализм и проституция, там можно найти даже подпольный самогон из картошки. А доверяют там лишь уголовникам, особенно бандитам и убийцам, которые составляют местную аристократию. Самая грязная работа достается политическим.

Арестованных приводили и уводили. Здесь были продавцы наркотиков, воры, бандиты, спекулянты с черного рынка, алкоголики и проститутки. Иные пьяницы так бузили, что остальным общими усилиями приходилось усмирять их. Однажды четверо охранников втащили в камеру огромную старуху лет шестидесяти, вернее, то, что от нее осталось. Она орала, лягалась и рвалась из рук так, что выскочила

наружу ее громадная грудь и растрепались густые седые волосы. С нее стащили башмаки, которыми она пыталась пнуть, охранников, и швырнули ее на колени Уинстону, едва не сломав ему кости. Старуха немедленно приподнялась, крикнула им вдогонку: «Ублюдки!» — и, заметив, что сидит на чем-то неровном, сползла с колен Уинстона на скамью.

— Извиняюсь, голубчик, — пробормотала она. — Я не хотела садиться к тебе на колени, меня швырнули эти педерасты. Они не знают, как положено обращаться с леди. Не слышали никогда. — Старуха помолчала, похлопала по груди и икнула. — Извиняюсь еще раз, — сказала она. — Я еще маленько не того.

Потом наклонилась, и ее сильно стошнило на пол.

— Так-то лучше, — зашептала она, откидываясь назад и не открывая глаз. — Никогда не надо держать в себе это. Это мой принцип. Выворачивай все это, пока оно свежее. Так-то.

Теперь она оживилась, еще раз глянула на Уинстона и, кажется, воспылала к нему симпатией. Огромной ручищей она обняла его за плечи и, дыша блевотиной и пивом, притянула к себе.

— Как, голубчик, зовут тебя?

— Смит, — ответил Уинстон.

— Смит? — удивилась женщина. — Вот это да! Я тоже Смит. А вдруг, — добавила она игриво, — а вдруг я твоя мать?

Вполне возможно, подумал Уинстон, вполне возможно. И возраст, и телосложение подходят, и рост, а за двадцать лет лагерей можно здорово измениться.

Больше никто не заговаривал с ним. Удивительно, но уголовники почти игнорировали политических. «Политы», с презрением называли они их, не проявляя даже любопытства. А члены Партии были настолько запуганы, что боялись говорить с кем бы то ни было, и уж тем более друг с другом. Только раз, когда две партийки оказались плотно прижатыми на скамье, Уинстон выхватил в общем гвалте несколько слов о какой-то комнате «один-ноль-один», но не понял, что это значит.

И вот два или три часа, как он здесь. Тупая боль в животе так и не проходила, но порой она чуть отпускала, а иногда становилась нестерпимой. В зависимости от этого работало и сознание Уинстона. Когда боль обострялась, он думал только о ней и о еде. Когда же живот отпускало, его охватывала паника. В иные минуты он видел наперед все, что с ним случится, да так ярко, что его сердце выпрыгивало из груди и прерывалось дыхание. Он ощущал удары дубинкой по локтям, чувствовал, как подкованные железом сапоги бьют его по коленям, видел себя ползающим по полу и молящим о пощаде разбитым ртом. Он почти не думал о Джулии — не мог сосредоточиться на мысли о ней. Он любит ее и не предаст, но это звучало в нем как заученная истина, как правило арифметики. Он не чувствовал любви к ней и почти не задумывался, что с ней сейчас происходит. Гораздо чаще со слабой надеждой он думал об О’Брайене. О’Брайен должен уже знать о его аресте. Братство, говорил он, никогда не пытается спасти своих членов. Но есть бритвенные лезвия, их стоит только передать. Всегда найдется пять секунд, прежде чем охранники ворвутся в камеру. С обжигающим холодом лезвие вопьется в тело и порежет даже пальцы, которыми он будет сжимать его. Уинстон ощутил это все больным телом,

сжимавшимся от новой боли. Он не был уверен, что воспользуется лезвием, даже если появится такой шанс. Куда естественнее цепляться за минуту, тянуть время, даже если впереди ждет пытка.

Иногда он пробовал считать изразцовые плитки на стенах. Вроде бы ничего сложного, но он всякий раз сбивался со счета. И в голову опять навязчиво лезло: где же я нахожусь и который теперь час? Порой ему казалось, что сейчас на улице день, а иногда с такой же уверенностью он думал, что ночь. Он уже догадался, что здесь свет не выключают никогда. Здесь не бывает темноты. Теперь он сообразил, почему О'Брайен так легко понял его намек. В Министерстве Любви нет окон. И камера, в которой он сидел, могла быть как в самой середине здания, так и у внешней стены. Она могла быть на глубине десяти этажей под землей или на тридцатом этаже, высоко в небе. Мысленно он переносил свою камеру с места на место и по физическим ощущениям тела пытался угадать, где же он все-таки: висит высоко в небе или же похоронен глубоко в земле?

Снаружи послышались шаги. Стальная дверь с лязгом открылась. Щеголеватый молоденький офицер в ладной черной форме, которая, казалось, сияла отполированной кожей, с бледным лицом, похожим на восковую маску, шагнул в камеру. Он дал знак охранникам ввести заключенного. И в камеру, еле волоча ноги, вошел поэт Эмплфорс. Дверь, закрываясь за ним, вновь загремела.

Эмплфорс неуверенно шагнул сначала в одну, потом в другую сторону, словно отыскивая вторую дверь, в которую можно выйти, а затем принялся ходить взад и вперед по камере. Он все ещё не замечал Уинстона. Его встревоженный взгляд блуждал по стене гораздо выше головы Уинстона. Поэт был без ботинок, большие грязные пальцы ног высовывались сквозь дыры в носках. По-видимому, он несколько дней не брился. Жесткая щетина покрывала его щеки, придавая ему разбойничий вид, плохо вязавшийся с большим слабым телом и нервными движениями.

Уинстон встряхнулся, выводя себя из летаргического состояния. Он должен поговорить с Эмплфорсом; конечно, монитор облает, но надо рискнуть. И потом, возможно, именно Эмплфорс принес лезвие.

— Эмплфорс, — позвал он.

Монитор молчал. Эмплфорс остановился, слегка удивленный. Его взгляд медленно сфокусировался на Уинстоне.

— А, Смит! — сказал он. — И тебя взяли!

— За что тебя арестовали?

— Вообще-то говоря… — Он неуклюже опустился на скамейку напротив Смита. — Всех берут за одно и то же преступление. Разве не так?

— И ты совершил его?

— Вероятно.

Он положил руки на лоб и сжал виски, будто припоминая что-то.

— Все мы совершаем преступления, — начал он туманно. — Я могу припомнить лишь один случай — возможно, дело в нем. Безусловно, очень неблагоразумно с моей стороны. Мы подготовили исправленное издание стихов Киплинга. И в конце строки я оставил слово «Бог». Я ничего не мог поделать! — добавил он почти негодующим тоном, подняв глаза, чтобы взглянуть на Уинстона. — Невозможно

было, понимаешь, изменить строку. Ты же знаешь, во всем английском языке только двенадцать рифм на слово «Бог»? Я целыми днями ломал голову, искал подходящие рифмы. Но их нет.

Выражение его лица изменилось. Ушло раздражение, и на мгновение он показался даже довольным. Сквозь щетину и грязь проступило тепло интеллекта, радость педанта, открывшего нечто, пусть и бесполезное.

— Тебе не приходило в голову, что вся история английской поэзии была предопределена тем, что в английском языке слишком мало рифмующихся слов?

Нет, Уинстону никогда не приходила в голову подобная мысль. Кроме того, в данных обстоятельствах она тем более не показалась ему ни важной, ни интересной.

— Ты не знаешь, который час?-спросил он.

Эмплфорс опять удивился.

— Я не думал об этом. Меня арестовали два или три дня назад. — Глаза его опять зашарили по стенам, словно он надеялся отыскать окно. — Тут не узнаешь, когда ночь, а когда день. Не знаю, как можно определить время.

Бессвязная беседа продолжалась еще несколько минут, пока монитор, без видимой причины, не приказал им замолчать. Уинстон опять уселся, сложив руки на коленях. Эмплфорс, который не помещался на узкой скамейке, ерзал из стороны в сторону, обхватывая худыми руками то одно, то другое колено. Монитор рявкнул на него, приказав сидеть неподвижно. Время шло: двадцать минут, час, трудно сказать сколько. Потом за дверью вновь раздались шаги. Внутри Уинстона все сжалось. Скоро, очень скоро, быть может, через пять минут, а может, прямо сейчас придет вместе с топотом сапог и его очередь.

Дверь распахнулась. В камеру вошел офицер с восковым лицом. Короткий взмах руки в сторону Эмплфорса.

— Камера 101, — сказал он.

Эмплфорс неуклюже двинулся к выходу в сопровождении охранников. На лице его было написано смутное беспокойство, хотя он не понимал, куда его повели.

Опять прошло немало времени. Боль в животе возобновилась. Его мысли крутились в одной и той же колее, словно шарик игрового автомата, попадая в одни и те же пазы: боль в животе… кусочек хлеба… кровь и вопли… О'Брайен… Джулия… лезвие бритвы… Сердце опять сжалось: снова послышался топот тяжелых сапог. Дверь громыхнула, и волна острого запаха пота ворвалась в камеру. Вошел Парсонс. Он был в шортах цвета хаки и в спортивной рубашке.

На этот раз Уинстон так поразился, что забыл даже о своих напастях.

— Ты здесь? — крикнул он.

Парсонс бросил на Уинстона взгляд, в котором не было ни интереса, ни удивления, одно лишь страдание. Нервно заходил взад и вперед — он явно не мог успокоиться. И всякий раз, когда его пухлые колени распрямлялись, было видно, как они дрожат. Широко раскрытые глаза, казалось, что-то видят перед собой и не могут оторваться.

— За что тебя взяли? — спросил Уинстон.

— Преступное мышление! — чуть ли не рыдая, ответил Парсонс. В голове звучало и полное признание вины, и ужас, что это слово может относиться к нему. Он верил и не верил, что это случилось. Он остановился напротив Уинстона и

принялся ему плакаться — Как думаешь, они расстреляют меня, старина? Но они ведь не могут расстрелять, если человек не сделал ничего плохого — только подумал? Ведь мыслям не прикажешь. Нет, я знаю, они во всем внимательно разберутся. Уверен, что это так! Они ведь знакомы с моей характеристикой, правда? Ты же знаешь, какой я парень. По-своему неплохой парень. Не слишком умный, конечно, но ведь старательный. Я изо всех сил старался и для Партии делал все, не так ли? Мне дадут не больше пяти лет, ведь правда? Или десять? Малый вроде меня принесет пользу и в лагере. Не расстреляют же меня за то, что только раз сошел с рельсов!

— Ты действительно виноват? — спросил Уинстон.

— Конечно, виноват! — заорал Парсонс, подобострастно глядя на монитор. — Ты что думаешь, что Партия может арестовать невинного? А? — Его лягушачье лицо стало спокойным и даже просветлело от ханжества. — Преступное мышление — страшная вещь, старина, — сказал он поучительно. — Оно может подкараулить любого, может овладеть тобой, а ты и не заметишь. Кстати, знаешь, как оно обнаружилось во мне? Во сне! Да-да! Факт! Жил себе и жил, работал на износ, делал свое дело и не подозревал, что в голове завелась эта дурь. А потом начал вдруг говорить во сне. И знаешь что сказал? — Он понизил голос, как будто ему надо, в чисто медицинских целях, произнести нечто неприличное. — Долой Большого Брата! Да, я именно это сказал, и, говорят, несколько раз. Между нами, старина, я рад, что они взяли меня сразу, пока я еще чего-нибудь не наговорил. Знаешь, что я скажу, когда меня приведут в трибунал? Я скажу: «Спасибо!» Я скажу им: «Спасибо, что вы спасли меня, пока не поздно».

— Кто же донес на тебя? — спросил Уинстон.

— Кто? Моя малышка, — ответил Парсонс с оттенком суровой гордости. — Она подслушала через замочную скважину. Услышала, что я говорю, и наутро стукнула патрулям. Не глупо для семилетней девчушки, а? Нет-нет, я не держу на нее зла. Я горжусь ею. Разве это не лучшее доказательство, что я воспитал ее правильно?

Он нервно заметался по камере, кидая долгие взгляды на парашу. Затем проворно стянул свои шорты.

— Извини, старина, — бросил он. — Не могу больше. Это от волнения.

Он плюхнулся огромной задницей на парашу. Уинстон закрыл лицо руками.

— Смит! — закричал голос из монитора. — Номер 6079, Смит У.! Убрать руки с лица. Не закрывать лицо в камере!

Уинстон опустил руки. Парсонс делал свое дело шумно и обильно. Затем обнаружилось, что спуск в унитазе неисправен, и на несколько часов в камере установилась жуткая вонь.

Парсонса увели. В камеру приходили и уходили новые арестанты, откуда, куда — неизвестно. Одну женщину отправили в камеру 101, и Уинстон заметил, как она обмякла и побледнела. А время шло, и если его привезли сюда утром, то теперь должен быть вечер, а если вечером — то теперь полночь. В камере находилось сейчас шесть арестованных. Мужчины, женщины — все сидели неподвижно. Напротив Уинстона расположился человек с выпирающими верхними зубами и совершенно без подбородка, удивительно похожий на большого безвредного грызуна. Его толстые, крапчатые щеки были такими пухлыми, что нетрудно было

поверить, будто во рту у него спрятаны целые запасы пиши. Бледно-Серые глаза его робко перебегали с одного лица на другое, но, натолкнувшись на ответный взгляд, немедленно уходили в сторону.

Опять отворилась дверь, и ввели еще одного арестанта, вид которого заставил Уинстона вздрогнуть. В нем не было ничего особенного, обыкновенный человек, возможно, инженер или какой-нибудь техник. Но пугало его изнуренное лицо, которое походило на череп, обтянутый кожей. Из-за худобы и рот и глаза человека выглядели непропорционально большими, а взгляд таил смертельную, неутоленную ненависть к чему-то или кому-то.

Человек уселся неподалеку от Уинстона. И хотя Уинстон старался не смотреть на него, измученное, похожее на череп лицо как живое стояло перед его глазами. Неожиданно он понял, в чем дело. Этот человек просто умирает от голода. Казалось, одновременно эта догадка пришла в голову всем, поскольку по рядам сидящих на скамье прошло чуть заметное волнение. Взгляд толстяка без подбородка вспорхнул на изнуренное лицо, похожее на череп. Толстяк отвел виновато глаза и снова, словно завороженный, уставился на голодного. Потом толстяк начал ерзать на скамейке. Наконец встал, неуклюже, переваливаясь с ноги на ногу, пересек камеру, вынул из кармана комбинезона грязную горбушку и смущенно протянул ее черепу.

Яростный оглушительный рев вырвался из монитора. Человек без подбородка отскочил назад, а череп живо спрятал руки за спину, будто демонстрируя, что он не взял подарка.

— Бамстед! — орал голос из монитора. — Номер 2713, Бамстед Дж.! Бросьте хлеб!

Человек без подбородка швырнул горбушку на пол.

— Стоять на месте, — приказал голос. — Лицом к двери. Не двигаться.

Человек без подбородка подчинился. Его большие пухлые щеки дергались, и он ничего не мог с этим поделать. Громыхнула, открываясь, дверь. В камеру вошел молоденький офицер и сразу же отступил в сторону, давая дорогу плотному, невысокого роста охраннику с широкими плечами и огромными ручищами. Тот встал вплотную к человеку без подбородка, по сигналу офицера широко размахнулся и ударил жертву. Удар был столь силен, что сбил несчастного с ног. Тело его, пролетев через всю камеру, ткнулось в основание параши. С минуту он лежал оглушенный, кровь хлынула из носа и изо рта. Затем все услышали не то стон, не то всхлип. Человек перевернулся и встал на четвереньки. Вместе с кровью и слюной выпали изо рта две половинки зубного протеза.

Заключенные сидели неподвижно, сложив руки на коленях. Человек без подбородка с трудом вскарабкался на скамейку. Одна сторона его лица превращалась в сплошной синяк, а рот стал вишнево-красной массой, посередине которой чернела дыра. На комбинезон стекали капли крови. Серые глаза по-прежнему перескакивали с одного лица на другое, но теперь в них были лишь вина да желание угадать, презирают ли его за такое унижение.

Дверь опять распахнулась. Офицер показал на человека с лицом, похожим на череп.

— Камера 101, — сказал он.

Уинстон услышал судорожный вздох, а затем глухой крик. Мужчина с лицом, похожим на череп, рухнул на колени перед офицером, с мольбой протягивая к нему руки, сложенные вместе.

— Нет! Товарищ! Офицер! — закричал он. — Не надо туда! Ведь я все уже рассказал! Что еще вы хотите узнать? Я готов признаться во всем! Скажите, в чем нужно еще признаться, и я признаюсь тут же! Напишите, что хотите, и я подпишу. Подпишу все. Но только не в 101-ю камеру!

— Камера 101, — повторил офицер.

Лицо человека, и без того бледное, стало зеленым. Уинстон никогда бы не поверил, что оно может быть таким.

— Делайте со мной, что хотите! — вопил мужчина. — Неделями вы морите меня голодом. Доведите дело до конца, дайте же мне умереть. Расстреляйте меня! Повесьте! Приговорите меня к двадцати пяти годам! Или скажите, кого выдать! Скажите, и я сообщу вам все. Мне уже наплевать, кто это будет и что вы с ним будете делать. У меня жена и трое детей. Старшему нет и шести. Заберите их, если хотите, и перережьте им глотки у меня на глазах. А я буду стоять и смотреть. Но только не 101-я!

— Камера 101, — сказал офицер.

Безумными глазами мужчина обвел остальных заключенных, словно хотел подставить кого-нибудь вместо себя. Глаза его впились в разбитое лицо человека без подбородка. Он ткнул в него костлявой рукой.

— Вот кого надо взять, не меня! — закричал он. — Вы не слышали, что он тут говорил, когда его ударили. Дайте я повторю каждое его слово, хотите? Это он, он против Партии, а не я.

Надзиратели выступили вперед, и крик измученного перешел в визг.

— Вы не слышали! — кричал он, — Говорю же, вы не слышали! Монитор не сработал. Он вам нужен, не я. Возьмите его!

Два дюжих охранника нагнулись, чтобы взять его под руки. Но в то же мгновение он бросился на пол и вцепился в металлическую ножку скамейки. Бессловесный вой его уже походил на животный. Охранники пытались оторвать его от скамейки, но он держал ножку с поразительной силой. Секунд двадцать они возились с ним. Остальные заключенные сидели тихо, сложив руки на коленях, уставившись прямо перед собой. Вой оборвался, видимо, человеку уже не хватало дыхания на крик, только на борьбу за скамейку. А потом раздался уже ни на что не похожий вопль. Удар сапога охранника пришелся по руке заключенного и сломал ему пальцы. Они поставили его на ноги.

— Камера 101, — сказал офицер.

Мужчину увели. Он шел спотыкаясь, опустив голову, качая свою раздробленную руку; он больше не мог бороться.

И опять прошло много времени. Если человека с лицом, похожим на череп, увели в полночь, то теперь было утро, если утром — то сейчас наступил вечер. Уинстон уже несколько часов сидел в камере один. Сидеть на узкой скамейке стало так больно, что порой он вставал и прохаживался по камере. Монитор этого не осуждал. Горбушка все еще лежала там, где бросил ее человек без подбородка. Сначала было трудно не глядеть на нее, но потом голод сменила жажда. Его рот слипся, в нем

появился какой-то отвратительный вкус. Жужжащий звук вентиляции и ровный белый свет доводили до обморочного состояния. В голове было пусто. Он вставал со скамьи, потому что невыносимо ныли кости, но всякий раз почти сразу снова садился, потому что начинала кружиться голова и он боялся упасть. Когда же удавалось справиться с собой, возвращался ужас. Время от времени с угасающей надеждой он вспоминал об О'Брайене и лезвии бритвы. Лезвие, наверное, передадут в еде, если только его вообще собираются кормить. И уж совсем редко он вспоминал о Джулии, она расплывалась в его сознании. А ведь где-то здесь рядом её сейчас мучают, и ей, возможно, хуже, чем ему. Возможно, в этот самый миг она кричит от боли. «Если бы я мог спасти Джулию, удвоив собственные страдания, пошел бы я на это? — спрашивал он себя. И отвечал: — Да, пошел бы». Увы, это только умствование. Он знал, что должен отвечать так, и вся его решимость не более чем обязанность. Это ум говорил в нем, а не сердце. Здесь вообще ничего невозможно чувствовать, только боль и только ожидание боли. А кроме того, ощущая боль, можно ли желать, ради чего угодно, ее усиления? Нет, на этот вопрос он еще не мог ответить.

Опять он услышал топот сапог, опять открылась дверь. Вошел О'Брайён.

Уинстон вскочил. Он так поразился, что забыл всякую осторожность. Впервые за много лет он забыл о мониторе.

— Как? Вас тоже взяли? — воскликнул он.

— Меня очень давно взяли, — ответил О'Брайён с мягкой, едва ли не печальной иронией.

Он отступил в сторону. Из-за его спины в камеру вошел охранник с широкой грудью и длинной черной дубинкой в руках.

— Ты ведь знал, что так будет, Уинстон, — сказал О'Брайён. — Не обманывай себя. Ты прекрасно это знал — знал всегда.

«Да, — пронеслось у него в уме, — всегда это знал». Но сейчас не было времени думать об этом. Его взгляд был прикован к дубинке в руках охранника. Она могла обрушиться на что угодно — на затылок, на уши, на руки, на локоть…

На локоть! Почти парализованный, он опустился на колени, схватившись за локоть здоровой рукой. От боли на мгновение все вспыхнуло желтым светом. Невероятно, невероятно, что всего лишь один удар может причинить такую боль! Придя в себя, он увидел, что О'Брайён и охранник смотрят на него сверху вниз. Охранник хохотал, глядя, как он корчится от удара. Так или иначе, но один вопрос был наконец решен. Нет, нет и не может быть причин, которые заставили бы тебя Желать удвоить свои страдания. Желать можно лишь одного — чтобы боль прекратилась. Нет в мире ничего ужаснее физической боли. Там, где есть боль, нет героев, героев нет, подумал он, извиваясь на полу и беспомощно прижимая изувеченную левую руку.

## 2

Он лежал на чем-то очень напоминавшем лежак, но только высокий, и был привязан к нему так туго, что не мог шевелиться. Яркий свет бил ему в лицо. Рядом, пристально глядя на него, стоял О'Брайен. С другой стороны находился человек в белом халате, в руках которого Уинстон увидел шприц для подкожных впрыскиваний.

Даже открыв глаза, Уинстон не сразу начал воспринимать окружающее. Сознание возвращалось к нему постепенно. Ему казалось, что он вынырнул сюда, в эту комнату, из какого-то другого, совершенно другого мира, может, даже подводного, глубинного. Как долго он был там, в глубине, Уинстон не знал. Ведь с тех пор, как его арестовали, он не видел ни ночи, ни дня. Да и в памяти образовались провалы. Случилось, что сознание, даже то, которое свойственно спящему, исчезло и вновь появилось через какой-то промежуток времени. Но как долго продолжались эти перерывы — дни, недели или всего лишь секунды, — он не представлял.

Кошмар начался с того первого удара по локтю. Позднее он понял: все последовавшее за этим ударом было всего-навсего предварительным допросом, через который проходит каждый арестованный. И от каждого требовали признаний в длинном перечне преступлений — шпионаже, саботаже и тому подобном. Признание было формальностью, реальным был ужас. Он не помнил, сколько раз принимались избивать его и как долго длились эти избиения. Помнил только, что всякий раз им занимались сразу пять или шесть охранников в черной форме. Иногда били кулаками, иногда дубинками, иногда стальными прутьями, а иногда и сапогами. Были случаи, когда он катался по полу бесстыдно, как животное, увертываясь всем телом от ударов и еще больше подставляя под дубинку и сапоги ребра, живот, локти, голени, пах, мошонку и копчик. Порой это продолжалось так долго, что жестоким, злым, непростительным казалось не то, что охранники все бьют и бьют его, а то, что он никак не может потерять сознание. Бывали времена, когда мужество оставляло его и он принимался просить пощады еще до того, как его начинали бить, когда занесенного для удара кулака было достаточно, чтобы он торопливо признавался и в действительных, и в мнимых преступлениях. Но бывали и другие времена, когда он решал ни в чем не сознаваться и каждое слово приходилось вырывать из него между обмороками, в которые он впадал от дикой боли. А иногда он пытался идти с собой на компромисс: «Я сознаюсь, но не сейчас. Я буду держаться, пока смогу, пока можно терпеть. Еще три удара, еще два, и я скажу им все, что они хотят». Иногда его, избитого до такой степени, что он уже не мог стоять на ногах, швыряли на каменный пол камеры, как мешок картошки, и оставляли на несколько часов, чтобы отдышался и чтобы снова избить. Впрочем, случались и долгие периоды передышки — их он помнил смутно, поскольку они заполнялись либо сном, либо оцепенением. Он припомнил камеру с дощатой койкой, вроде полки, закрепленной на стене, оловянную раковину, горячий суп, хлеб, иногда кофе. Припоминал угрюмого парикмахера, приходившего брить и стричь его, и деловых, несимпатичных мужчин в белых халатах, считавших его пульс, проверявших рефлексы, выворачивавших веки, ощупывавших тело в поисках сломанных ребер и делавших ему уколы в руку, чтобы он заснул.

Потом бить стали реже, побои превратились скорее в угрозу, в страх, что они начнутся вновь, если ответы его не станут удовлетворительными. Теперь его

допрашивали не головорезы в черной форме, а партийные интеллектуалы, маленькие, кругленькие, шустрые люди в поблескивающих очках. Допрашивали по очереди, на конвейере, по десять — двенадцать часов подряд, хотя как долго на самом деле — он не знал. Эти новые следователи старались, чтобы он постоянно испытывал некоторую боль, но полагались они в основном на другое. Да, они били его по лицу, выкручивали уши, таскали за волосы, заставляли стоять на одной ноге и не пускали в туалет, направляли резкий свет в глаза, от которого катились слезы, и так далее — все это делалось только для того, чтобы унизить его, сломить волю к сопротивлению, лишить способности спорить и возражать. Главным же оружием их были безжалостные допросы, тянувшиеся бесконечно, час за часом, когда они ловили его на слове, загоняли в ловушки, переиначивали сказанное, доказывали на каждом шагу, что он лжет и противоречит себе, и доводили его всем этим до того, что он начинал плакать от стыда и нервного истощения. Порой он принимался рыдать по пять-шесть раз за допрос. Его то и дело оскорбляли, кричали на него и всякий раз, когда он начинал колебаться, грозились снова отправить к охранникам в черной форме. Но иногда они меняли пластинку, называли его «товарищем», призывали вспомнить Большого Брата и Ангсоц и печально недоумевали: неужели у него ничего не осталось от чувства долга перед Партией, от вины перед ней за то зло, что он ей причинил. После многочасовых допросов нервы его сдавали и даже такая простая уловка доводила его до сопливых слез. В конце концов получалось, что скорбные голоса мучителей ломали его скорее, чем кованые сапоги и зуботычины охранников в черном. Он уже не был человеком — он стал просто пастью, которая выбалтывает все, что требуется, рукой, подписывающей все, что прикажут. Его единственной заботой было теперь стремление вовремя догадаться, чего от него хотят и в чем надо немедленно сознаться, чтобы остановить все эти издевательства. Он уже признался, что убил выдающихся членов Партии, что распространял подрывную литературу, присваивал общественные деньги, выдавал военные секреты иностранцам и занимался саботажем. Он подтвердил, что давно, еще с 1968 года, является агентом разведывательной службы Востазии. Признался, что верит в бога, преклоняется перед капитализмом и давно превратился в сексуального извращенца. Он сказал, что убил свою жену, хотя и он, и следователи не могли не знать, что она жива. Он сознался, что много лет подряд поддерживал связь с Гольдштейном и был членом подпольной организации, в которую входят или входили все, кого он когда-либо знал или встречал. Признаваться во всем и впутывать всех было в общем-то легко. Тем более что по большому счету это было правдой. Он действительно враг Партии, а с ее точки зрения разницы между поступком и намерением нет.

Были воспоминания и другого рода. Они вспыхивали в памяти отрывисто, как яркие картинки среди кромешной тьмы.

Вот он в камере, темной или светлой — непонятно, потому что ничего не видно, кроме пары глаз. Где-то рядом медленно и ритмично тикает какой-то прибор. Глаза становятся все больше, светятся все ярче, и он вдруг как бы взмывает с сиденья и ныряет в эти глаза, втянутый ими.

Вот он пристегнут ремнями к креслу, окруженный какими-то циферблатами под слепящими лампами. Человек в белом халате следит за стрелками приборов.

Слышен топот сапог снаружи, лязгает и открывается дверь. Входит офицер с восковым лицом, за ним два охранника в черном.

— Камера 101, — говорит офицер.

Человек в белом халате даже не оборачивается. Он и на Уинстона не смотрит, занятый показаниями приборов.

Его везут в кресле по огромному коридору, шириной не меньше километра, залитому сияющим золотистым светом. Он хохочет и громогласно выкрикивает свои признания. Он сознается во всем, даже в том, о чем он сумел умолчать под пыткой. Он рассказывает историю своей жизни людям, которые давно ее знают. Здесь и охранники в черном, и следователи, и мужчины в белых халатах, О'Брайен, Джулия, мистер Чаррингтон — все они с хохотом катятся по коридору вместе с ним. Кошмар, ожидавший его впереди, миновал, он не состоится, его удалось избежать. Все хорошо, исчезла боль, вся жизнь его, до последней подробности, обнажена, все понято и прощено.

Почти уверенный, что слышал голос О'Брайена, он вскакивает с дощатой койки. Он так и не видел его во время допросов, но всегда у него было ощущение, что О'Брайен здесь, где-то рядом. И командует всем именно О'Брайен. Он бросал на Уинстона охранников в черном, и он же следил, чтобы они не убили его. Он решал, когда Уинстон должен кричать от боли, а когда надо дать ему передышку, когда он должен получать еду, когда ему спать и когда делать уколы. О'Брайен задавал вопросы, и О'Брайен подсказывал ответы. Он был и мучитель, и защитник, и инквизитор, и друг. А один раз (Уинстон не мог припомнить, было ли это в забытьи от наркотиков или в обычном сне, а может, даже наяву), один раз чей-то голос прошептал ему на ухо: «Не бойся, Уинстон. Ты в моих руках. Семь лет я следил за тобой. И вот час настал. Я спасу тебя, я сделаю тебя нормальным». Уинстон не был уверен, что голос принадлежал О'Брайену, но это был тот же голос, который сказал: «Мы встретимся там, где будет светло». Сказал в другом сне, семь лет назад.

Он не помнил, как окончились допросы. Наступила тьма, а потом эта вот камера или комната, в которой он находится, начала медленно материализовываться вокруг него. Он лежит плашмя на спине и не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Что-то удерживает. Тело словно приковано в заданном положении. Даже затылок закреплен. Над ним стоит О'Брайен и глядит на него сверху тяжело и немного печально. Снизу лицо О'Брайена кажется жестким и потрепанным, с мешками под глазами, с усталыми складками, которые легли от носа к подбородку. Он оказался старше, чем считал Уинстон. Ему лет сорок восемь — пятьдесят. Под рукой у него циферблат с рычажком наверху. На циферблате какие-то цифры.

— Я говорил тебе, — начал О'Брайен, — что если мы встретимся, то это произойдет здесь.

— Да, — подтвердил Уинстон.

Без всякого предупреждения О'Брайен передвинул немного рычажок, и волна боли захлестнула Уинстона. Непередаваемая, страшная боль, страшная еще и потому, что он никак не мог понять, что происходит, и вместе с тем чувствовал, что ему наносят смертельные повреждения. Уинстон не знал, был ли это удар электрическим током или что-то другое, но тело его деформировали, медленно выламывали и разрывали суставы. Боль такая, что на лбу выступила испарина, но

хуже всего страх, что ему вот-вот сломают позвоночник. Он стиснул зубы и тяжело дышал через нос, стараясь как можно дольше удержаться от крика.

— Ты боишься? — спросил О'Брайен, вглядываясь в его лицо. — Ты боишься, что вот-вот что-нибудь сломается. Ты больше всего опасаешься, что треснет позвоночник. Ты уже видишь, как позвонки отрываются один от другого и из них вытекает спинной мозг. Ты ведь об этом думаешь, Уинстон?

Уинстон не ответил. О'Брайен отвел назад рычажок на приборе, и волна боли схлынула так же мгновенно, как и пришла.

— Это сорок, — заметил О'Брайен. — А всего на шкале циферблата сто делений. Запомни, пожалуйста, пока мы будем разговаривать, в моей власти в любой момент причинить тебе боль, и такую боль, какую я захочу. Если ты будешь лгать, попытаешься увиливать от ответов или прикидываться глупым, ты сразу же закричишь от боли. Это понятно?

— Понятно, — ответил Уинстон.

О'Брайен, казалось, немного смягчился. Он задумчиво поправил на носу очки, прошелся по комнате. Когда он опять заговорил, голос его звучал уже мягко и терпеливо. Как у врача, учителя или даже священника, который думает не столько о том, чтобы покарать, сколько о том, чтобы объяснить и убедить.

— Я вожусь с тобой, Уинстон, — говорил он, — потому что ты стоишь того. Ты и сам отлично знаешь, что с тобой. Ты знаешь об этом уже несколько лет, хотя и пытаешься уйти от этого знания. Ты страдаешь умственным расстройством. У тебя ущербная память. Ты не помнишь того, что случилось в действительности, зато убеждаешь себя, что помнишь такие вещи, которых на самом деле никогда не было. К счастью, это излечимо. Просто сам ты не пытался вылечиться, потому что не хотел. А ведь требуется лишь небольшое усилие воли, но и его ты не делал. Даже теперь, я вижу, ты цепляешься за свою болезнь и едва ли не считаешь ее великой добродетелью. Вот маленький пример. Скажи, с кем воюет сейчас Океания?

— Когда меня арестовали, Океания воевала с Востазией.

— С Востазией. Прекрасно. А разве Океания не всегда воевала с Востазией, а?

Уинстон затаил дыхание. Он открыл было рот, чтобы ответить, но сдержался и промолчал. Он не мог оторвать глаз от шкалы циферблата.

— Пожалуйста, правду, Уинстон. Твою правду. Скажи, что думаешь, что помнишь.

— Я помню, что всего за неделю до ареста никакой войны с Востазией не было. Она была нашей союзницей. А воевали мы с Евразией. И эта война продолжалась четыре года. До этого…

О'Брайен остановил его жестом руки.

— Еще пример, — сказал он. — Несколько лет назад твоя память, кажется, серьезно отказала тебе. Ты поверил, что три человека, в прошлом три члена Партии, Джонс, Аронсон и Рузерфорд, казненные за измену и саботаж после того, как они во всем полностью признались, — ты поверил, что эти люди не виновны в тех преступлениях, в которых их обвинили. Ты решил, что у тебя в руках неопровержимое вещественное доказательство, доказывающее ложность их признаний. Ты бредил какой-то фотографией. Поверил, что она была у тебя. Фотография вроде вот этой…

В руках О’Брайена оказался продолговатый обрывок газеты. Секунд пять, не больше, он был в поле зрения Уинстона. Это была фотография, в ее подлинности сомневаться не приходилось. Это была та самая фотография! Еще один экземпляр того газетного снимка, где Джонс, Аронсон и Рузерфорд были запечатлены на каком-то мероприятии в Нью-Йорке, снимка, который попал ему в руки одиннадцать лет назад и который он тогда же немедленно уничтожил. Лишь на мгновение фотография оказалась перед глазами Уинстона и опять исчезла. Но он видел ее, видел вне всякого сомнения! Он отчаянно, изо всей силы попытался высвободиться хотя бы до пояса. Но двинуться даже на сантиметр было невозможно. На миг он забыл даже о циферблате. Он хотел лишь одного — снова подержать в руках эту фотографию или хотя бы еще раз взглянуть на нее.

— Она все-таки существует! — крикнул он.

— Нет, — сказал О’Брайен.

Он прошел к противоположной стене. Там была дыра памяти. О’Брайен поднял решетку, и поток теплого воздуха унес жалкий обрывок бумаги. Снимок исчез в пламени, и О’Брайен повернулся от стены.

— Пепел, — сказал он. — Нет, даже не пепел, его можно увидеть. Пыль. Фотографии не существует. Она никогда не существовала.

— Нет, существовала! Она существует! Она осталась в памяти. Я помню ее. Вы помните.

— Я ничего не помню, — сказал О’Брайен. Сердце Уинстона замерло. Это было двоемыслием.

Он оцепенел от беспомощности. Если бы он был уверен, что О’Брайен лжет, все было бы проще. Но где гарантия, что О’Брайен действительно не забыл о фотографии? А если так, он должен забыть и свое отрицание ее существования — забыть само забывание. Как же можно быть уверенным, что все это просто фокус? Быть может, такие безумные вывихи памяти действительно существуют? Эта мысль окончательно выбила его из колеи.

О’Брайен задумчиво смотрел на него сверху вниз. Теперь он еще больше походил на учителя, пытающегося вразумить капризного, но подающего надежды ребенка.

— Есть партийный лозунг о контроле над прошлым, — сказал он. — Повтори-ка его, пожалуйста.

— Кто контролирует прошлое — контролирует будущее, кто контролирует настоящее — контролирует прошлое, — послушно отчеканил Уинстон.

— Кто контролирует настоящее — контролирует прошлое, — повторил О’Брайен, кивая головой в знак одобрения. — А ты веришь, Уинстон, что прошлое действительно существует?

И снова отчаянная беспомощность овладела Уинстоном. Глаза его скользнули к циферблату. Он не только не знал — «да» или «нет» спасет его от боли, он даже не знал, в какой ответ он действительно верит на самом деле.

О’Брайен слегка улыбнулся.

— Ты не метафизик, Уинстон, — сказал он. — До этого мгновения ты, видимо, не задумывался, что значит само понятие «существование». Давай уточним. Существует

ли прошлое конкретно, в пространстве? Есть ли где-нибудь такое место, такой материальный мир, в котором события прошлого все еще происходят?

— Нет.

— А раз так, где же существует прошлое, если оно существует?

— В документах. Оно записано в документах.

— В документах и…

— В мозгу. В человеческой памяти.

— В памяти. Очень хорошо. Но если так, то мы, Партия, контролируя документы, человеческую память, контролируем и прошлое. Не правда ли?

— Но как, как вы можете помешать людям помнить то, что было?! — закричал Уинстон, опять забыв про циферблат. — Память непроизвольна! Она не зависит от нашей воли. Как вы можете контролировать память? Вы не властны даже над моей памятью!

О'Брайен опять стал строгим. Его рука вновь легла на рычаг прибора.

— Наоборот, — сказал он. — Это ты не властен над своей памятью. И поэтому ты здесь. Ты попал к нам, потому что тебе не хватает скромности и самодисциплины. Ты не захотел подчиниться, хотя только так можно остаться нормальным. Ты предпочел быть сумасшедшим, меньшинством в единственном числе. Лишь дисциплинированный ум, Уинстон, видит реальную действительность верно. Ты ведь думаешь, что реальная действительность объективна, это нечто существующее вне и независимо от нас? Ты полагаешь, что природа реальной действительности самоочевидна? Когда ты вводишь себя в заблуждение и думаешь, что видишь нечто, ты полагаешь, что все остальные видят то же самое. А я должен сказать тебе, Уинстон, что реальная действительность существует вовсе не вне нас. Она живет в голове человека, и более нигде. Разумеется, не в голове отдельной личности — любой индивидуум может и ошибаться, и, во всяком случае, он недолговечен, — она существует только в коллективном и бессмертном разуме всей Партии. То, что Партия считает правдой, есть правда. Реальную действительность можно увидеть лишь глазами Партии. Вот что тебе предстоит усвоить, Уинстон. И это потребует от тебя усилия воли, потребует переделки себя. Чтобы стать здравомыслящим, надо стать послушным.

Он помолчал, словно для того, чтобы до Уинстона дошел смысл сказанного.

— Ты помнишь, — продолжил он, — свои слова в дневнике: «Свобода — это свобода говорить, что дважды два — четыре»?

— Да, помню, — сказал Уинстон.

О'Брайен поднял левую ладонь и, повернув ее тыльной стороной к Уинстону, спрятал большой палец.

— Сколько пальцев ты видишь, Уинстон?

— Четыре.

— А если Партия скажет, что их не четыре, а пять, тогда сколько?

— Четыре.

Он не успел договорить, он задохнулся от боли. Стрелка на шкале подпрыгнула до пятидесяти пяти. Уинстон в мгновение покрылся мокрой испариной. Воздух распирал его легкие и вырывался невольным глубоким стоном, который он не смог подавить, даже стиснув зубы. О'Брайен наблюдал за ним, по-прежнему растопырив

четыре пальца на левой руке. Он слегка отвел рычаг, чуть-чуть уменьшив страшную боль.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре.

Стрелка скакнула на отметку «шестьдесят».

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре! Четыре! Что еще я могу сказать? Четыре! Стрелка, наверное, поднялась еще выше, но он не смотрел на нее. Он видел только тяжелое, жестокое лицо и четыре растопыренных пальца. Пальцы стояли перед глазами как огромные дрожащие и расплывающиеся колонны, но их все равно было четыре.

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре! Остановите, остановите это! Как можно… Четыре! Четыре!

— Сколько пальцев, Уинстон?

— Пять! Пять! Пять!

— Нет, Уинстон. Так не пойдет. Ты лжешь. Ты все еще думаешь, что их четыре. Пожалуйста, еще раз. Сколько пальцев?

— Четыре! Пять! Четыре! Сколько вам угодно… только прекратите это, прекратите боль!

Внезапно он оказался сидящим, а рука О’Брайена обнимала его за плечи. Вероятно, на несколько секунд он потерял сознание. Ремни, которыми он был привязан, ослабли. Было почему-то холодно, его знобило, стучали зубы, а слезы катились из глаз. На какой-то момент он прижался к О’Брайену, словно младенец, тяжелая рука на плечах странным образом успокаивала его. Он чувствовал в О’Брайене своего защитника, боль, казалось, не имела отношения к этому человеку, напротив, именно О’Брайен спасал его от нее.

— Ты медленно усваиваешь урок, Уинстон, — мягко заметил О’Брайен.

— Что поделать? — всхлипнул Уинстон. — Как мне заставить себя не видеть того, что перед глазами? Ведь дважды два все-таки четыре.

— Иногда, Уинстон. А иногда и пять. Иногда и три. А иногда и так и эдак сразу. Надо стараться, Уинстон. Нормальным стать непросто.

Он снова уложил Уинстона. Ремни опять затянули. Но боли не было, даже дрожь прошла. Теперь он ощущал слабость и холод. О’Брайен кивнул человеку в белом халате, который все это время неподвижно стоял в стороне. Тот наклонился над Уинстоном, пристально вгляделся в его зрачки, пощупал пульс, приложил ухо к груди, постукал тут и там, а затем кивнул О’Брайену.

— Еще раз, — сказал О’Брайен.

Боль хлынула в тело. Стрелка, должно быть, подскочила к семидесяти — семидесяти пяти. На этот раз Уинстон закрыл глаза. Он знал, что пальцы опять перед ним и их опять четыре. Думал он только об одном — как выжить, дождаться конца мучений. Он уже не замечал, кричит он или нет. Боль опять слегка стихла. Он открыл глаза. О’Брайен отводил рычажок назад.

— Так сколько пальцев, Уинстон?

— Четыре. Я думаю, четыре. Я увижу пять, если смогу. Я постараюсь увидеть пять.

— А что бы ты хотел — действительно увидеть пять пальцев или уверить меня, что видишь их?

— Действительно увидеть.

— Еще раз, — сказал О'Брайен.

Возможно, стрелка теперь была где-то между восьмьюдесятью и девяносто. Уинстон уже не соображал, что от него требовалось, отчего эта боль. За вывернутыми веками плясал целый лес пальцев, они сплетались и расплетались, прятались друг за друга и появлялись опять. Он пробовал сосчитать их, но не помнил зачем. Он понимал, что сосчитать их невозможно, и это загадочным образом связывалось с тем, что пять равняется четырем. Боль стихла. Когда он открыл глаза, он обнаружил все ту же картину — бесчисленные пальцы, похожие на деревья, плясали и двигались, сходились и расходились во всех направлениях. Он снова прикрыл глаза.

— Сколько пальцев я поднял, Уинстон?

— Не знаю. Я не знаю. Вы убьете меня, если повторите пытку еще раз. Четыре, пять, шесть — я, честное слово, не знаю.

— Уже лучше, — заметил О'Брайен.

Игла вонзилась в руку Уинстона. Почти в то же мгновение радостное, целебное тепло разлилось по всему телу. Боль полузабылась. Он открыл глаза и благодарно посмотрел на О'Брайена. При виде тяжелого, рельефного лица, такого безобразного и такого интеллигентного, сердце Уинстона перевернулось. Если бы мог, он протянул бы руку и коснулся руки О'Брайена. Он никогда еще не любил так сильно этого человека, и не только потому, что тот остановил боль. Нет, вернулось прежнее чувство: в конце концов неважно — друг ему или враг О'Брайен. С ним можно говорить. Человек, быть может, не столько ждет любви, сколько понимания. Да, О'Брайен мучил его, едва не довел до безумия и наверняка скоро пошлет на смерть, но это не имеет значения. В каком-то смысле они очень близки, и это важнее дружбы. Как бы то ни было, где-то есть место, чтобы встретиться и говорить, пусть слова, быть может, так и не будут произнесены. О'Брайен смотрел на него сверху с таким выражением, словно в голову ему приходили те же мысли. Он и заговорил так, будто они мирно, спокойно беседовали:

— Знаешь ли ты, где находишься, Уинстон?

— Не знаю. Догадываюсь. В Министерстве Любви.

— А как долго ты здесь находишься, знаешь?

— Нет. Несколько дней, недель, месяцев. Наверное, несколько месяцев.

— А как ты думаешь, зачем мы забираем сюда людей?

— Чтобы они признавались.

— Ничего подобного. Подумай еще раз.

— Чтобы наказать.

— Нет! — крикнул О'Брайен. Голос его изменился, а лицо стало строгим и вдохновенным. — Нет! Не только затем, чтобы вырвать признание и покарать. Сказать, зачем мы забрали тебя сюда? Чтобы вылечить! Чтобы ты стал нормальным! Пойми, Уинстон, все, кого мы арестовываем, выходят отсюда излеченными. Нас совершенно не интересуют ваши глупые преступления. Партию не волнуют ваши

проступки; мысль — вот что заботит нас. Мы не просто уничтожаем врагов, мы переделываем их. Ты понимаешь, что я хочу этим сказать?

Он наклонился над Уинстоном. Лицо его оказалось так близко, что выглядело огромным и, поскольку Уинстон смотрел на него снизу, страшно уродливым. Более того, лицо это переполнял восторг, безумная одержимость. Сердце Уинстона опять сжалось. Если бы было возможно, он поглубже вжался бы в лежак. Он был уверен: О'Брайен в безумном возбуждении передвинет рычажок на максимум. Однако именно в этот момент О'Брайен отвернулся и отошел от него. Потом уже не так горячо продолжил:

— Прежде всего ты должен усвоить, что здесь нет великомучеников. Ты читал о преследованиях на религиозной почве в прошлом, знаешь о средневековой инквизиции. Она оказалась слабой. Она собиралась истребить ересь, а кончила тем, что увековечила ее. На место каждого еретика, сожженного на костре, приходили тысячи новых. Почему? Да потому, что инквизиция казнила своих врагов открыто, и казнила нераскаявшихся. А может, потому и казнила, что они не желали отказываться от своих убеждений. Естественно, слава доставалась жертве, а позор — инквизиторам, сжигавшим ее. Позднее, в двадцатом столетии, образовались так называемые тоталитарные режимы. Появились немецкие нацисты и русские коммунисты. Русские коммунисты преследовали инакомыслие беспощадней, чем инквизиция. Они думали, что научились на ошибках прошлого. Во всяком случае, они знали, что не надо создавать мучеников. Поэтому еще до публичных процессов сознательно убивали в людях человеческое достоинство. Пытками, одиночным заключением они доводили их до состояния жалких, пресмыкающихся подонков, которые готовы были сознаться в чем угодно, обливали себя грязью, валили вину друг на друга, вымаливали пощаду. И все равно, пусть не сразу, пусть через несколько лет, но все повторилось. Казненные все равно становились героями и мучениками, а их поведение на процессах забывалось. Повторю вопрос: как ты думаешь, почему? Потому, прежде всего, что признания жертв вырывались пыткой и были ложными. Мы этих ошибок не делаем. Все, в чем признаются у нас, — истинная правда. Мы делаем это правдой. А главное, мы никогда не позволяем мертвым побеждать нас. Хватит воображать, Уинстон, что грядущие поколения оправдают тебя. Грядущие поколения вообще ничего не узнают о тебе. Ты будешь изъят из потока истории. Мы обратим тебя в газ и выпустим в стратосферу. От тебя не останется ничего: ни имени в документах, ни памяти в сознании живущих. Тебя не будет не только в будущем, но и в прошлом. Ты не существовал и не будешь существовать.

«Зачем же тогда пытать меня?» — подумал Уинстон с горечью. О'Брайен остановился, будто Уинстон сказал это вслух. Его большое уродливое лицо вновь наклонилось над Уинстоном, глаза сузились.

— Ты думаешь, — сказал он, — раз они собираются уничтожить меня и все, что я говорю и делаю, ничего изменить не может, зачем тогда все эти допросы? Ты об этом думаешь, да?

— Да, — ответил Уинстон. О'Брайен тонко улыбнулся.

— Ты ошибка в нашей системе, Уинстон. Ты пятно, которое следует вывести. Ведь я только что объяснил, чем мы отличаемся от гонителей прошлого. Нам мало

пассивного послушания, мало и самого униженного подчинения. Когда ты наконец сдашься, то сделаешь это добровольно. Мы уничтожаем инакомыслящих не потому, что они сопротивляются. Напротив, до тех пор, пока они сопротивляются, мы их не уничтожаем. Мы переделываем их, овладеваем их разумом и подкоркой. Мы выжигаем в них все зло и все иллюзии, мы перетягиваем их на свою сторону, причем перейти на нашу сторону надо искренне, то есть поверив душой и сердцем, а не притворяясь и фальшивя. Прежде чем мы убьем инакомыслящего, он должен стать одним из нас. Потому что для нас недопустимо, если чье-то сомнение, пусть самое тайное, самое ничтожное, останется жить в чьем-нибудь сознании. Мы не можем допустить малейшего отклонения. Даже в минуту смерти мы не можем позволить человеку сомнений. В старину еретик шел на костер, оставаясь еретиком, поддерживая себя ересью и проповедуя ее. Даже жертвы русских чисток хранили в сердцах дух сопротивления, когда они шли по коридору и ожидали пули в затылок. Мы же, прежде чем вышибить мозги, приводим в идеальный порядок сердце и ум человека. Заповедью деспотических режимов прошлого было: «Ты не должен». Заповедью тоталитарных режимов — «Ты должен». Наша заповедь — «Ты есть». Все, кого мы доставляем сюда, становятся нашими в полном смысле слова. Всех мы отмываем дочиста. Даже тех жалких предателей, в невиновность которых ты верил когда-то, — Джонса, Аронсона и Рузерфорда — мы в конце концов сломали. Я лично принимал участие в их допросах. Мы постепенно преодолевали их сопротивление. Они хныкали, пресмыкались, рыдали, но уже не от боли и страха, а от раскаяния, от сознания своей вины. Когда мы кончили с ними, от них осталась лишь скорлупа. И в ней не было ничего, кроме раскаяния в содеянном и любви к Большому Брату. Трогательно было видеть, как возлюбили они его. Они умоляли поскорее расстрелять их, пока и ум, и сердца их чисты.

Голос О’Брайена стал почти мечтательным. Одержимость, сумасшедшее воодушевление все еще читалось на его лице. Он не притворяется, подумал Уинстон, не лицемерит, он верит каждому своему слову. Теперь Уинстона угнетало сознание собственной интеллектуальной неполноценности. Он видел, как грузный и в то же время грациозный О’Брайен прохаживался взад и вперед, то исчезая из поля его зрения, то возвращаясь. О’Брайен, конечно, во всех отношениях больше, крупнее его. Все, над чем он, Уинстон, когда-либо задумывался или мог задуматься, было уже известно О’Брайену, изучено и отвергнуто им. Его ум полностью вмещал в себя ум Уинстона. И если это так, можно ли считать, что О’Брайен сумасшедший? Сумасшедшим должен быть он, Уинстон. О’Брайен остановился и сверху взглянул на Уинстона. Голос его опять стал жестким.

— Не воображай, пожалуйста, Уинстон, что, полностью подчинившись нам, ты тем самым спасешь себя. Все, кто хоть раз сбился с пути, погибают. И даже если мы позволим тебе дожить до естественной смерти, ты все равно не уйдешь от нас. Все, что произойдет с тобой здесь, — навсегда. Пойми это. Мы согнем тебя до точки, с которой уже не разгибаются. Ты испытаешь такое, от чего не оправишься и через тысячу лет. Ты не будешь больше способен на обычные человеческие чувства. Все умрет в тебе. Ты никогда не сможешь любить, дружить, радоваться жизни, смеяться, проявлять любопытство, быть смелым и честным. Ты будешь опустошен. Мы опустошим тебя, а потом заполним собою.

Помолчав, он кивнул мужчине в белом халате. Уинстон почувствовал, как к изголовью придвигают какой-то тяжелый прибор. О'Брайен присел у лежака. Теперь лицо его оказалось совсем рядом.

— Три тысячи, — сказал он, обращаясь через голову Уинстона к мужчине в белом халате.

Две мягкие, слегка сыроватые подушечки сжали виски Уинстона. Ему стало страшно. Его ждет боль, новая боль. О'Брайен, успокаивая его, доброжелательно коснулся его руки.

— На этот раз больно не будет, — сказал он. — Смотри мне прямо в глаза.

В тот же миг раздался страшный взрыв или что-то вроде него, потому что Уинстон не знал, сопровождался ли этот взрыв грохотом. Одно было несомненно — он видел ослепительную вспышку света. Уинстон действительно не ощутил боли, но оказался совершенно обессиленным. И хотя он, когда все это произошло, лежал на спине, у него возникло ощущение, что именно этот взрыв повалил его. Страшный, пусть и безболезненный, удар привел его в ужас. Что-то случилось с головой. Все вокруг было словно не в фокусе, и лишь постепенно глазам возвращалась способность видеть правильно. Он вспомнил, кто он такой, где находится и что за человек смотрит на него. И все-таки он чувствовал какую-то пустоту, как будто из него вынули кусок мозга.

— Сейчас пройдет, — сказал О'Брайен. — Смотри мне в глаза. С какой страной воюет Океания?

Уинстон задумался. Он помнил, что такое Океания, помнил, что он — гражданин Океании. Он также вспомнил о Евразии и Востазии. Но вот кто с кем воюет — этого сказать он не мог. Он вообще не помнил, что идет какая-то война.

— Не помню.

— Океания воюет с Востазией. Теперь ты вспоминаешь?

— Вспоминаю.

— Океания всегда воевала с Востазией. С тех пор как ты родился, с тех пор как возникла Партия, с начала самой истории идет эта война, и она не прерывалась никогда, она всегда была, и всегда одна и та же. Это ты помнишь?

— Да.

— Одиннадцать лет назад ты вбил себе в голову что-то про трех приговоренных к смерти предателей. Ты придумал, что видел обрывок газеты, доказывающий их невиновность. Такой газеты не существовало. Ты все это выдумал и сам же поверил в легенду. Ты помнишь, когда ты это придумал? Помнишь?

— Да.

— Только что я показывал тебе пальцы на руке. Ты видел пять пальцев. Помнишь?

— Да.

О'Брайен поднял вверх раскрытую ладонь, спрятав от Уинстона большой палец:

— Вот пять пальцев. Видишь — их пять?

— Да.

И он действительно видел пять пальцев. Пусть какое-то время, пока к нему не вернулся разум, но он видел пять пальцев совершенно ясно. А потом все опять возвратилось на обычное место, и снова пришли страх, ненависть и растерянность.

Но все же было какое-то время, может быть, секунд тридцать просветления и веры, когда каждое утверждение О'Брайена, каждое предложение его заполняли провалы сознания и становились абсолютной истиной, когда дважды два, если было нужно, могло равняться трем или пяти. Теперь это ушло, стоило О'Брайену снять руку с его руки, — Уинстон не мог вернуть это наваждение, но помнил, как помнишь яркое впечатление из давнего прошлого, когда ты, в сущности, был еще совсем другим человеком.

— Теперь ты хоть видишь, — сказал О'Брайен, — что, по крайней мере, это возможно.

— Да, — сказал Уинстон.

О'Брайен с удовлетворенным видом встал. Слева от себя Уинстон заметил, как человек в белом халате надламывает ампулу и наполняет шприц. О'Брайен, улыбнувшись, взглянул на Уинстона. Почти тем же, что и раньше, жестом он поправил очки на носу.

— Помнишь, ты написал в дневнике, — спросил он, — что неважно — друг я или враг, важно, что я тот человек, который понимает тебя и с которым можно говорить? Все верно. Мне тоже нравится говорить с тобой. Нравится твой склад ума. Он напоминает мне мой собственный ум, если не считать, что ты — сумасшедший. Что ж, перед тем как закончить на сегодня, ты, если есть желание, можешь спросить меня о чем хочешь.

— Любой вопрос?

— Любой. — И заметив, что Уинстон смотрит на циферблат, добавил: — Прибор отключен. Итак, какой первый вопрос?

— Что вы сделали с Джулией? О'Брайен опять улыбнулся.

— Она предала тебя, Уинстон. Сразу же и бесповоротно. Я редко встречал таких, кто мог бы столь быстро переметнуться. Ты не узнал бы ее, если встретил. Все ее бунтарство, ложь, глупость и распущенность — все выжжено из нее. Полное перерождение, классический случай.

— Вы пытали ее?

О'Брайен не ответил.

— Следующий вопрос, — сказал он.

— Существует ли Большой Брат?

— Конечно, существует! Партия существует. Большой Брат — ее воплощение.

— Нет, существует ли он в том смысле, как существую я?

— Ты не существуешь, — сказал О'Брайен.

И снова чувство беспомощности охватило Уинстона. Он знал, он мог представить аргументы, с помощью которых легко было доказать, что он, Уинстон, не существует, но все они чушь, игра словами. Разве утверждение «Ты не существуешь» не абсурд? Но что пользы говорить об этом? Его ум просто сжимался, стоило ему представить сумасшедшие, безапелляционные доводы, какими О'Брайен уничтожит его.

— Я полагаю, что все-таки существую, — сказал он устало. — Я осознаю себя. Я родился и умру. У меня есть руки и ноги. Я занимаю определенное место в пространстве, которое одновременно не может занимать ни одно другое тело. Вот в этом смысле существует ли Большой Брат?

— Это не имеет значения. Он существует, и все.

— Умрет ли он когда-нибудь?

— Естественно, нет. Как он может умереть? Следующий вопрос.

— И Братство существует?

— А этого, Уинстон, ты не узнаешь никогда. Даже если мы освободим тебя, после того как закончим работать с тобой, даже если ты доживешь до девяноста лет, ты все равно не узнаешь, какой ответ на этот вопрос будет правильным — «да» или «нет». Он будет для тебя вечной загадкой.

Уинстон замолчал. Учащенное дыхание выдавало его волнение: ему хотелось задать вопрос, который первым пришел на ум, но язык не поворачивался. О'Брайена это, казалось, забавляло. Даже очки его иронически поблескивали. Он знает, подумал вдруг Уинстон, он знает, что я хочу спросить. И слова вырвались сами:

— Что такое комната 101?

Выражение лица О'Брайена не изменилось. Он ответил сухо:

— Ты знаешь, что такое комната 101, Уинстон. Все знают, что в этой комнате.

Он подал знак мужчине в белом. Сегодняшняя встреча подошла к концу. Игла вонзилась в руку Уинстона. Почти мгновенно он уснул.

## 3

— Твое выздоровление будет иметь три этапа, — сказал О'Брайен. — Ты должен выучить, понять и принять. Пора перейти ко второй стадии.

Уинстон, как обычно, лежал на спине. Правда, теперь пристяжные ремни не стягивали его так туго, как раньше. Они по-прежнему удерживали его на лежаке, но сейчас он мог слегка двигать коленями, мог повернуть голову из стороны в сторону и шевелить руками. Не слишком пугал его и циферблат. Болевого удара удавалось избежать, если Уинстон соображал достаточно быстро. О'Брайен брался за рычаг лишь тогда, когда Уинстон выказывал тупость. Иногда весь допрос проходил без применения циферблата. Уинстон не помнил, сколько было этих допросов. Все продолжалось уже довольно долго, наверное несколько недель, а перерывы между допросами составляли порой несколько дней, а порой лишь час или два.

— Во время наших встреч, — сказал О'Брайен, — ты удивлялся, ты даже спрашивал меня, зачем Министерство Любви тратит так много времени и сил на тебя. И на свободе тебя ставил в тупик в сущности тот же вопрос. Ты понял механику общества, в котором жил, но не мог понять движущих мотивов. Помнишь, ты написал как-то в дневнике: «Я понимаю — как, я не понимаю — зачем». И как раз тогда, когда ты думал об этом «зачем», ты усомнился в собственной нормальности. Ты прочитал книгу, книгу Гольдштейна, во всяком случае часть ее. Узнал ли ты что-нибудь новое для себя?

— А вы читали ее? — спросил Уинстон.

— Я писал ее. Вернее, участвовал в ее написании. Ты же знаешь, все книги пишутся коллективно.

— В книге написана правда?

— Что касается анализа — да. А программа, изложенная там, — чушь. Тайное накопление знаний, постепенное распространение просвещения и, в конце концов, пролетарская революция, свержение Партии. Ты и сам догадался, что в книге будет написано так. Все это чушь. Пролы никогда не восстанут, ни через тысячу лет, ни через миллион. Они не могут восстать. Думаю, тебе не надо объяснять почему, ты и сам знаешь. И если у тебя были когда-нибудь хоть какие-то иллюзии относительно мятежа, тебе придется расстаться с ними. Способов сбросить Партию нет. Власть Партии вечна. И это должно стать отправной точкой твоих рассуждений.

Он подошел ближе.

— Вечна! — повторил он. — А теперь вернемся к вопросам «как?» и «зачем?». Ты достаточно хорошо усвоил, как Партия удерживает власть. Но скажи, зачем мы удерживаем ее? Что движет нами? Почему мы стремимся к власти? Давай говори! — добавил он, потому что Уинстон медлил с ответом.

Уинстон тем не менее помолчал еще. Ему вдруг стало тоскливо от всех этих вопросов. О'Брайена вновь охватила безумная, сумасшедшая одержимость. Уинстон наперед знал, что он скажет. Он скажет, что Партия стремится к власти не в собственных интересах, а в интересах большинства. Скажет, что Партия взяла власть, потому что в массе своей люди слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит, надо, чтобы кто-то сильный управлял ими и обманывал их. Что человечество всегда выбирает между свободой и счастьем, а люди, во всяком случае большинство их, предпочитают как раз счастье. Он скажет, что Партия — вечный защитник слабых, что она — отряд идейных борцов, которые творят зло ради торжества добра и жертвуют личным счастьем ради счастья других. Но самое ужасное, думал Уинстон, самое ужасное, что, говоря все это, О'Брайен будет искренне верить в это. Он в тысячу раз лучше Уинстона знает истинное положение вещей, знает, до какой степени деградации опустился мир и какой ложью, каким варварством Партия удерживает его в этом состоянии. О'Брайен понимает все это, давно оценил все, но это ничего не меняет, поскольку все оправдывает конечная цель. Что можно ждать, подумал Уинстон, от сумасшедшего, который хитрее, который знает твои доводы и все равно упорно цепляется за свои безумные идеи?

— Вы правите нами для нашей же пользы, — сказал он тихо. — Вы считаете, что люди не могут управлять собой и поэтому…

Он дернулся и чуть не закричал. Острая боль пронзила тело. Рычаг циферблата, которым управлял О'Брайен, был, наверное, на тридцати пяти.

— Это глупо, глупо, Уинстон! — кричал он. — Уж этого ты мог бы не говорить.

О'Брайен потянул рычаг назад и продолжал:

— Я сам отвечу на вопрос. Дело в том, что Партия стремится к власти исключительно в своих интересах. Нас не интересует благо других. Нас интересует только власть. Ни богатство, ни роскошь, ни долголетие, ни счастье — ничто, только власть, власть в чистом виде. А что такое власть в чистом виде, ты поймешь сейчас. От всех олигархических групп прошлого мы отличаемся знанием того, что делаем. Все прочие, даже те, кто напоминал нас, были трусами и лицемерами. Немецкие нацисты и русские коммунисты были близки к нашим методам, но даже им не хватило смелости осознать собственные побуждения. Они делали вид, а может, даже верили, что взяли власть, вовсе не стремясь к ней, взяли на время, и что в

ближайшем будущем человечество ждет земной рай, где все будут равны и свободны. Мы не такие. Мы знаем, никто и никогда не брал власть для того, чтобы потом отказаться от нее. Власть — цель, а не средство. Не диктатуру устанавливают, чтобы защищать революцию, а революцию делают для того, чтобы установить диктатуру. Цель насилия — насилие. Цель пытки — пытка. Так вот, цель власти — власть. Ты понимаешь меня теперь?

Уинстона поразило, как поражало его и раньше, усталое лицо О'Брайена. Сильное, мясистое, грубое, оно светилось умом и сдерживаемой страстью, перед которой Уинстон был беспомощен. И все-таки это было очень усталое лицо. Мешки под глазами, обвисшие щеки. А О'Брайен, словно прочитав его мысли, как будто нарочно склонился над Уинстоном, давая рассмотреть свое лицо.

— Ты думаешь, — сказал он, — что я выгляжу старым и усталым. Ты думаешь — я говорю о власти, а сам не могу остановить распад собственного тела. Неужели ты не понимаешь, Уинстон, что человек — всего лишь маленькая клеточка? И отмирание ее лишь подтверждает жизнеспособность всего организма. Разве ты умираешь, когда стрижешь ногти?

Он развернулся и, засунув руку в карман, принялся прохаживаться по комнате.

— Мы — жрецы власти, — продолжал он. — Наш бог — власть. Впрочем, что касается тебя, власть — это просто слово. А тебе пора уже понять, что это такое. Прежде всего ты должен усвоить, что власть у нас коллективная. Индивидуум может получить ее, но лишь перестав быть личностью и растворясь в коллективе. Помнишь лозунг Партии: «Свобода — это рабство». Тебе не приходило в голову, что его можно перевернуть? Рабство — это свобода. Когда человек один, то есть когда он свободен, он обречен на поражение. Да иначе и быть не может, потому что человек смертен, а это величайшее поражение. Но если он способен на полное, безоговорочное подчинение, если он может перестать быть собой и раствориться в Партии, чтобы стать Партией, — он всемогущ и бессмертен. Далее ты должен понять, что власть — это власть над человеком: над его телом, но главное — над разумом. Власть над материей, внешней реальностью, как ты назвал бы ее, не так и важна. Да к тому же наша власть над материей абсолютна.

Уинстон забыл про шкалу. Он отчаянно пытался сесть, но окончилось это тем, что он скорчился от боли.

— Какая власть над материей? — выдохнул он. — Вы не можете управлять даже климатом или всемирным тяготением. А ведь есть еще болезни, боль, смерть…

О'Брайен остановил его жестом.

— Мы контролируем материю, потому что контролируем разум. Реальная действительность существует внутри нас. Понемногу ты поймешь это, Уинстон. Нет ничего такого, чего мы не можем. Невидимость, невесомость — все, что угодно. Стоит мне захотеть, и я могу взлететь в воздух, как мыльный пузырь. Но я этого не хочу, потому что Партии этого не нужно. Тебе пора избавляться от своих представлений о законах природы, сформулированных еще в прошлом веке. Законы природы творим мы.

— Да нет же! Вы не владеете даже этой планетой. А как насчет Евразии и Востазии? Ведь вы их пока не завоевали.

— Неважно. Мы завоюем их, когда будет надо. Но даже если и не завоюем — что это меняет? Мы можем считать их несуществующими. Мир — это Океания.

— Однако вся наша планета — лишь пылинка в пространстве. А человек крошечный и беспомощный! Как долго он существует? Ведь миллионы лет Земля была необитаемой.

— Чушь! Земля — наша ровесница, не старше! Как она может быть старше нас? Вне человеческого разума не существует ничего.

— И тем не менее в земле полно костей вымерших животных — мамонтов, мастодонтов и гигантских рептилий, которые населяли Землю задолго до человека.

— Ты когда-нибудь видел эти кости, Уинстон? Ведь нет же. Их выдумали биологи девятнадцатого века. До человека ничего не было. После человека, если ему когда-нибудь придет конец, тоже ничего не будет. Вне человека ничего нет.

— Но вне нас — целая Вселенная. Посмотрите на звезды. До некоторых миллионы световых лет. Мы никогда не достигнем их.

— Что такое звезды? — заметил О'Брайен равнодушно. — Всего лишь частички огня в нескольких километрах от нас. Мы вполне можем добраться до них, если захотим. А можем и погасить их. Земля — центр Вселенной. Солнце и звезды вращаются вокруг нас.

Уинстон опять судорожно попытался сесть. Но на этот раз ничего не сказал. А О'Брайен, словно отвечая на возражения, продолжал:

— Разумеется, в некоторых случаях это не так. Управляя кораблем в океане или предсказывая солнечное затмение, нам удобнее считать, что Земля все-таки вращается вокруг Солнца и что звезды действительно удалены от нас на миллионы миллионов километров. Но что с того? Разве мы не можем создать двойную систему астрономии? Звезды могут быть от нас близко или далеко, как нам потребуется. Или ты думаешь, что наши математики не справятся с этой задачей? На что тогда нам двоемыслие?

Уинстон сжался на лежаке. Что бы он ни говорил, следовал стремительный ответ, сокрушающий его доводы. И все же он знал, знал, что прав. По всей вероятности, можно опровергнуть и утверждение о том, что вне человеческого разума нет ничего. Разве эта теория не была давным-давно разоблачена как заблуждение? Существовало даже какое-то название, он только не мог вспомнить его.

О'Брайен взглянул на него сверху, и легкая усмешка заиграла на его губах.

— Я уже говорил тебе, Уинстон, — начал он, — метафизика — не самая сильная твоя сторона. Слово, которое ты пытаешься вспомнить, — солипсизм. Хотя ты ошибаешься. Это вовсе не солипсизм. Скорее — коллективный солипсизм, если угодно. А это вещи разные, даже противоположные. Впрочем, мы отклонились от темы, — добавил он уже другим тоном. — Так вот, подлинная власть, власть, за которую нам приходится бороться и день и ночь, это не власть над материальным миром, это власть над людьми. — Он помолчал и закончил вновь тоном учителя, который спрашивает подающего надежды ученика: — Итак, как человек может утвердить свою власть над другим человеком?

Уинстон задумался.

— Заставив его страдать, — сказал он.

— Совершенно верно. Заставив страдать. Послушания мало. Если человек не страдает, можно ли быть уверенным, что он подчиняется твоей, а не собственной воле? Властвовать — значит мучить и унижать. Власть заключается в том, чтобы, расколов на куски разум человека, собрать его снова, но придав ту форму, какая нужна тебе. Теперь ты понимаешь, что за мир мы созидаем? Это точная противоположность глупых гедонистических утопий, созданных воображением старых реформаторов. Мы создаем мир страха, предательства и мучений, мир попирающих друг друга, мир, который, развиваясь, становится не менее, а более безжалостным. Развитие нашего мира будет развитием страданий. Прежние цивилизации утверждали, что они основаны на любви и справедливости. Наша — основана на ненависти. В нашем мире не будет других чувств, кроме страха, ярости, победного ликования, самоунижения. Все остальное мы уничтожим — все! Мы уже покончили с привычкой мыслить, которая досталась нам с дореволюционных времен. Мы разорвали узы, связывавшие родителей и детей, друзей и влюбленных. Никто больше не верит жене, ребенку или другу. А в будущем не будет ни жен, ни друзей. Детей будут отбирать у матерей сразу после рождения, как забирают яйца у курицы. Мы вырвем с корнем половой инстинкт. Рождение станет пустой ежегодной формальностью, вроде возобновления продовольственных карточек. Мы уничтожим оргазм. Наши неврологи работают над этим. Не будет иной верности, преданности, кроме верности и преданности Партии. И не будет другой любви, кроме любви к Большому Брату. Не будет смеха, только торжествующий смех над побежденным противником. Не будет литературы, искусства, науки. Когда мы станем всемогущи, наука не понадобится. Не будет различия между красотой и уродством. Не будет любознательности, радости жизни. Все разнообразные наслаждения окажутся истребленными. Но всегда — помни это, Уинстон, — всегда будет опьянение властью, и оно будет расти и становиться все более и более изощренным. Всегда будет дрожь победы и наслаждение от брошенного под ноги, поверженного и беспомощного врага. Если ты хочешь представить себе образ грядущего, представь сапог, наступающий на лицо человека — наступающий навсегда.

Он замолк, словно ждал, что Уинстон возразит. Но Уинстон хотел одного — вжаться в лежак, к которому был привязан. Что он мог сказать? Сердце его замерло. О’Брайен продолжал:

— И помни — это навечно. Всегда найдется лицо, на которое можно наступить сапогом. Всегда найдется вероотступник, враг народа, которого надо будет громить и унижать. Все, что пережил ты, попав в наши руки, а может, и более страшное, — повторится. Слежка, предательство, аресты, пытки, казни, исчезновения — будут всегда. Сплошной мир террора и ликования. И чем сильнее будет становиться Партия, тем меньше у нее будет терпимости, а слабость оппозиции невольно усилит жестокость деспотизма. Гольдштейн и его ереси тоже будут жить вечно. Каждый день, каждую минуту их будут разоблачать, уничтожать, высмеивать, оплевывать — и все равно они будут существовать. Тот спектакль, который я разыгрывал с тобой семь лет, будут разыгрывать снова и снова, из поколения в поколение, и каждый раз все более утонченно. Всегда в наших руках будет инакомыслящий, кричащий от боли, сломленный и презираемый, кающийся в конце концов; спасая его от самого себя, мы доведем его до того, что он добровольно, по своей воле, приползет к нашим

ногам. Вот мир, который мы создаем, Уинстон. Мир победы за победой, мир, где мы будем торжествовать и давить, давить властью и торжествовать. Ты начинаешь, я вижу, представлять, каким он будет, этот мир. Но ты не только поймешь, что это будет за мир, ты примешь его и будешь приветствовать, ты станешь частицей этого мира.

Уинстон пришел в себя настолько, что смог заговорить.

— У вас ничего не выйдет, — прошептал он.

— Что ты хочешь этим сказать, Уинстон?

— Вы не сможете создать такой мир. Это бред. Это невозможно.

— Почему же?

— Невозможно построить цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости. Такой мир будет нежизнеспособным.

— Почему?

— Такая цивилизация погибнет, развалится, покончит самоубийством.

— Глупости. Ты полагаешь, что ненависть требует больше сил, чем любовь. Но почему? А если это и так, то какая разница? Быть может, мы хотим быстрее растратить собственные силы. Быть может, мы желаем довести темп человеческой жизни до таких пределов, что люди будут дряхлеть к тридцати годам. Какая разница? Да пойми наконец, что смерть отдельного человека — не смерть! Партия бессмертна.

Как прежде, голос О'Брайена доводил Уинстона до полной беспомощности. К тому же он опасался, что, если и дальше будет упорствовать, О'Брайен снова возьмется за рычаг циферблата. И тем не менее молчать он не мог. Робко, без серьезных аргументов, не имея другой опоры в душе, кроме невыразимого ужаса от нарисованной О'Брайеном картины, он пошел в наступление.

— Не знаю, да это и неважно. Но у вас все равно ничего не выйдет. Вы сорветесь на чем-нибудь. Жизнь вам помешает.

— Мы управляем жизнью, Уинстон. Управляем во всех ее проявлениях. Ты думаешь, будто есть нечто, что называют природой человека, и что наши действия восстановят ее против нас. Но мы творим природу человека. Люди бесконечно податливы. Или, может, ты вернулся к старой своей идее, что пролетарии или рабы восстанут и сбросят нас? Выбрось это из головы. Они беспомощны, как животные. Человечество — это Партия. Все, кто вне Партии, не идут даже в счет.

— Пусть так. Но в конце концов они победят вас. Рано или поздно они разглядят, какие вы на самом деле, и тогда они разорвут вас на куски.

— И что же, этот процесс уже идет? Может, у тебя есть какие-нибудь доказательства? Почему все это случится?

— Нет. Но я верю в это. Я знаю, что у вас ничего не выйдет. В мироздании есть что-то такое… не знаю что… какой-то дух, какой-то закон, который вам не преступить никогда.

— Ты веришь в бога, Уинстон?

— Нет.

— Что же это за дух, который уничтожит нас?

— Не знаю. Дух Человека.

— А ты человек?

— Да.

— Если ты человек, Уинстон, то — последний человек. Твой род вымер. А наследники — мы. Ты хоть понимаешь, что один! Ты вне истории, ты не существуешь. — Его тон опять изменился, и он спросил уже резко: — Разумеется, себя ты в моральном отношении считаешь, конечно, выше нас, лживых и жестоких?

— Да, я считаю, что я выше вас.

О'Брайен замолчал. Вместо его голоса Уинстон услышал разговор двух людей, в одном из которых узнал себя. Это была звукозапись его беседы с О'Брайеном в тот вечер, когда он вступал в Братство. Уинстон слышал, как обещал лгать, воровать, убивать, поощрять наркоманию и проституцию, распространять венерические болезни и плеснуть, если потребуется, в лицо ребенку серной кислотой. О'Брайен нетерпеливо махнул рукой, как будто хотел сказать, что не стоило и напоминать. Он повернул выключатель — голоса смолкли.

— Вставай! — приказал он.

Пристяжные ремни вдруг ослабли. Уинстон сполз на пол и с трудом встал на ноги.

— Ты последний человек на Земле, — повторил О'Брайен. — Ты — хранитель человеческого духа. Сейчас ты увидишь, что представляешь из себя. Раздевайся.

Уинстон развязал бечевку, поддерживающую комбинезон. Застежку-молнию давно уже выдрали. Он не помнил, снимал ли хоть раз одежду после ареста. Под комбинезоном оказались грязные желтоватые тряпки — все, что осталось от нижнего белья. Обрывки, повисшие вокруг тела. Когда он сбросил их с себя, то в дальнем конце комнаты увидел трехстворчатое зеркало. Он двинулся к нему и встал как вкопанный. Невольный крик вырвался из его груди.

— Давай-давай, — приказал О'Брайен. — Встань между створками. Увидишь себя и сбоку.

Уинстон остановился, потому что был действительно испуган. Сгорбленный серый скелет отражался в стекле и шел ему навстречу. Сам вид его внушал ужас, не говоря уже о том, что скелет этот — Уинстон понимал — не чей-нибудь, а его. Он подошел ближе. Череп урода в зеркале непомерно выдавался вперед, потому что тело сгорбилось.

На Уинстона глядело несчастное лицо арестанта — большой лоб, переходящий в лысину, заострившийся нос, запавшие щеки, дикие, настороженные глаза. Морщины избороздили лицо, рот ввалился. Несомненно, это был он, но странно, он гораздо сильнее изменился внешне, чем внутренне. Следы страданий, отразившиеся на лице, отличались от того, что он чувствовал. У него появилась лысина. Сначала ему показалось, что он просто поседел, на самом деле это лысина была безжизненного, сероватого цвета. Все тело, кроме рук и лица, было таким, в него въелась застарелая грязь. Сквозь слой ее проступали рубцы шрамов, а варикозная язва на ноге распухла и шелушилась. Больше всего страшила худоба. Грудь высохла, как у скелета, ноги исхудали до того, что колени выглядели толще бедер. Теперь только он сообразил, зачем О'Брайену понадобилось, чтобы он увидел себя и сбоку. Изгиб позвоночника стал странным, худые плечи выпирали вперед, грудная клетка провалилась, а тощая шея сгибалась под грузом черепа. Это было тело шестидесятилетнего старца, страдающего к тому же какой-то неизлечимой болезнью.

— Ты ведь думал порой, — сказал О’Брайен, — что мое лицо, лицо члена Внутренней Партии, выглядит старым и усталым. Что скажешь теперь о собственном лице?

Он схватил Уинстона за плечо и развернул его к себе.

— Посмотри, во что ты превратился, — продолжал он. — Взгляни на слой грязи на твоем теле. А чернота между пальцами ног? А эта твоя страшная язва? А знаешь, от тебя воняет, как от козла? Возможно, ты этого уже не замечаешь. А истощенность? Ты видишь, какой ты стал худой? Я могу легко охватить твой бицепс двумя пальцами. Я, как морковку, могу перебить твою шею. Знаешь, с тех пор как ты попал к нам, ты потерял двадцать пять килограммов веса? У тебя даже волосы выпадают, причем пучками. Смотри! — Он запустил руку в остатки волос Уинстона и выдернул клок. — Видал? А теперь открой рот. Осталось — девять, десять, одиннадцать зубов. А сколько их было, когда ты попал к нам? Да и те, что остались еще, выпадают. Смотри!

Он схватил один из уцелевших передних зубов Уинстона. Челюсть пронзила боль. О’Брайен с корнем выдернул зуб и швырнул его через камеру.

— Ты гниешь заживо, — подытожил он, — ты разваливаешься на части. Что ты теперь есть? Мешок с дерьмом! Повернись, взгляни на себя еще раз. Что за существо смотрит на тебя? Ты действительно последний человек.

И если ты человек, то перед тобой — человечество. А теперь — одевайся.

Уинстон принялся медленно, неловко натягивать на себя одежду. До сих пор он не замечал, как сильно исхудал и ослаб. И одна только мысль сверлила мозг: видимо, он пробыл здесь дольше, чем ему казалось. И тут, расправляя на себе грязное тряпье, он вдруг ощутил острую жалость к своему загубленному телу. Не осознавая, что делает, он опустился на табуретку, стоявшую у лежака, и разрыдался. Он знал, что в ярком белом свете выглядит отталкивающе — рыдающий урод в грязном белье, мешок с костями, но остановиться не мог. О’Брайен почти сочувственно положил ему руку на плечо.

— Ну, не навечно же это, — сказал он. — Все можно поправить. Если захочешь. Все зависит от тебя.

— Это ваша работа, — всхлипывал Уинстон. — Вы довели меня до такого состояния.

— Нет, Уинстон. Ты сам себя довел. Ты знал, на что шел, когда выступил против Партии. Все это нес в себе уже первый шаг. И ты не мог не догадываться, что ждет тебя.

Помолчав, он продолжил:

— Мы били тебя, Уинстон. Мы тебя сломали. Ты видел, на что похож. В таком же состоянии и твой рассудок. Не думаю, что у тебя осталось много гордости. Тебя избивали, пороли, оскорбляли, ты ревел от боли и катался по полу в собственной крови и блевотине. Ты молил о пощаде, ты предал всех и вся. Можешь ли назвать хоть одну низость, до которой еще не опустился?

Уинстон перестал плакать, хотя слезы текли по его щекам. Он поднял глаза на О’Брайена.

— Я не предал Джулию.

О’Брайен задумчиво взглянул на него.

— Да, — согласился он, — да, совершенно верно. Ты не предал Джулию.

То уважение к О'Брайену, которое, по-видимому, ничто не могло уничтожить, вновь заполнило сердце Уинстона. Какая тонкость, подумал он, какая все-таки тонкость. Ни разу не было случая, чтобы О'Брайен не понял его с полуслова. Любой другой на его месте немедленно бы сказал, что он предал Джулию. Ведь под пытками они вытянули из него все. Он рассказал им все, что знал о ней, о ее привычках, характере, прошлой жизни. Он в мельчайших подробностях описал, что происходило между ними, о чем они говорили, какие продукты покупали на черном рынке, даже как любили друг друга и как собирались бороться с Партией. Он поведал обо всем. И все-таки в том смысле, в каком он понимал это слово, он не предал Джулии. Он не перестал любить ее, его чувства к ней не изменились. И О'Брайен сразу, без объяснений понял его.

— Скажите, — спросил Уинстон, — когда меня расстреляют?

— Возможно, еще не скоро, — ответил О'Брайен. — Ты трудный случай. Но не горюй. Рано или поздно у нас все исцеляются. И в конце концов мы расстреляем тебя.

## 4

Ему было лучше. Он поправлялся, и с каждым днем возвращались силы. Если можно говорить здесь о днях.

Камера, где, как всегда, горел яркий белый свет и непрерывно гудел вентилятор, была несколько удобнее. Теперь у него на койке лежали подушка и матрац и была даже табуретка. Ему дали искупаться в ванне и довольно часто позволяли умываться в жестяной раковине. Даже теплую воду давали. Он получил новое белье и чистый комбинезон. Варикозную язву смазали мазью, а кроме того, удалили остатки зубов и сделали искусственный протез.

Прошло несколько недель, а может, и месяцев. Теперь-то можно было считать дни, поскольку его кормили, кажется, через регулярные промежутки. Только вот время больше не интересовало его. Он предполагал, что кормили три раза в сутки, но вот когда — днем или ночью — не знал. Еда стала удивительно хорошей, раз в сутки ему давали мясо. Однажды выдали даже пачку сигарет. У него не было спичек, но молчаливый охранник, приносивший еду, давал прикурить от зажигалки. От первой затяжки его стошнило, но курить он не бросил и надолго растянул пачку, выкуривая после каждой трапезы по полсигареты.

Ему принесли белую грифельную доску с огрызком карандаша, привязанным к ее углу. Поначалу он не прикасался к ней. Он пребывал в полнейшей апатии, даже когда не спал — просто лежал на койке от одной кормежки до другой. Лежал, почти не шевелясь, то засыпая, то пробуждаясь, хотя и в этом случае ему не хотелось открывать глаза. Он давно уже привык спать при ярком свете, бьющем в лицо, не ощущал никакой разницы, разве что сны становились от этого более связными. А сны он видел постоянно, и это всегда были хорошие сны. Он видел себя в Золотой Стране или сидел в величественных, освещенных солнцем развалинах с матерью,

Джулией, О'Брайеном, сидел и ничего не делал, просто сидел на солнце и разговаривал с ними о самых обыкновенных вещах. И, даже бодрствуя, он чаще всего думал о снах. Теперь, когда боль перестала подстегивать его, он, казалось, потерял способность мыслить. И ему не было скучно, не было желания говорить с кем-нибудь или просто развлечься. Хотелось только одиночества, лишь бы не били, не допрашивали, досыта кормили, держали в чистоте — этого вполне достаточно.

Постепенно он стал спать меньше, но вставать с лежака все равно не хотелось. Хотелось одного — тихо лежать и ощущать, как к нему возвращаются силы. Время от времени он ощупывал себя, чтобы убедиться, что мускулы округляются, а кожа становится упругой, и это не иллюзия, а реальность. В конце концов, сомнений не осталось он и в самом деле поправляется, и его бедра явно стали толще коленей. Убедившись в этом, он принялся — сначала неохотно — заниматься физическими упражнениями. Вскоре он уже мог, измерив камеру шагами, пройти три километра. Его плечи стали постепенно распрямляться. Он собрался перейти к более сложным упражнениям и был удивлен и даже сконфужен, когда обнаружил, что многое просто не может уже сделать. Не мог быстро передвигаться, держать табуретку на вытянутой руке, не мог даже устоять на одной ноге — тут же падал. Он попытался сесть на корточки и убедился, что с трудом, преодолевая боль и в бедрах, и в икрах, способен подняться. Он лег на живот и попробовал отжаться. Ничего не вышло. Не смог приподняться даже на сантиметр. Но спустя несколько дней, вернее, несколько обедов ему все-таки удалось это. Более того, настало время, когда он отжимался уже и шесть раз подряд. Постепенно родилось что-то вроде гордости за приходящее в норму тело, и затеплилась надежда, что и лицо меняется к лучшему. Теперь он вспоминал изможденный, морщинистый лик, глянувший на него из зеркала, только когда прикасался к лысине.

Наконец зашевелились и мозги. Он усаживался на койке спиной к стене, клал на колени грифельную доску и принимался за собственное перевоспитание.

Он сдался, это понятно. Теперь он видел, что в общем-то сдался гораздо раньше, чем решил это сделать. С того момента, как он оказался в Министерстве Любви, нет, даже с той минуты, когда они с Джулией беспомощно стояли спиной к спине, а железный голос монитора командовал, что им делать и как стоять, он понял всю несерьезность, всю глупость своей попытки выступить против Партии. Он знал теперь, что Полиция Мысли семь лет наблюдала за ним, как за жуком сквозь увеличительное стекло. Они отмечали все его поступки, все произнесенные слова, они следили даже за ходом его мыслей. Крохотная белая пылинка на обложке его дневника и та оказывалась всякий раз на месте, бережно пристроенная чьей-то рукой. После ареста они давали ему прослушивать магнитофонные записи, демонстрировали фотографии, в том числе те, где он был с Джулией, даже где они… Он больше не мог бороться с Партией. А кроме того, Партия права. Так и должно быть. Разве бессмертный коллективный разум может ошибаться? Да и есть ли объективные критерии для проверки своих суждений? Здравомыслие оказывалось статистикой. Оно сводилось к тому, чтобы научиться мыслить так же, как они. Только…

Карандаш казался чересчур толстым и выскальзывал из пальцев. Он принялся записывать мысли, приходившие ему на ум. Крупными заглавными буквами вывел:

***СВОБОДА ЭТО РАБСТВО.***

Затем, почти без перерыва, чуть ниже написал:

***ДВАЖДЫ ДВА ПЯТЬ.***

И остановился. Смущенный разум словно не мог сосредоточиться. Он понимал, что он знает, что должно идти дальше, но не мог вспомнить. Потом все-таки вспомнил, хотя для этого пришлось и думать, и рассуждать. И написал:

***БОГ ЭТО ВЛАСТЬ.***

Он все принял. Прошлое можно изменить. Прошлое никогда не меняется. Океания воюет с Востазией. Океания всегда воевала с Востазией. Джонс, Аронсон и Рузерфорд виновны в предъявленных им преступлениях. Он никогда не видел фотографии, опровергающей их вину. И эта фотография никогда не существовала, он выдумал ее. Он помнит, что помнил обратное этому, но это — ложная память, самообман. Как же все просто! Стоит сдаться — и остальное придет само. Все равно что плыть против течения, которое относит тебя назад, как бы отчаянно ты ни старался, в то время как требуется всего-навсего повернуть и поддаться, не бороться с ним. Ничего не изменилось, кроме собственного положения, и тем не менее изменилось все. Он теперь вообще не мог сказать, зачем ему нужно было бунтовать. Все просто, за исключением…

Разве не правда, что так называемые законы природы — чушь. Закон всемирного тяготения — тоже чушь. «Если захочу, — говорил О'Брайен, — я поднимусь в воздух, как мыльный пузырь». Уинстон попытался развить эту мысль. Если он думает, что взлетает вверх, а я одновременно с ним думаю, что вижу, как он взлетает, значит, это действительно происходит. Правда, внезапно, словно всплыл на поверхность давно затонувший обломок, ему пришла мысль: «Нет, не происходит. Мы лишь воображаем это. Это галлюцинация». Но он решительно отбросил эту мысль, как явное заблуждение. Оно вытекало из того, что каким-то образом вне человека есть «реальный» мир, в котором происходят «реальные» вещи. Но как же может существовать такой мир, если вся наша информация о нем идет через человеческий разум? Все происходит в сознании. А то, что происходит в сознании всех, и есть действительность.

Он легко справился с заблуждением и уже не опасался впасть в него опять. Но нужно было закрепить усвоенное, надо было, чтобы оно вообще не приходило в голову. Разум обязан слепнуть, если появляется опасная мысль. И процесс этот

должен стать автоматическим, инстинктивным. На новоязе это называется преступстоп.

И он стал упражняться в преступстопе. «Партия утверждает, что Земля плоская», — сказал он себе. «Партия утверждает, что лед тяжелее воды», — приучал он себя не видеть или не понимать доводов, противоречащих этому. Это оказалось нелегким делом. Потребовались немалые усилия, умение рассуждать и импровизировать. А кое-какие арифметические задачи, возникающие из утверждения «дважды два — пять», оказались вообще выше его понимания. Они требовали атлетического ума, способности мгновенно и тщательно применять логику и одновременно не замечать грубейших логических ошибок. Тупость нужна была в не меньшей мере, чем сообразительность, а «развить» тупость было не так просто.

И все это время какой-то частью сознания он бился над вопросом, как скоро они расстреляют его. «Все зависит от тебя», — сказал О'Брайен. Но Уинстон понимал: приблизить этот момент не в его силах. Расстрелять могут и через десять минут, и через десять лет. Кто им запретит держать его в одиночной камере, или послать в лагерь, или освободить, как они делают это иногда. Не исключено, что, перед тем как его расстреляют, опять будет разыгран весь этот спектакль с арестом и допросами. Точно известно лишь одно — смерть никогда не приходит, когда ее ждешь. По традиции, о которой никто не говорит, но все знают, они всегда стреляют сзади, когда ты идешь по коридору из одной камеры в другую, и всегда в затылок.

Как-то в один из дней — если это можно назвать «днем», поскольку с равным успехом это могло случиться и ночью, — он впал в состояние странной, светлой задумчивости. Он шел по коридору и ожидал пули в затылок. Вот сейчас раздастся выстрел. Все решено, все исправлено и улажено. Исчезли сомнения, споры, боль и страх. Он чувствовал себя здоровым и сильным. Шел легко и радостно, словно прогуливался под солнцем. И уже не в узком белом коридоре Министерства Любви, а в огромном, залитом солнечными лучами проходе шириной в километр, кажется, в том самом, который видел в бреду после наркотиков. Он опять в Золотой Стране, брел по знакомой тропке через старый, выщипанный кроликами луг. Он ощущал под ногами пружинистую молодую траву и нежное солнце на лице. На окраине луга стояли вязы, и легкий ветерок играл их листьями, а где-то дальше был ручей, в зеленых заводях которого, под ивами, лежала плотва.

Вдруг в ужасе он подался вперед. Холодный пот залил спину. Он услышал свой собственный громкий крик:

— Джулия! Джулия! Джулия, любовь моя! Джулия!

Конечно, это была галлюцинация, но Джулия оказалась здесь, рядом. Она не просто была с ним, она переполняла его, она срослась с ним. Он любил ее в этот момент сильнее, несравненно сильнее, чем тогда, когда они были вместе и свободны. И он понял — Джулия жива и ждет его помощи.

Он упал на койку и попытался прийти в себя. Что же он наделал? Сколько лет заключения добавил он себе, поддавшись минутной слабости?

Сейчас он услышит топот сапог за дверью. Они не простят этого взрыва чувств. Теперь они знают, если не догадывались раньше, что он нарушает условия. Он покорился Партии, но все еще ненавидит ее. Ему удавалось скрывать ересь под

личиной конформизма. Теперь он отступил еще на шаг: ум его сдался, но он надеялся сберечь душу. Возможно, он не прав, но он желал быть неправым. Они это поймут — по крайней мере, О'Брайен поймет. И все выдал один глупый крик.

Ему придется начать сначала. На это потребуется, вероятно, несколько лет. Он провел рукой по лицу, стараясь освоиться со своим новым обликом. Глубокие морщины, заострившиеся скулы, приплюснутый нос. Кроме того, с тех пор как он увидел себя в зеркале, у него появился зубной протез. Трудно хранить тайну, не зная, как выглядит твое лицо. Да и мало просто контролировать выражение лица. Впервые до него дошло, что, если хочешь сохранить секрет, надо прятать его даже от себя. Необходимо всегда помнить о нем, но не позволять ему принимать определенный образ. Отныне он должен не только думать правильно, но и правильно чувствовать, видеть правильные сны. Он должен загнать ненависть глубоко внутрь себя, она должна стать материей, которая подобна части твоего тела и вместе с тем будет чужда ему, как киста.

Однажды они расстреляют его. Невозможно узнать заранее, когда это произойдет, но за несколько секунд до выстрела, наверное, можно будет догадаться. Стреляют всегда сзади, когда идешь по коридору. Десяти секунд хватит. Этого времени хватит, чтобы раскрыться. Не проронив ни слова, не сбившись с шага, не изменив выражения лица, он сбросит вдруг маску, и — огонь! — батареи его ненависти откроют огонь! Как огромное ревущее пламя, заполнит его ненависть. В то же самое мгновение — слишком поздно или слишком рано — выстрелит пистолет. Они разнесут его мозги, так и не исправив их. Инакомыслие не будет наказано, он умрет не раскаявшись, навсегда станет недосягаемым для них. Они пробьют брешь в своем идеале. Да, умереть, ненавидя их, — вот в чем свобода.

Он закрыл глаза. Разумеется, это гораздо труднее, чем подчиняться их интеллектуальной дисциплине. Надо подавить самого себя, унизить, сознательно окунуться в ужасную грязь. Что здесь самое отталкивающее, самое отвратительное? Он вспомнил Большого Брата. В памяти возникло огромное лицо (ведь он видел его лишь на плакатах, и ему казалось, что оно и в самом деле метровой ширины), густые черные усы и глаза, вечно преследующие тебя. Каковы же его подлинные чувства к Большому Брату?

Послышался топот тяжелых сапог в коридоре. Стальная дверь лязгнула и открылась. В камеру вошел О'Брайен. За ним стояли офицер с восковым лицом и охранники в черной форме.

— Встань, — приказал О'Брайен. — Подойти ко мне. Уинстон застыл напротив О'Брайена. Тот сильными руками взял его за плечи и пристально заглянул в глаза.

— Ты хотел обмануть меня, — проговорил он. — Это глупо. Встань прямо. Смотри мне в глаза.

Он помолчал и уже спокойно продолжил:

— Ты делаешь успехи. Твой интеллект почти выправился. Но чувства твои все еще больны. Скажи-ка, Уинстон, и не вздумай лгать, — ты прекрасно знаешь, что я всегда отличу ложь, — скажи мне, какие чувства ты питаешь к Большому Брату?

— Я ненавижу его.

— Ненавидишь… Отлично. Значит, тебе пришло время сделать последний шаг. Ты обязан полюбить Большого Брата. Мало подчиняться ему, его нужно любить.

Он отпустил Уинстона и подтолкнул его в сторону охранников.

— Камера 101, — приказал он.

## 5

На каждом этапе своего заключения Уинстон знал, или ему казалось, что знает, где именно находится он в этом здании без окон. Возможно, он чувствовал еле заметные колебания в атмосферном давлении. Камеры, где охранники избивали его, были под землей. Место, где допрашивал О'Брайен, — под самой крышей. На этот раз он очутился очень глубоко под землей, очевидно на самом нижнем этаже этого здания.

Камера была самой просторной из всех, где ему случилось побывать. Правда, он ничего не видел, кроме двух небольших столиков перед собой, покрытых зеленым сукном. Один стоял в метре или двух от него, другой — у дверей. Уинстона усадили в кресло и стянули ремнями так туго, что он не только не мог шевельнуться, но не мог даже повернуть головы. Зажимы охватили сзади затылок, заставляя смотреть прямо перед собой.

Несколько минут он сидел один, потом открылась дверь и вошел О'Брайен.

— Ты как-то спрашивал меня, — начал О'Брайен, — что находится в камере 101. Я сказал, что ты сам знаешь это. Все это знают. В камере 101 находится то, что хуже всего на свете.

Дверь снова открылась. Вошел охранник с ящиком или корзиной, сделанной из проволоки. Он поставил это на дальний столик у дверей. Из-за О'Брайена Уинстон не мог разглядеть, что же это такое.

— У разных людей, — продолжал О'Брайен, — разные представления о том, что на свете хуже всего. Для одного — это погребение заживо, для второго — смерть на костре или на колу, для третьего — любой другой из полусотни способов казни. А может быть, и что-то совсем обыкновенное, даже несмертельное.

Он отодвинулся в сторону, и Уинстон смог рассмотреть, что же стоит на дальнем столе. Это оказалась продолговатая проволочная клетка с ручкой наверху. Спереди к ней было прикреплено что-то напоминающее маску фехтовальщика, причем вогнутой стороной наружу. И хотя клетка находилась в трех или четырех метрах от него, он все же разглядел — она разделена на два отделения, и в каждом отделении кто-то сидит. Крысы, это были крысы.

— В твоем случае, — подытожил О'Брайен, — хуже всего на свете — крысы.

Как только Уинстон увидел клетку, он вздрогнул от безотчетного ужаса. Но только сейчас он понял назначение маски, и все внутри него оборвалось.

— Не надо! — закричал он высоким срывающимся голосом. — Вы не сделаете этого! Это невозможно!

— Вспомни, — сказал О'Брайен, — вспомни кошмар, который мучил тебя по ночам. Помнишь стену мрака и нечто ужасное по другую сторону этой черной стены. Ты всегда знал, что там, но никогда не решался признаться себе в этом. А там, с другой стороны стены, были крысы.

— О’Брайен! — взмолился Уинстон, пытаясь овладеть своим голосом. — Вы ведь знаете, в этом нет ни малейшей необходимости. Чего еще вы хотите от меня?

О’Брайен уклонился от прямого ответа. Он опять заговорил в манере школьного учителя, которую обожал напускать на себя. Он задумчиво смотрел вдаль, как будто обращался к некой аудитории там, за спиной Уинстона.

— Сама по себе боль, — наставлял он, — еще не всегда достаточна. Случается, человек может перенести боль и умереть, не сдавшись. Но у каждого всегда есть что-нибудь такое, чего он не может перенести, чего не может даже видеть. Смелость или трусость тут ни при чем. Когда падаешь с высоты, разве трусость — цепляться за веревку? Разве трусость — хватать ртом воздух, когда выныриваешь с большой глубины? Инстинкт, его невозможно уничтожить. То же и с крысами. Тебе их не вынести. Это такое воздействие, которое лично ты не сможешь выдержать, даже если захочешь. И тут ты сделаешь все, что от тебя потребуется.

— Но что потребуется, что? Как я могу сделать это, если не знаю, что надо?

О’Брайен взял клетку, перенес ее на ближний столик. Аккуратно поставил на зеленое сукно. Кровь застучала в ушах Уинстона. Никогда он не чувствовал себя таким одиноким. Он словно оказался среди безбрежной голой равнины, плоской пустыни, выжженной солнцем, в которой звуки доносились до него как бы издалека. А клетка с крысами стояла в двух метрах. Это были громадные крысы в том возрасте, когда их морды становятся тупыми и свирепыми, а шерсть из серой превращается в бурую.

— Крысы, — продолжал разглагольствовать О’Брайен, обращаясь по-прежнему к невидимой аудитории, — хотя и являются грызунами, тем не менее плотоядны. Ты это знаешь. Ты же слышал, что происходит порой в бедных кварталах Лондона. На некоторых улицах матери не решаются оставить детей одних и на пять минут, потому что крысы обязательно нападут на ребенка. Они мгновенно объедают его до костей. Крысы нападают также на больных и умирающих людей. Они удивительно хорошо понимают, когда человек беззащитен.

Пронзительный визг раздался из клетки. Уинстону опять показалось, что он донесся издалека. Крысы дрались, они пытались добраться друг до друга через перегородку. А еще Уинстон услышал тяжелый, отчаянный стон, который тоже, казалось, донесся издали.

О’Брайен поднял клетку и что-то нажал. Раздался резкий щелчок. Уинстон сделал отчаянную попытку вырваться из кресла. Бесполезно. Ремни удерживали намертво даже голову. О’Брайен поднес клетку ближе. Теперь между ней и лицом Уинстона не было и метра.

— Я нажал первый рычаг, — пояснил О’Брайен. — Ты понял, как устроена клетка. Маску наденут тебе на голову и плотно прижмут ее. А когда я нажму на этот вот второй рычаг, дверца клетки откроется и эти умирающие от голода животные пулей вылетят из нее. Тебе случалось видеть, как высоко прыгают крысы? Они прыгнут тебе прямо в лицо и вцепятся в него. Иногда они сразу впиваются в глаза. Иногда прогрызают щеки и сжирают язык.

Клетка приближалась. Казалось, Уинстон слышал визг у себя над головой. Изо всех сил он старался не паниковать, сдержать страх. Думать, думать, пусть осталась лишь доля секунды — думать! Это его последняя надежда. Отвратительный запах

ударил в ноздри Уинстону. Его чуть не стошнило, он едва не потерял сознание. На какое-то время он опять превратился в безумное вопящее животное. Но вынырнул из темноты, ухватившись за спасительную мысль. Есть только один, всего один способ спасти себя. Ему надо поставить между собой и крысами другого человека, тело другого человека.

Кольцо маски закрыло все, кроме крыс. Проволочная дверка была от него буквально в двух пядях. И крысы, кажется, понимали, что сейчас произойдет. Одна из них все время металась от нетерпения, а другая — старая обитательница канализационной системы, вся в какой-то коросте, — поднялась на задние лапы и, уцепившись розовыми подушечками передних лап за проволоку, яростно нюхала воздух. Уинстон видел ее усы и желтые зубы. И снова его обуяла паника. Он стал слепым, безумным, беспомощным.

— Эта казнь широко практиковалась в императорском Китае, — как всегда поучающе, заметил О'Брайен.

Маска сжималась на лице Уинстона. Проволока царапала щеки. И вдруг (нет, это не было спасением — лишь проблеском надежды, но поздно, наверное, слишком поздно) — он вдруг понял, что во всем мире есть только один человек, на которого можно перенести наказание, одно тело, которое он мог поставить между собой и крысами. И он неистово закричал, без конца твердя одно и то же:

— Сделайте это с Джулией! Сделайте это с Джулией! Только не со мной! С Джулией! Мне плевать, что вы сделаете с ней! Пусть крысы разгрызут ей лицо, объедят ее до костей. Только не со мной! С Джулией! Не со мной!

Он провалился куда-то в пропасть, — но прочь, прочь от крыс. Он все еще был привязан к сиденью и вместе с ним летел сквозь пол, сквозь стены здания, сквозь землю, моря и океаны, пробивая атмосферу в какой-то иной мир, в межзвездное пространство, — но прочь, прочь, прочь от крыс. Он был от них на расстоянии в несколько световых лет, хотя О'Брайен все еще стоял рядом. Холодная проволока еще касалась щек. Но сквозь тьму, окутывающую его, он услышал по-новому прозвучавший металлический щелчок и понял: дверка закрылась, а не открылась.

## 6

Кафе «Под каштаном» было почти пустым. Желтый луч солнца, пробиваясь сквозь окно, падал на пыльные столики. Пятнадцать часов — время затишья. Только отрывистая музыка доносилась из мониторов.

Уинстон сидел в своем углу, глядя в пустой стакан. Иногда он поднимал глаза на огромное лицо, следившее за ним с противоположной стены. «БОЛЬШОЙ БРАТ ВИДИТ ТЕБЯ», — было написано на плакате. Подошедший без приглашения официант снова наполнил его стакан джином Победы и плеснул туда несколько капель из другой бутылки через трубочку в пробке. Гвоздика, настоянная на сахарине, была фирменной добавкой кафе.

Уинстон прислушался к монитору. Пока играла, музыка, но вот-вот должен быть передан специальный бюллетень Министерства Мира. Сообщения с африканского

фронта были крайне тревожны. Они волновали Уинстона весь день. Евразийская армия (Океания воевала с Евразией; Океания всегда воевала с Евразией) продвигалась к югу с пугающей быстротой. В полдень в бюллетене не назвали конкретного района боевых действий, но, вероятнее всего, бои шли уже в устье Конго. Браззавиль и Леопольдвиль оказались под угрозой. Не стоит даже смотреть на карту, чтобы понять, что это означает. Дело не просто в потере Центральной Африки; впервые за всю войну опасность нависла над территорией самой Океании.

Сильное чувство, не то чтобы страх, а какое-то безотчетное возбуждение, то охватывало его, то пропадало. Он перестал думать о войне. Он не мог теперь подолгу думать об одном и том же. Он поднял стакан и залпом осушил его. Как всегда, джин вызвал дрожь и слабый позыв тошноты. Мерзкий напиток. Гвоздика и сахарин, сами по себе порядочная дрянь, не отбивали маслянистого запаха. Но хуже всего, что вонь джина, не оставлявшая его ни днем ни ночью, каким-то образом связывалась у него с вонью этих…

Он никогда не называл их, даже мысленно, и, насколько это удавалось, старался не вспоминать, как они выглядят. Это было нечто полуосознанное — близкий шорох, остатки запаха в ноздрях… Джин подействовал, и он рыгнул сквозь синюшные губы. Он растолстел с тех пор, как они выпустили его, восстановился цвет лица, совершенно восстановился, лицо округлилось, кожа на носу и щеках стала ярко-красной, и даже лысина порозовела. Опять без напоминания подошел официант и принес шахматную доску и свежий номер газеты «Таймс», открытый на странице, где была напечатана шахматная задача. Заметив, что стакан Уинстона пуст, он принес бутылку джина и налил еще одну порцию. Не надо было ничего заказывать. Тут отлично знали его привычки. Шахматная доска всегда была к его услугам, а столик в углу зарезервирован для него. И даже когда кафе было переполнено, он сидел за ним один, потому что никто не решался подсаживаться. Он никогда не считал выпитого. Время от времени ему вручали грязный обрывок бумаги и говорили, что это счет, но у него сложилось впечатление, что они берут с него слишком мало. Впрочем, даже если было бы наоборот, это не имело никакого значения. Теперь у него было много денег. У него была даже работа, конечно, синекура, и платили за нее куда больше, чем за прошлый труд.

Музыка в мониторе оборвалась, и заговорил диктор. Уинстон, прислушиваясь, поднял голову. Нет, это не бюллетень с фронта, а короткое сообщение Министерства Изобилия. Из него следовало, что в предыдущем квартале Десятого Трехлетнего Плана задание по производству шнурков для ботинок перевыполнено на девяносто восемь процентов.

Он просмотрел шахматную задачу и расставил фигуры. Тут было любопытное окончание с двумя конями. «Белые начинают и делают мат в два хода». Уинстон посмотрел на портрет Большого Брата. Белые всегда ставят мат, подумал он почти мистически. Всегда, без исключений, так уж устроено на свете. Еще ни в одной шахматной задаче с тех пор, как стоит мир, не побеждали черные. И разве это не символизирует вечную, неизменную победу Добра над Злом? Громадное лицо, исполненное спокойной силы, глянуло на него в ответ. Белые всегда ставят мат.

Диктор помолчал и уже другим, более серьезным тоном добавил:

— Внимание! В пятнадцать тридцать будет передано важное сообщение. В пятнадцать тридцать! Сообщение чрезвычайной важности. Не пропустите его. Пятнадцать тридцать! — Из монитора опять полилась металлическая музыка.

Сердце Уинстона дрогнуло. Это новости с фронта. Интуитивно он чувствовал — новости будут плохие. Весь день, испытывая приступы возбуждения, он думал о крупном поражении в Африке. Ему казалось, он видит, как Евразийская армия пересекает границу, которую никто и никогда не пересекал, как полчища муравьев оккупируют оконечность Африки. Почему не удалось ударить им во фланг? Он ясно представлял себе очертания западноафриканского побережья. Он взял белого коня и двинул его на новую клетку. Вот правильный ход. Он вообразил устремившиеся на юг черные орды и тут же представил себе, как у них в тылу тайно накапливаются иные силы, которые уже перерезают их коммуникации на земле и на море. Он представил, как бы это осуществил он. Только необходимо действовать быстро. Ведь, если захватят всю Африку, если создадут аэродромы и базы подводных лодок у мыса Доброй Надежды, Океания окажется разрезанной пополам. А это приведет к непредсказуемым последствиям — к поражению, к развалу страны, к переделу мира, к гибели Партии! Он глубоко вздохнул. Невероятная мешанина чувств — но если точнее, не мешанина, а, скорее, борьба чувств, и никто не мог бы сказать, какое из них лежит в основе.

Возбуждение улеглось. Уинстон вернул белого коня на место, но сосредоточиться всерьез на решении шахматной задачи все еще не мог. Его мысли вновь разбредались. Почти бессознательно он вывел пальцем на пыльном столе:

***2+2 =***

«Они не смогут влезть к тебе в душу», — говорила она.

Но ведь они влезли.

«Все, что произошло с тобой здесь, произошло навсегда», — сказал О'Брайен. Это оказалось правдой. Были такие вещи, такие поступки, которых уже не вернешь. Что-то убито в твоей груди, выжжено, выгорело.

Он виделся с ней. Он даже говорил с ней. Теперь это неопасно. Почти инстинктивно он понял, что они потеряли к нему интерес. Он вполне мог договориться с ней встретиться еще раз, если бы им вдруг захотелось этого. Они столкнулись вообще-то совершенна случайно — в парке, в мерзкий холодный мартовский день, когда земля была тверда, как железо, а трава казалась мертвой и нигде не было видно ни одной зеленой веточки, кроме нескольких крокусов, которые трепал ветер. Он, с озябшими руками и слезящимися глазами, быстро шел по аллее, когда увидел ее метрах в десяти от себя. Она изменилась — это сразу было заметно, хотя трудно сказать, в чем именно. Они чуть было не прошли мимо друг друга, не поздоровавшись, но он, не испытывая особого желания, развернулся и пошел за ней. Он знал — это неопасно, никто не следит за ними. Джулия молчала. Она пошла наискось через лужайку, будто старалась уйти от него, потом смилостивилась и позволила идти рядом. Они добрались до голого кустарника. Тут

нельзя было укрыться или спрятаться от ветра, но именно здесь они и остановились. Было страшно холодно, ветер свистел в кустах и рвал редкие грязные крокусы. Он положил руку на ее талию.

Конечно, здесь не было мониторов, но были спрятанные микрофоны. Впрочем, их могли увидеть и так. Но это не имело значения. Ничто уже не имело значения. Если бы они захотели, то могли лечь на землю и заняться этим. Но при одной мысли об этом он оцепенел. Джулия никак не ответила на прикосновение к талии. Она даже не попыталась высвободиться. Тогда он понял, что в ней изменилось. Лицо стало еще бледнее, через лоб и висок шел длинный шрам, едва прикрытый волосами. Но не это главное. Главное в том, что ее располневшая талия стала на удивление каменной. Он вспомнил, как однажды после взрыва бомбы помогал вытаскивать из-под обломков здания труп человека. Тогда его поразил не только невероятный вес убитого, но и то, каким он оказался негнущимся, неудобным для переноски. Камень, а не человек. Таким же стало и ее тело. Ему даже подумалось, что и кожа у нее стала совсем другой.

Он не пытался поцеловать ее или заговорить. Когда они шли по траве назад, она впервые взглянула ему прямо в лицо. Короткий взгляд, полный презрения и нет приязни. Он даже задумался, чем вызвана эта неприязнь: его недавним прошлым или тем, как он выглядел сейчас, — его обрюзгшим лицом, слезящимися из-за ветра глазами? Они уселись рядом на металлические стулья, но не слишком близко друг к другу. Он видел, она хочет что-то сказать. Джулия шевельнула ногой, обутой в грубый ботинок, и нарочно раздавила какую-то веточку. Ноги ее располнели — это он тоже заметил.

— Я предала тебя, — сказала она без обиняков.

— Я предал тебя, — отозвался Уинстон.

Она опять смерила его неприязненным взглядом.

— Иногда они угрожают такими вещами, — начала она, — такими вещами, которых ты вынести не в состоянии, о которых даже помыслить не можешь. И тогда ты говоришь: «Не делайте этого со мной, сделайте это с кем-нибудь другим, сделайте это с тем-то и тем-то». Возможно, потом ты и будешь притворяться, что это лишь уловка, что ты сказал так, лишь бы они перестали издеваться над тобой, что на самом деле вовсе не думаешь этого. Но все это неправда. Когда это случается, ты действительно думаешь так. Ты считаешь, что у тебя нет другого способа спасти себя, и тогда ты готов спасать себя и таким способом. Ты хочешь, чтобы это делали с кем-нибудь другим. И тебе наплевать, как он будет мучиться, потому что ты думаешь только о себе.

— Думаешь только о себе, — повторил он.

— А после твои чувства по отношению к этому человеку уже не те.

— Да, — отозвался он, — уже не те. Говорить больше было не о чем. Ветер продувал их тонкие комбинезоны. Глупо было сидеть здесь и молчать, кроме того, было слишком холодно сидеть не двигаясь. Она пробормотала что-то насчет поезда метро, на который надо успеть, и встала.

— Нам надо встретиться еще, — сказал Уинстон.

— Да, — согласилась она, — надо встретиться.

Он нерешительно поплелся за ней, отставая на полшага, и немного проводил ее. Они больше не говорили. Джулия не пыталась отделаться от него, но шла так быстро, что он не успевал шагать рядом. Он собирался проводить ее до метро, но затем вдруг подумал, как бессмысленно и невыносимо тащиться вслед за ней в такой холод. Не то чтобы ему очень уж хотелось бросить ее на полдороге, но ужасно потянуло вернуться в кафе «Под каштаном», которое никогда еще не казалось таким притягательным, как в этот момент. Он ностальгически видел свой угловой столик с газетами и шахматной доской и неизменный джин. Но самое главное — там сейчас тепло. И вскоре он отнюдь не случайно позволил толпе разъединить себя и Джулию. Затем попытался было догнать ее, но замедлил шаги, повернул и двинулся в противоположную сторону. Пройдя метров пятьдесят, оглянулся. Народу на улице было немного, но он не мог уже различить ее. Любая из десятка фигур, спешащих к метро, могла быть Джулией. А может быть, ее располневшую, закаменевшую спину и невозможно теперь узнать сзади.

«Когда это случается, — сказала она, — ты действительно думаешь так». Да, верно, он думал так, он не только твердил это, он желал, чтобы так и произошло. Он хотел, чтобы ее, а не его отдали на съедение…

Что-то изменилось в музыке монитора, в нее вплеталась надтреснутая и глумливая нота, что-то трусливое и жалкое. А затем — возможно, этого и не было, возможно, это было просто воспоминание, вызванное схожей мелодией, — голос пропел:

Под старым каштаном, при свете дня,
Я предал тебя, а ты — меня…

В его глазах стояли слезы. Проходивший мимо официант заметил, что стакан его пуст, и вернулся с бутылкой джина.

Он понюхал напиток. С каждым глотком джин становился все более отвратительным. Но напиток стал частью его существования — его жизнью, его смертью, его воскресением. С помощью джина он проваливался в забытье ночью и с его же помощью оживал по утрам. Да, стоило ему проснуться — обычно не раньше одиннадцати, — со слипшимися веками, горечью во рту, со спиной, которая казалась перебитой, как он убеждался: без приготовленной с вечера бутылки и чашки ему даже не встать с постели. Днем он сидел с потухшим взглядом, слушал монитор и обязательно держал рядом бутылку. С пятнадцати часов и до закрытия словно прирастал к своему столику в кафе «Под каштаном». Никому теперь не было до него дела, его не будил свисток по утрам, не поучал монитор. Иногда, раза два в неделю, он ходил в пыльный, заброшенный кабинет в Министерстве Правды и немного работал или делал вид, что работает. Его назначили в подкомиссию подкомитета, который выделился в одном из многочисленных комитетов, занимавшихся решением мелких проблем, возникающих при составлении одиннадцатого издания словаря новояза. Они трудились над составлением так называемого Временного Доклада, но что представляло собой то, о чем им надлежало доложить, он так никогда и не уяснил. Это было что-то вроде вопроса, где нужно ставить запятые — внутри скобок или за ними. В подкомиссию входили еще четверо, и все — вроде

него. Случались дни, когда, собравшись вместе, они тут же расходились по домам, честно признаваясь друг другу, что заниматься в общем-то нечем. Но бывали и другие дни, когда они брались за работу с энтузиазмом, делая вид, что ужасно увлечены писанием протоколов и составлением больших меморандумов (которые так никогда и не заканчивали), когда дискуссия о том, что они, как предполагалось, обсуждали, превращалась в чрезвычайно запутанную и непонятную, с изощренными препирательствами об определениях, пространными отступлениями от темы, ссорами и даже угрозами обратиться к более высоким инстанциям. И так же внезапно эта энергия улетучивалась, и они сидели вокруг стола, глядя друг на друга потухшими глазами, словно призраки, застигнутые рассветом.

Монитор на мгновение смолк. Уинстон опять поднял голову: бюллетень! Нет, они просто сменили музыку. Он мысленно видел карту Африки. Движение армий представлялось четкой схемой: черная стрела устремлялась вертикально к югу, белая — на восток, отрезая хвост черной. Как бы ища опору, он обратился к невозмутимому лицу на портрете. Неужели второй стрелы даже не существует?

Впрочем, он вновь потерял интерес к далекой войне. Уинстон еще глотнул джина, взял белого коня и сделал пробный ход. Шах. Но ход был неверный, потому что…

Незвано в памяти всплыла картинка из детства. Он увидел комнату с горящей свечой, большую кровать, покрытую белым одеялом, и себя лет девяти-десяти, сидящего на полу радостно смеющимся и встряхивающим стаканчик с костями. Напротив сидела мать и тоже смеялась.

Наверное, это случилось за месяц до ее исчезновения, в период примирения, когда его вечный голод поутих и был как бы забыт, а любовь к матери вновь вернулась. Он отчетливо помнил тот день: бесконечный дождь барабанил в окно, вода лилась по стеклам, было слишком темно, чтобы читать. Двое детей умирали от скуки в темной, тесной комнате. Уинстон хныкал и капризничал, все время просил есть, слонялся по комнате, сдвигая с места то одно, то другое, колотил ногой в стены так, что соседи начинали возмущаться; его младшая сестренка скулила не переставая. Наконец мать сказала: «Будь умницей, и я куплю тебе игрушку. Очень хорошую игрушку, она тебе понравится». По дождю она побежала в соседний магазин, который время от времени еще работал, и вернулась с картонной коробкой, в которой оказалась игра «Коварные лестницы». Он и теперь помнит запах влажной коробки. Принадлежности игры были убогими. Картон потрескался, а крошечные деревянные кубики так косо выпилены, что было трудно понять, какое число выпадало. Уинстон посмотрел на игру надуто, без интереса. Но мать зажгла огарок свечи, и они сели на пол играть. Вскоре Уинстон увлекся, азартно кричал и смеялся, когда фишки храбро карабкались вверх по лестницам, а потом вдруг соскальзывали вниз чуть ли не к самому старту. Они сыграли восемь партий, выиграв по четыре. Его маленькая сестренка, не понимая сути игры, сидела, прислонясь к валику кровати, и заливалась от смеха, потому что смеялись они с матерью. Целый вечер они были счастливы, как это случалось только в его раннем детстве.

Уинстон отогнал воспоминание. Это ложная память, которая время от времени еще давала себя знать. Но, если умеешь отличить ее от памяти подлинной, особых причин для беспокойства нет. Что-то происходило, конечно, а чего-то и не было

никогда. Он склонился над шахматной доской и снова взялся за белого коня. Но фигура тут же со стуком упала на доску. Он вздрогнул, словно кто-то кольнул его.

Резкий звук трубы потряс воздух. Наконец-то бюллетень! Победа! Труба всегда трубит перед победой. Словно электрический разряд пронесся по кафе. Даже официанты навострили уши.

Вслед за сигналом трубы началось нечто невообразимое. Возбужденный голос диктора что-то сообщал скороговоркой, но слова его тонули в восторженном реве уличной толпы. Новость успела уже, как по волшебству, облететь улицы. Он все же разобрал какие-то слова диктора, чтобы понять — все произошло именно так, как он и предполагал: тайно сконцентрированная огромная морская армада выбросила десант в тыл противнику, белая стрела перерезала хвост черной. Обывки победных фраз доносились сквозь шум: «Широкий стратегический маневр! Отличное взаимодействие! Полный разгром! Полмиллиона пленных! Окончательный развал армии противника! Контроль над всей африканской территорией! Близок конец войны! Победа! Величайшая победа в истории человечества! Победа, победа, победа!»

Ноги Уинстона под столом судорожно плясали. Он по-прежнему сидел на своем месте, но мысленно, мысленно он стремительно бежал в уличной толпе и кричал, кричал до хрипоты. Он снова поднял глаза на портрет Большого Брата. Вот колосс, возвышающийся над миром! Скала, о которую разбиваются азиатские орды! Он вспомнил, что еще десять минут назад — да, всего десять минут назад — он ощущал какие-то сомнения в сердце, гадая, что принесет сводка: победу или поражение. Нет, ныне погибла не только Евразийская армия! С того первого дня в Министерстве Любви в нем изменилось многое, но окончательная, необходимая, целительная перемена произошла именно сейчас.

Голос диктора все еще говорил о пленных, трофеях и убитых солдатах противника, но шум на улице понемногу спадал. Вернулись к своей работе официанты. Один из них подошел с бутылкой к столику Уинстона. Но тот сидел в счастливом оцепенении и даже не обратил внимания на наполнявшего его стакан официанта. Мысленно Уинстон уже никуда не бежал и не кричал с толпой. Он снова оказался в Министерстве Любви. Все прощено, душа его бела как снег. Он стоит у скамьи подсудимых, во всем признается и всех выдает. Он идет по широкому белому коридору, и ему чудится, что его освещают лучи солнца, а сзади шагает вооруженный охранник. И долгожданная пуля впивается в его мозг.

Он вгляделся в огромное лицо. Сорок лет ушло на то, чтобы разобраться, что за улыбку скрывают эти черные усы. О жестокое, бессмысленное непонимание! О упрямый, своевольный блудный сын, избегавший любящих объятий! Две пахнущие джином слезы скатились по его носу. Но теперь все хорошо, все хорошо — борьба окончена. Он победил себя. Он любит Большого Брата.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# Принципы Новояза

Новояз — официальный язык Океании — был разработан в соответствии с идеологическими потребностями Ангсоца — Английского Социализма. В 1984 году еще не было никого, кто пользовался бы новоязом как единственным средством устного или. письменного общения. Передовицы «Таймс» писались на нем, но то было tour de force (проявление изобразительности, фр.), что мог осуществить лишь специалист. Предполагалось, что окончательно новояз заменит собой старояз (или обычный английский) примерно к 2050 году. Пока же он укреплял и расширял свои позиции, потому что члены Партии стремились как можно чаще использовать в повседневной речи его словарь и грамматические конструкции. Вариант, имевший хождение в 1984 году и закрепленный в девятом и десятом изданиях «Словаря новояза», был временным, содержал множество лишних слов и устаревших сочетаний, которые предполагалось упразднить позднее. В приложении мы рассмотрим окончательный, усовершенствованный вариант, включенный в одиннадцатое издание «Словаря».

Цель новояза не только в том, чтобы последователи Ангсоца имели необходимое средство для выражения своих мировоззренческих и духовных пристрастий, но и в том, чтобы сделать невозможными все иные способы мышления. Ставилась задача, чтобы с окончательным принятием его и забвением старояза еретическое мышление — то есть мышление, отклоняющееся от принципов Ангсоца, — оказалось в буквальном смысле немыслимым, во всяком случае в той мере, в какой мышление зависит от слововыражения. Поэтому издание составлялось таким образом, чтобы придать точное и часто весьма тонкое выражение каждому понятию, которое могло бы понадобиться члену Партии, исключив при этом иные значения и даже возможность «выйти» на них случайно, окольным путем. Частично это достигалось образованием новых слов, но главным образом — уничтожением нежелательных или лишением оставшихся слов каких бы то ни было неортодоксальных значений и, насколько возможно, всех других значений. Приведем хотя бы один пример. Слово «свободен» по-прежнему существовало в новоязе, но употребить его можно было лишь в таких выражениях, как: «Собака свободна от блох» или «Поле от сорняков свободно». Употребить же подобное понятие в привычном смысле — «политически свободен» или «свободен интеллектуально» — было нельзя, поскольку политической и интеллектуальной свободы не существовало даже в качестве общих представлений, и они неизбежно становились безымянными. Язык не только очищался от явно еретических слов — сокращение словарного состава рассматривалось как самоцель, и ни одно слово, без которого можно было обойтись, не оставлялось. Новояз не расширял, а свертывал сферу мысли, и опосредованно цель эта достигалась сведением к минимуму выбора слов.

Основу новояза составлял известный нам ныне английский язык, хотя многие предложения на новом языке, даже не содержащие в себе свежих словообразований, были бы с трудом поняты говорящими по-английски сегодня. Слова этого языка были разделены на три четко очерченных класса: А-лексикон, Б-лексикон (именуемый также составными словами) и В-лексикон. Каждый класс проще рассмотреть в отдельности, но грамматические особенности языка разбираются в разделе, посвященном А-лексикону, поскольку к остальным категориям применяются те же правила.

А-лексикон. А-лексикон состоит из слов, необходимых для повседневной жизни, обозначающих еду, питье, работу, одевание, подъем и спуск по лестницам, поездки на транспорте, труд в саду, приготовление пищи и т. п. Почти целиком он составлен из уже известных нам слов — таких, как бить, бежать, собака, дерево, сахар, дом, поле, — но число их в сравнении со словарным запасом сегодняшнего английского языка крайне ограничено, их значение закреплено более жестко. Все двусмысленности, все оттенки значения были вычищены. Насколько этого можно было добиться, любое слово данного класса стало просто отрывистым звуком, выражающим одно четкое понятие. Было бы совершенно невозможно использовать А-лексикон в литературных целях или для политической философской дискуссии. Выражение простых, целенаправленных мыслей, связанных обычно с конкретными объектами или физическими действиями, — вот назначение этого лексикона.

Грамматика новояза имеет две отличительные особенности. Во-первых, почти полную взаимозаменяемость различных частей речи. Любое слово в языке (в принципе это относится даже к весьма абстрактным понятиям типа если или когда) могло использоваться, как глагол, существительное, прилагательное или наречие. Между глаголом и существительным в том случае, когда они одного корня, нет никаких различий; данное правило уже само по себе привело к уничтожению множества устаревших форм. Например, слова мыслить в новоязе не существует, его место заняло слово мысль, которое служило и существительным, и глаголом. Причем этимологический принцип здесь не соблюдается: в одних случаях сохраняется существительное, в других — глагол. Даже тогда, когда существительное и глагол, сходные по значению, не связываются этимологически, что-то одно зачастую убирается. Так, например, нет слова резать, значение его вполне передается существительным-глаголом нож. Прилагательные и наречия образовываются добавлением к существительному-глаголу стандартных суффиксов и частиц. Таким образом, к примеру, скоростевой значит быстрый, а скоростно — быстро. Ряд наших сегодняшних прилагательных, таких, как хороший, сильный, большой, черный, мягкий, оставили, но их общее число было ничтожным. Особой необходимости в них не было, поскольку практически любой признак предмета мог обозначаться добавлением стандартного суффикса к существительному-глаголу. Из наречий, имеющих хождение теперь, ничего не осталось, кроме весьма немногих слов, уже оканчивавшихся на стандартное окончание, которое соблюдалось неукоснительно.

Кроме того, каждому слову — это опять-таки относилось в принципе к любой единице языка — могло быть придано противоположное значение добавлением приставочной частицы не-. С другой стороны, оно могло быть усилено приставкой

плюс- или, для большего усиления, плюсплюс-. Так, например, слово нетеплый означало холодный, а плюстеплый и плюсплюстеплый соответственно означали очень теплый и горячий. Как и в современном английском, значение практически любого слова можно было изменить такими приставочными образованиями, как пред-, после-, выше-, ниже- и т. д. Этими способами удалось очень значительно сократить словарь. При наличии, скажем, слова польза отпадала необходимость в слове вред, поскольку нужный смысл в равной степени хорошо — и даже лучше — передавало непольза. При наличии любой пары естественных антонимов оставалось лишь решить, какое изъять. К примеру, слово тьма могло заменить слово несвет или свет — нетьму.

Второй отличительной чертой грамматики нового языка была его нормативность. За исключением немногих случаев, речь о которых впереди, все изменения формы слова подчинялись единым правилам. Это касалось, например, всех неправильных глаголов английского языка. Теперь все они в прошедшем или давнопрошедшем времени оканчивались одинаково, а все старые формы были упразднены. Все формы множественного числа существительных образовывались строго при помощи стандартных окончаний. Множественное число слов-исключений было уничтожено. Степени сравнения прилагательных опять-таки неизменно образовывались при помощи стандартных окончаний (например: хорош — хорошее — хорошейший): все неправильные формы (лучше, худший) и сложные конструкции, начинающиеся с более или самый, изымались.

Словами, где по-прежнему допускалось отступление от жесткой нормативности были прежде всего местоимения и вспомогательные глаголы. Они употреблялись по старинке, кроме форм него, нее, них, которые были изъяты как ненужные. Некоторый отход от формальностей при образовании слов вызывался необходимостью быстрой и удобной речи. Слово, которое было трудно произнести быстро или которое могло быть не так расслышано, ipso facto (само собой, лат.) считалось плохим словом; вот почему иногда во имя благозвучия в слово вставлялись лишние (убирались из него мешающие) буквы или сохранялась его архаическая форма. Однако прежде всего это имело отношение к Б-лексикону. Из последующих разделов данного приложения станет понятно, почему удобству произношения придавалась такая важность.

Б-лексикон. Б-лексикон состоял из слов, специально созданных в политических целях, которые, так сказать, не только имеют все до одного политический подтекст, но и предназначаются для того, чтобы внушить желательные идеи тому, кто употребляет их. Без полного понимания принципов Ангсоца употреблять правильно такие слова было трудно. В некоторых случаях их можно было переводить на старояз или даже передавать словами А-лексикона, но это, как правило, связано с утратой некоторых оттенков. Слова Б-лексикона были своего рода устной стенографией, где зачастую несколько слогов вмещали в себя целый ряд идей, и в то же время были более точной и сильной формой выражения, чем обычная речь.

Но во всех случаях слова Б-лексикона были составными (Такие составные слова, как, например, диктограф, можно было, разумеется, найти и в А-лексиконе, но там они просто играли роль удобных сокращений и не были идеологически окрашены). Они состояли из двух или более слов или частей слов, сплавленных в единую

удобопроизносимую форму. Итогом всегда оказывалось существительное-глагол, грамматически изменяющееся по общим правилам. Приведем пример. Слово добродум означает, очень приблизительно, «общепринятые взгляды» или, если считать его глаголом, «думать в общепринятом духе». Формы его: существительное-глагол добродум, причастие добродумающий, прилагательное добродумный, наречие добродумно, отглагольное существительное добродумач.

Слова Б-лексикона не создавались по какому-либо этимологическому плану. Их элементы могли быть любой частью речи, располагаться в любом порядке, и в целях благозвучия их можно было калечить любым способом, лишь бы сохранился их изначальный смысл. В слове преступмысль (преступное мышление) мысль, например, стояла в конце, в то время как в слове мыслькопол (полиция мысли) — в начале, причем в последнем случае от понятия полиция были оставлены лишь первые три буквы. В Б-лексиконе сложнее было сохранить благозвучие, поэтому неправильные образования в нем встречались чаще, чем в А-лексиконе. Например, прилагательными от Мини-правда, Минимир и Минилюбовь являлись соответственно миниправый, минимирный и минилюбый просто потому, что прилагательные, образованные стандартно, были бы несколько трудны для произношения. Однако в принципе все слова Б-лексикона грамматически изменялись, и изменялись одинаково.

Некоторые слова в этом лексиконе имели столь утонченное значение, что оказывались едва понятны тому, кто не овладел языком в совершенстве. Возьмем, к примеру, типичное предложение из передовицы «Таймс»: Старо-думачи небрюхчувств Ангсоц. Если коротко передать это на староязе, то предложение звучало бы так: «Те, чьи взгляды сформировались до Революции, не могут обладать полным эмоциональным восприятием принципов Английского Социализма». Однако данный перевод неадекватен. Начать с того, что для уяснения всего смысла приведенного предложения необходимо ясно представлять, что имеется в виду под Ангсоцем. Кроме того, только человек, поднаторевший в Ангсоце, способен по достоинству оценить силу слова брюхчувств, буквально обозначающего слепое, восторженное усвоение идеи, представить которое сегодня трудно, или глубину слова стародумач, в котором сложно переплетены понятия и дурного умысла, и порока. Впрочем, особая функция целого ряда слов нового языка, одним из которых и было слово стародумач, заключалась не только в выражении того или иного значения, но и в уничтожении его. Слова эти, по необходимости малочисленные, как бы наращивали свое понятийное значение, спрессовывая внутри себя целую обойму слов, которые после появления одного обобщающего термина легко могли быть изъяты из обращения и забыты. Для составителей «Словаря новояза» самой большой трудностью оказалось не изобретение новых слов, а уяснение смысла вновь изобретенных, т. е. необходимо было точно уяснить, так сказать, какие обоймы слов уничтожаются новыми словами.

Как мы убедились на примере слова свободный, некоторые архаизмы, имевшие когда-то еретический смысл, ради удобства порой сохранялись, но лишь после вычистки из них нежелательного значения. Бесконечное число иных слов, вроде честь, справедливость, мораль, интернационализм, демократия, наука, религия, просто перестало существовать. Несколько обобщающих слов выражали эти

понятия и, таким образом, уничтожали их. Скажем, все слова, группирующиеся вокруг идей свободы и равенства, слились в одно слово — преступмысль, а все слова, связанные с идеями объективности и рационализма, — в слово стародум. Большая определенность и ясность была бы опасной. От члена Партии требовалось, чтобы взгляды его были подобны верованиям древнего иудея, который, не ведая ни о чем, понимал лишь, что любой другой народ поклоняется «фальшивым богам». Ему и нужды не было знать, что богов этих зовут Ваал, Осирис, Молох, Астарта и т. д. Быть может, чем меньше он знал о них, тем лучше было для его правоверности. Есть Иегова и его заветы, а стало быть, все боги с другими именами или иными атрибутами — фальшивые боги. В том же духе и член Партии знал, какое поведение считается правильным, любые возможные отклонения от него представлял очень смутно, в общих словах. К примеру, сексуальная жизнь его полностью регулировалась двумя словами: сексгрех (половая аморальность) и добросекс (целомудрие). Секс-грех означал все и всяческие сексуальные проступки: прелюбодеяние, супружеские измены, гомосексуализм и прочие извращения, а также нормальный половой акт, практикуемый как самоцель. Именовать все это в отдельности не было необходимости, поскольку все преступления такого рода равно осуждались и в принципе все карались смертью. Скажем, в В-лексиконе, который содержал термины науки и техники, могла возникнуть потребность в специальном названии тех или иных половых отклонений, но обычному гражданину не надо было их знать. Он знал, что такое добросекс — нормальный половой акт между мужем и женой с единственной целью зачатия ребенка и без физического удовлетворения со стороны женщины, а все остальное — сексгрех. На новоязе редко удавалось проследить еретическую мысль дальше осознания того, что она и есть еретическая, за этой гранью нужных слов как бы не существовало.

Ни одно слово Б-лексикона не было идеологически нейтральным. Многие являлись эвфемизмами. Такие слова, как, например, восторглаг (исправительно-трудовой лагерь) или Минимир (Министерство Мира, т. е. военное министерство), означали прямо противоположное тому, что вроде бы говорилось. Некоторые слова, напротив, выражали откровенное и циничное понимание реальностей общества Океании. Примером служит слово рабкорм, означавшее вздорные развлечения и фальшивые новости, которыми Партия питала массы. Случались и понятия амбивалентного смысла, имевшие значение хорош применительно к Партии и плох — применительно к ее врагам. Существовало также множество слов, которые на первый взгляд выглядели просто аббревиатурами и получали идеологическую окраску не столько от мысли, сколько от собственной структуры.

Все имевшее или способное иметь политическую значимость, насколько это удавалось выдумать, включалось в Б-лексикон. Название каждой организации, объединения людей, доктрины, страны, любого общественного института или общественного здания неизменно урезалось до привычной формы, т. е. до одного легко произносимого слова с наименьшим числом слогов, достаточным для сохранения изначального смысла. Например, в Министерстве Правды Исторический Отдел, в котором работал Уинстон Смит, назывался Истотд, Художественный Отдел — Худотд, а Отдел Телевизионных Программ — Телепрогр и т. д. И делалось это не только для экономии времени. Уже в первые десятилетия двадцатого века

телескопические слова и фразы стали одной из характерных черт политического языка. Было замечено, что тенденция использовать подобные конструкции особенно проявлялась в тоталитарных странах и организациях. Примерами здесь служат слова наци, гестапо, коминтерн, инпрекорр (корреспондент иностранной прессы), агитпроп. Вначале они использовались неосознанно, словно инстинктивно, но в новоязе они применялись уже вполне сознательно. Считалось, что сокращение слова до аббревиатуры приводит к сужению и некоторому изменению его значения благодаря ликвидации ассоциативных связей, которые в иных случаях появлялись бы. Сочетание Коммунистический Интернационал, например, порождает в воображении сложную картину всеобщего человеческого братства, красных флагов, баррикад, Карла Маркса и Парижской коммуны. Слово Коминтерн, напротив, предполагает тесно сплоченную организацию, точно изложенную доктрину. Оно относится к понятию, которое почти так же легко узнать, назначение которого так же ограничено, как у стула или стола. Коминтерн — это слово можно произнести, не утруждая разум, в то время как Коммунистический Интернационал — фраза, над которой всякий раз приходится задумываться хотя бы на мгновение. Примерно так же Миниправда вызывает меньше ассоциаций, и они легче поддаются контролю, чем слова «Министерство правды». Это объясняется не только привычкой при каждом удобном случае образовывать аббревиатуры, но и преувеличенной заботой о том, чтобы сделать любое слово легко произносимым.

Благозвучие слов в новоязе перевешивало все другие соображения, за исключением точности понятий. Нормативность грамматики всегда приносилась в жертву, когда это считалось необходимым. Это было справедливо, поскольку, прежде всего ради достижения политических целей, требовались рубленые слова с точным смыслом, которые проговаривались бы быстро, вызывая минимальные отголоски в сознании говорящего. Слова Б-лексикона даже выигрывали в силе оттого, что едва ли не все они были схожи. Почти неизменно все эти добродум, минимир, рабкорм, сексгрех, восторглаг, ангсоц, брюхчувств, мыслькрим и бессчетное число других слов состояли из двух-трех слогов, причем первый и последний слоги были равноударными. Употребление их привело к бормочущему стилю речи, отрывистому и в то же время монотонному. Этого и добивались. Цель заключалась в том, чтобы речь людей, особенно на темы идеологически не нейтральные, максимально обособлялась от сознания. В обиходе возникала, хотя бы изредка, потребность подумать, прежде чем говорить. Но из члена Партии, которому приходилось произносить политические и этические суждения, правильные мнения должны были вылетать автоматически, как пули из автомата. Его специально учили этому, а язык давал ему почти безотказный механизм и такие слова — жесткие и преднамеренно грубые в соответствии с духом Ангсоца, что еще более способствовало его успеху.

Этому способствовал и весьма ограниченный выбор слов. Словарь новояза хотя и был родствен нашему языку, все же невелик, более того, постоянно изыскивались новые способы его сокращения. В сущности, от всех иных языков новояз отличается тем, что словарный запас его уменьшался, а не рос. Каждое сокращение считалось достижением, ибо чем меньше выбор, тем меньше искушений утруждать себя размышлением. В конечном счете надеялись сделать источником артикулированной

речи непосредственно голосовые связки, абсолютно не затрагивая при этом высшие мозговые центры. Подобная цель откровенно выступала наружу в слове уткоречь, означавшем «крякать, как утка». Как и ряд других слов Б-лексикона, уткоречь была амбивалентна по значению. Если мнения, которые выкрякивались, носили ортодоксальный характер, слово не выражало ничего, кроме похвалы. И когда «Таймс» сообщала, что один из ораторов Партии плюсплюс хорош уткоречер, газета тем самым удостаивала его теплой и ценной похвалы.

В-лексикон. В-лексикон служил дополнением к двум другим и состоял исключительно из научно-технических терминов. Они походили на научные термины, которыми мы пользуемся сегодня, образовывались от тех же корней, но и к ним применялись обычные меры для жесткой фиксации смысла и очищения от нежелательных оттенков. Подчинялись они тем же грамматическим правилам, что и слова двух других лексиконов. Очень немногие В-слова имели хождение в обиходной или политической речи. Каждый ученый или инженер мог найти все требующиеся ему слова в перечне терминов по его специальности, но он редко знал (разве что очень поверхностно) слова, включенные в другие перечни. Лишь очень немногие слова встречались во всех перечнях. И не было словаря, определявшего функцию науки как свойства разума или способа мышления, вне связи с ее прикладными направлениями и отраслями. Не было и самого слова наука, потому что любое понятие, которое бы им обозначалось, уже в достаточной мере выражалось словом Ангсоц.

Дальнейшие рассуждения покажут, что выражение неортодоксальных мыслей на новоязе было почти невозможным, за исключением самого примитивного уровня. Конечно, можно было сказать какую-нибудь очень низкопробную ересь, нечто вроде богохульства. Можно было, например, сказать: «Большой Брат нехорош». Но для ортодоксального уха подобное заявление оказалось бы не более чем самоочевидным абсурдом, который разумными доводами подкрепить нельзя, поскольку необходимых для этого слов просто не было. Враждебные Ангсоцу идеи можно было выразить лишь в неясной бессловесной форме, можно было назвать лишь очень общими терминами, которые собирали в одну кучу и осуждали чохом множество разных ересей, не определяя их при этом. То есть для неортодоксальных целей новояз фактически можно было использовать лишь путем незаконного перевода некоторых слов обратно на старояз. К примеру, «Все люди равны» — такое предложение в принципе было возможно, но лишь в той мере, в какой на староязе допустимо предложение «Все люди рыжие». Грамматических ошибок здесь нет, но сообщается очевидная неправда, т. е. что все люди равны по росту, весу или силе. Идеи политического равенства больше не существовало, значит, это вторичное значение слова равны уже было вычищено. В 1984 году, когда старояз еще оставался нормативным средством общения, теоретически существовала опасность, что, используя слова нового языка, кто-то мог вспомнить их старое значение. На практике человеку, хорошо поднаторевшему в «двоемыслии», избегнуть этого было несложно, а через два-три поколения и эта опасность исчезнет сама собой. Человек, взращенный на новоязе, как на единственном родном языке, больше не будет знать, что слово равен когда-то имело второе значение — «политически равный» или что понятие свободен когда-то означало «интеллектуально свободный». Точно так же,

как человек, который никогда не слышал о шахматах, не может знать, что у слов королева и ладья есть еще какие-то значения. Много преступлений и ошибок человек просто не сможет совершить только из-за того, что они безымянны и, как таковые, непредставимы. И можно предвидеть, что со временем отличительные характеристики новояза будут проявляться все более и более ярко: слов в нем будет становиться все меньше и меньше, их значение будет фиксироваться жестче, а вероятность неверного или неточного их использования будет стремиться к нулю.

С отменой старояза раз и навсегда порвется последняя связующая нить с прошлым. История уже переписана, но кое-где еще сохранились небрежно отцензурированные фрагменты литературы прошлого, и, пока кто-то сохраняет знание старояза, их можно прочесть. В будущем эти фрагменты, даже если они сохранятся, станут непонятными и непереводимыми. Ведь невозможно перевести что-либо со старояза на новояз, если только в нем не описывается какой-либо технический процесс, какое-либо примитивное обиходное действие или нечто уже ставшее ортодоксальным (добродумным скажут на новоязе). Практически это будет означать, что ни одна книга, написанная примерно до 1960 года, уже не может быть переведена целиком. Дореволюционную литературу вообще можно будет подвергнуть только идеологическому переводу, т. е. заменить в ней не просто язык, но и смысл.

Возьмите, к примеру, хорошо известный отрывок из «Декларации независимости»:

Мы считаем самоочевидными истинами, что все люди созданы равными, что они наделены создателем определенными неотъемлемыми правами и что среди таковых — жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав среди людей создаются Правительства, получающие власть от согласия управляемых. Всякий раз, когда данная форма правления становится пагубной для данной цели, право народа — изменить или свергнуть ее и образовать новое Правительство.

Перевести это на новояз, сохраняя смысл оригинала, совершенно невозможно. Лучше всего заменить весь отрывок единственным словом — преступмысль. Полным же может быть только идеологический перевод, с помощью которого слова Джефферсона превратятся не более чем в панегирик абсолютистскому правительству.

Довольно значительная часть литературы прошлого уже переводится подобным образом. Соображения престижа делали желательным сохранить память о некоторых исторических фигурах, приведя их достижения в соответствие с духом Ангсоца. Сочинения ряда писателей, таких, как Шекспир, Мильтон, Свифт, Байрон, Диккенс, и некоторых других находились в процессе перевода. После завершения этой работы их оригинальные творения, а также все уцелевшее от литературы прошлого будет уничтожено. Но такие переводы — занятие медленное и трудное, его завершения можно было ожидать не ранее первого или второго десятилетия двадцать первого века. К тому же имелось огромное количество чисто утилитарной литературы — необходимых технических инструкций, руководств и т. п., — которая требовала такой же обработки. И для того главным образом, чтобы дать достаточно времени для предварительной работы по переводу, окончательное принятие новояза и было отнесено на столь поздний срок, на 2050 год.